



XXI ВЕК

# ВОЛГА

11-12 2014

Литературно-художественный журнал

## РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)  
**А.Б. Амусин** – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей  
**А.А. Бусс** – член Союза писателей России (Саратов)  
**В.И. Вардугин** – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей  
**Е.А. Грачёв** – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей  
**А.А. Демченко** – доктор филологических наук, профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)  
**Д.Е. Кан** – член Союза писателей России (Новокуйбышевск)  
**О.И. Корниенко** – член Союза писателей России (Сызрань)  
**В.В. Ковалёв** – член Союза художников (Рига)  
**В.А. Кремер** – член Союза писателей России (Саратов)  
**М.А. Лубоцкий** – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей  
**В.Д. Лютый** – член Союза писателей России (Воронеж)  
**М.С. Муллин** – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей  
**Г.П. Муренина** – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей  
**И.В. Пырков** – член Союза писателей России (Саратов)  
**Н.В. Шаталина** – член Союза журналистов России (Саратов)

САРАТОВ  
2014

11-12  
2014

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПОЭТОГРАД</b>	
Нина ЯГОДИНЦЕВА. Среди родных имён . . . . .	3
<b>ОТРАЖЕНИЯ</b>	
Я. УДИН. Чувство вины, стыда ли... . . . . .	11
<b>ПОЭТОГРАД</b>	
Анатолий АВРУТИН. Светлая музыка с тёмных небес... . . . .	35
<b>ОТРАЖЕНИЯ</b>	
Иван ШУЛЬПИН. Два рассказа . . . . .	40
<b>ПОЭТОГРАД</b>	
Елена АГИНА. Брат мой сентябрь. . . . .	50
<b>ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА</b>	
Александр РЫЖОВ. Барабан работы Страдивари (Окончание) . . . . .	54
<b>ПОЭТОГРАД</b>	
Татьяна КУЗНЕЦОВА. На Святой Земле . . . . .	97
<b>ЮБИЛЕЙ</b>	
Михаил ЕСЬКОВ. Боян Земли Русской. . . . .	101
Евгений НОСОВ. Течёт речка... . . . .	103
<b>ПОЭТОГРАД</b>	
Александр ДИВЕЕВ. Храм Осени. . . . .	120
<b>КАМЕРА АБСУРДА</b>	
Михаил МЕРЕНЧЕНКО. Домашнее обучение . . . . .	123
<b>ПОЭТОГРАД</b>	
Валентина ДОРОЖКИНА. У жизни нет черновика . . . . .	136
<b>ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС</b>	
Николай БОЛКУНОВ. Долгота дней моих . . . . .	139
<b>ПОЭТОГРАД</b>	
Иван ПЕРЕВЕРЗИН. В еловой колыбели . . . . .	170
<b>СТАТЬИ</b>	
Наталья ТЯПУГИНА. Империя опавших листьев Маргариты Борцовой . . . . .	172
<b>РЕЦЕНЗИИ</b>	
Елизавета МАРТЫНОВА. «Ты стала мне сердцем, Россия...» . . . . .	177
«Чтобы птицею стала душа» . . . . .	178
«Сердце ищет родные звуки» . . . . .	179
Михаил ЦАРТ. Собрание пёстрых глав . . . . .	180
Нина ШАТАЛИНА. «Фарватер». Впечатления . . . . .	181
<b>К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ</b>	
Михаил ПОЛИКАРПОВ. Пятидесятый из отряда. . . . .	184
<b>ВОЛЖСКИЙ АРХИВ</b>	
Виктор САФРОНОВ. Горькая речка . . . . .	187



**Нина  
ЯГОДИНЦЕВА**

## **СРЕДИ РОДНЫХ ИМЁН**

\*\*\*

*Маме*

Спит в кувшине молоко,  
Дочь уснула в колыбели.  
Половицы заскрипели...  
Оглянулась – никого.

Только дышит глубоко,  
Белоснежна, как невеста,  
Тоненькая занавеска –  
И за нею никого.

За окном сплетает сад  
Полуденную прохладу,  
А по самой кромке сада  
Колокольчики звенят.

Кто-то ходит стороной,  
Просит птиц угомониться,  
На узорчатые листья  
Осыпая лёгкий зной.

Пригляделась – никого,  
А прислушалась – молитва...  
Тихо скрипнула калитка  
Где-то очень высоко.

- 
- Нина Александровна Ягодинцева родилась в 1962 году в Магнитогорске. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор книг «Идущий ночью», «Перед небом», «Амариллис», «На высоте метели», «Течение донных трав», «Меж облаками и людьми». Лауреат премии имени П. П. Бажова, лауреат Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева, автор семи поэтических книг.

Член Союза писателей России. Живёт в Челябинске.

\*\*\*

Как тополиный пух к протянутой ладони –  
Душа моя к тебе. Любого сквозняка  
Достаточно – о нет, хотя бы просто вспомни –  
И словно бы ко мне протянута рука.

Душа моя – к тебе... Тончайших этих линий  
В горячей пустоте прочерчено насквозь  
Бесчисленно, и я пушинкой тополиной –  
Нежданная печаль или незванный гость –

Тревожу твой покой, и вся его громада  
Колелеблется, дрожит и рушится к ногам...  
О, тополиный пух – июньская досада,  
Прибитая дождём к дорожным берегам, –

Он всё ещё летит с закрытыми глазами!  
Вот так душа моя, не ведая обид,  
В июне, как во сне, в миру, как на вокзале,  
К тебе летит...

\*\*\*

...А позовёшь, уже отчаливая,  
Во тьме пытаюсь оглядеться, –  
Не отзывается. Молчанием  
Наваливается на сердце.

И только плеск воды под вёслами  
И невесомый скрип уключин...  
Господь! Когда мы станем взрослыми  
И азбуку Твою изучим,

И, судьбы словно буквы складывая,  
Прочесть осмелимся без муки  
Все эти горькие, негаданные,  
Необъяснимые разлуки?..

## ВЕЧЕРНИЙ КРУГ

1.

Я выбираю заново ту судьбу:  
Закат империи, столица её, весна.  
Тверской бульвар с проталинами в снегу,  
Читалка Литинститута, где я одна

Перевожу поэтические суры  
О предстоянии человека перед Творцом...  
Март потихоньку подтапливает дворы,  
И над разомкнутым бульварным кольцом

Молчаливые птицы закладывают вираж,  
Соединяя собою разъятый круг.  
Бумагу жёстко царапает карандаш,  
Выписывая ряды угловатых букв,

И воздух гудит отпущенною струной,  
Тугой тетивой, пославшей стрелу в полёт...  
Тыходишь тихо. Садисься рядом со мной.  
Ты говоришь: не плачь, ничего, пройдёт.

Конечно, прошло. И мы пятнадцать лет уже врозь,  
По разные, кажется, стороны той струны –  
Ещё тогда моё сердце оборвалось  
Любовью, тоской и смертельным чувством вины.

Но почему они возвратились ко мне сейчас,  
В две тысячи одиннадцатом, зимой?  
Так почтальон приходит и, не стучась,  
В дверную щель подсовывает письмо,

Белым ослепительным уголком  
Срезающее неосторожный взгляд...  
Дверь отворяю – пусто. Под потолком  
Лампочки вывернутые горят.

Урал. Челябинск. Общага под Новый год.  
Кругом бутылки из-под пива, и в них бычки.  
Страна умирать не хочет. Она живёт  
В бессрочной коме. Открой теперь и прочти,

Что было написано в тысяча девятьсот  
Восемьдесят четвёртом, с каких высот  
Летела в стаю пущенная стрела  
И круг её вечерний разорвала...

## 2.

Всё на продажу или навыворот.  
Фьючерсы, курсы валют, тоска.  
Жизнь в супермаркете молча выберет  
Смерть. Почему-то ещё пока

Чудится воздух – весенний, солнечный,  
Птичий – опора для хрупких крыл,  
Детская радость до самой полночи...  
Утром проснёшься – и всё забыл.

## 3.

Ужас возвращения в средневековье.  
Будни пахнут пивом, пылью и кровью.  
Бесчисленные гадания и камланья,  
Сожженья заживо, побиванья камнями...

Мир рационален ровно настолько,  
Чтобы снова затеять вавилонскую стройку,  
Добраться, спросить у Бога: «Ты ещё там?»  
Пора платить по счетам!»

## 4.

Разве я знала, что нашей любви мне хватит  
на долгую-долгую жизнь потом?  
Одной растить и учить детей, ремонтировать ветхий дом,  
Смотреть по TV репортажи с пляжей Египта, из пламени Ливии,  
с японских АЭС?  
Моя любовь навсегда останется здесь,  
На этой горькой земле, вымирающей каждый день,  
чтобы просто жить.  
В потоках липкой, политой синтетическим шоколадом лжи.  
В рекламных слоганах, мерзких наклейках с чужими буквами,  
ливнях, снах...  
Моя любовь принимает всё, даже детский нелепый страх,  
Что однажды и эта жизнь рассыплется в прах.

## 5.

Вечером после ливня стрижи встают на крыло.  
Небо к сырому закату краешком прилегло,  
Тёмным неровным краешком, неряшливой бахромой...  
Тучи идут домой.

Так проходят грозы – дай Бог, чтоб наша прошла...  
Капельку дождевую стрижонок смахнул с крыла,  
Рванулся куда-то в сторону – не бойся, малыш, держись!  
Иногда непогода длится целую жизнь.  
Это ведь как получится, что выпадет на роду...  
Только останься в небе, у Господа на виду.

От января до июля – видишь, крылом подать.  
Кто были вечерние птицы – надо ли нам гадать?  
Новые народились, и город уже другой.  
От ливня до снегопада – только взмахнуть рукой.

Поэтому неподвижно у распахнутого окна  
Стою одна.

## 6.

Несбывшегося больше. И оно,  
По счастью, никому не суждено.

Оно в прохладом воздухе разлито,  
Засыпано опавшею листвою,  
Оно приходит молча, как молитва,  
И тайно обретает голос твой.

И кажется, оно дано тебе лишь:  
Взлетай, как тот неловкий юный стриж!  
Ты говоришь – и сам себе не веришь,  
Ты веришь лишь тому, что говоришь.

Никто не обещал тебе покоя,  
Но вот они – воздушные пути!  
А сбудется – лети! – совсем другое.  
Совсем другое сбудется. Лети.

\*\*\*

Сквозная память, тайная беда,  
Извечное кочевье в никуда...

Бессонницы зелёная звезда  
Бессмысленно горит в пустых осинах,  
И низко-низко виснут провода  
Под тяжестью вестей невыразимых:

И острый скрип несмазанных колёс,  
И полуптичььи окрики возникших,  
И сладковатый вкус кровавых слёз,  
Из ниоткуда в памяти возникших,

И слабый крик младенца, и плащи,  
Трепещущие рваными краями,  
Безмолвно раздувающие пламя  
Нощи...

Ты знаешь всё. Раскрыты небеса,  
Как том стихов, и смятые страницы  
Сияют так, что прочитать нельзя,  
И силятся вздохнуть и распрямиться.

\*\*\*

Нельзя ни на миг оставить одну  
Эту полночь, эту страну,  
Наилегчайший из всех даров –  
Эту бессонницу на Покров.

Нельзя ни на миг! Но, закрыв глаза,  
Я забываю про все «нельзя»,  
Я затеваю почти побег  
Пламенем вдоль невесомых век.

Я прохожу по сырой траве  
С белым лебедем в рукаве,  
С тихим озером на душе –  
И открываю глаза... Уже?

Да. Ни на миг. Разверни теперь  
Белый свиток своих потерь.  
Белым по белому – о былом:  
Лебедь, бьющий о лёд крылом.

То-то зима в России долга!  
Из году в год на Покров снега,  
Да и какие мы сторожа –  
Укараулишь тебя, душа?..

\*\*\*

Непогода пришла как отряд батьки Махно:  
Гогоча, из горла прихлёбывая, прикладом стуча в окно,  
Выгребая запасы осенние из подвалов и с чердаков...  
Да не бойсь, чего там – ноябрь всегда таков.

Если воля и холод сойдутся – родится смерть.  
Ничком на овчинку неба падает степь,  
Серая, буранная пустота,  
Но сердце уже не обманешь – родная, та,

Где не за что ухватиться душе слепой,  
Где, если заплачешь, в сердцах оборвут: не пой!  
А замёрзнешь – тряхнут за шиворот: встань!  
Россия моя, Россия, свиданье тайн

Непостижимых! Когда по снежной стерне  
Ведут, матерясь, к обрыву или к стене,  
На сквозном перекрёстке иных дорог  
Свернут напоследок сигарку: курни, браток...

И ты вдыхаешь дымок и не помнишь зла.  
О жизни ли горевать, если всё – зола?  
О смерти ли, если даже махра – сыра?  
Крайнему: «Докурите, а мне – пора».

\*\*\*

Холодно сердцу, не видно ни зги.  
Жизнь воробьиного пёрышка легче.  
Кто-то несёт по дороге навстречу  
Белый светильник январской пурги.

Оберегая неровный огонь,  
Вьются и стелются тонкие ткани,  
То приникая к мерцающей тайне,  
То разлетаясь неровной дугой.

И замечают невидимый след,  
И обнимают, и прячут в пелёны  
Тьмою немислимой усыновлённый  
Свет одинокий, покинутый свет...



**ХРАМ**

Видно, крепко небо помнило  
Злую удачу здешних мест:  
Трижды в купол била молния,  
Трижды сбрасывала крест.

Трижды с долгими молениями  
Вновь увенчивали храм.  
Уминали прах коленями,  
Абы крестили по утрам.

А потом порою шаткою  
В зябкой розовой пыли  
Появились со взрывчаткою –  
Заложили, подожгли...

Только стёкла мелко брызнули!  
Но, когда растаял дым,  
Над приземистыми избами  
Храм вознёсся, невредим,

Всеми главами точёными  
Над быльём и вороньём –  
Только лики стали чёрными  
В гнев горестном своём.

Пронеслись десятилетия –  
Мастерская, школа, склад...  
Всё прожили – не заметили  
Обретений и утрат.

Но однажды встала молния  
Вместо прежнего креста,  
В колокольное безмолвие  
Пала горькая звезда –

Загудел набат над крышами,  
Поднял стаи на крыло,  
И очнулись, и услышали:  
Горе горькое пришло.

А куда с крутого берега? –  
Только в воды Иртыша...  
И не заново поверила –  
Болью вздрогнула душа:

Копоть смыли, сажу счистили,  
Сцеловали боль и гнев,  
В самой светлой Божьей истине  
Усомниться не посмеет...

\*\*\*

Я вспоминаю Вас вечернею молитвой  
Среди родных имён.  
И сердце долго-долго слушаю: болит ли?  
И тайный звон

Уходит в тишину, истаивает... Нету  
Ни рядом, ни вдали..  
Я верю: в Вашу жизнь невидимую лепту  
Слова мои внесли,

Как вносят в дом свечу и берегут на случай  
Нежданной темноты..  
Я Вас люблю.

Постой! Не обманись, не слушай  
И говори мне: ты.

Да будет свет с тобой в страстях твоих и схимах,  
В темницах и скитах,  
Да будет мир в глазах и на устах любимых,  
И сны – в цветах,

Да будут родники целительно медовы,  
Полны живой водой,  
И ноши никакой в пути – и только Слово  
Всегда с тобой.



Я. УДИН

## ЧУВСТВО ВИНЫ, СТЫДА ЛИ...

*Тихая моя родина,  
Я ничего не забыл.*

**Николай Рубцов**

Когда Иван Таджари вышел из машины, стояла уже ночь, тёплая, тихая. Только вдалеке, за селом, жутковато выли шакалы. Сначала он не сообразил, что это за вой, обеспокоенно придержал шаг, прислушиваясь, потом, догадавшись, улыбнулся в темноте и пошёл дальше. До дома оставалось ещё с полкилометра, не меньше, и он решил пройти этот путь спокойно, не спешить, обдумать всё как следует. Быть может, сегодня же придётся объяснить матери причину своего неожиданного приезда. Но очень скоро, сам того не замечая, перешёл на быстрый шаг, почти побежал – так тянул его родной дом. И ничего, конечно, он не обдумал, как оказался перед калиткой. Он постоял, переводя дух, и, отворив калитку, ступил во двор.

В доме было шумно. Под летней кухней горел свет, но никого там не было. Печь-тарын исходила жаром, и пахло оттуда изумительно вкусно. Он с любопытством подошёл, осторожно приподнял створ из листа шифера и заглянул внутрь: огромная индейка висела на крюке, шипела, истекая жиром. «Вот это я подгадал! – подумал радостно. – Видать, что-то собираются праздновать мои родные...»

- 
- Я. Удин (Яша Геранович Манджиян) родился в 1951 году в селе Нидж Азербайджанской ССР. По национальности удин. Учился в Саратовском государственном университете. Автор четырёх книг прозы, изданных в Москве и Саратове, публикаций в журналах «Волга», «Подъём», «Волга–XXI век», «Сура», «Литературный Саратов», «Аргамак», в альманахах «Волжские зори», «Истоки», «Саратов литературный», «Московский Парнас», «Стрежень», «Впечатления» и других периодических изданиях.

Член Союза писателей СССР и Союза писателей России с 1989 года.

Он поднялся на веранду, толкнул дверь. Мать накрывала на стол, с сосредоточенным лицом раскладывала тарелки, и гул стоял в комнате, словно в улье, колготились дети.

– Ну и мне поставь тарелку, – сказал он спокойным, ровным голосом.

– А то про тебя забуду, – не поднимая головы, возразила мать. Затем медленно повернулась к двери и радостно вскрикнула:

– А-ямаң, кто приехал-то!

На мгновение воцарилась тишина, потом разом как бы взорвалась комната, шум поднялся несусветный, гам, галдёж, смех взрослых, визг детей – всё перемешалось. Его тискали, целовали, на нём висли, он совсем растерялся, счастливый, кружился на одном месте, улыбался и ничего не мог сказать, растроганный до слёз. А в дверь, ведущую в другую половину дома, стучали уже, колотили кулаком, и он слышал голос бабушки, но за шумом ничего не мог разобрать. Стеллочка, дочь брата, повиснув у него на шее, целовала его в щёки, в глаза, кричала: «Мой дядя, мой дядя!..»

Все тут были свои: мама, жена брата, его сёстры, средняя и младшая, их дети, в дверь колотила и что-то кричала его бабушка, все были возбуждены, веселы – суетились, тормошили его, разглядывая со всех сторон, терзали душу лаской и любовью.

Очень скоро появилась и бабушка. Как всегда в последние годы, по морщинистым её щекам струились слёзы. Разведя руки для объятий, она шла к нему, все расступились, примолкли, и он шагнул ей навстречу. Бабушка обняла его, трижды поцеловала, потом сронила голову ему на грудь и, не выпуская из объятий, приговаривала: «Внук мой, внук мой, внук мой...»

Были в этих словах и укор, что он редко приезжает, и радость оттого, что она снова дождалась старшего внука, и ещё что-то не совсем понятное. Наконец бабушка отстранилась, сказала по-всегдашнему бойко:

– Сукин сын, если ты послушаешься мать свою, ты мне не внук!..

И направилась к двери.

– Куда же ты, бабушка? – удивлённо спросил он.

– Сам поймёшь, – был ответ. – Твоя мать всех против меня настроивает.

– Старуха совсем рехнулась, – сказала мать, когда бабушка вышла. – Просто я с её сыном поругалась. Изверг, половину дома вздумал продавать. Старая хочет, чтобы все его любили и уважали. Было бы только за что. Э-эх, ну да ладно, что о нём говорить...

Скоро прошла минутная неловкость. А там и Абрик пришёл, братья по-мужски крепко обнялись, похлопали друг друга по плечам, уселись за стол. Посыпались вопросы. Иван рассказывал о своём житье-бытье, о жене и сыне, о том, где и как провели отпуск. Сам расспрашивал сестёр об их семьях, как живут-поживают. Отвечал на бесконечные вопросы племяншей. Какая же это благодать – вот так сидеть за праздничным столом. Это был и правда праздник: сразу сошлись под родным кровом люди, живущие очень далеко друг от друга. Кто мог подумать, что так легко, не стовариваясь, они встретятся!

– Как хорошо! – радовалась мать. – Как хорошо!..

Разговоры текли бесконечные, весёлые. Иван оглядывал родные лица, улыбался, но какая-то тоненькая паутинка печали уже звенела в нём. Видел, что мама сдала за последние годы, почти вся истратилась: исколошматила и выжала её жизнь, нелёгкая участь, выпавшая на её долю, волосы совсем белые, а пшеничного цвета лицо сплошь в морщинах, лишь глаза по-прежнему светятся лучисто, молодо.

– К отцу не заезжал? – спросила мать.

– Нет, – ответил он и хотел было начать разговор о главном, о том, что больше всего тревожило его последнее время, но понял, что не в силах, что так сразу он не сможет.

Им всем было трудно об этом говорить. Они лишились отца очень рано. Его, собственно, и не было у них. Он был там, далеко, и, может, сам он никогда не думал о них, детях и жене, не мог, не способен был думать.

А Иван помнил отца, помнил всегда, и больше всех, наверно, было ему, поскольку он был старшим из детей, больше других его память сохранила образ отца. Помнится, когда в детстве ему бывало невтерпёж от жуткой, почти физической боли, он забирался на чердак и там, в темноте, среди всякого хлама и запаха сажи плакал. Да и ныне в свои тридцать пять лет он часто обнаруживал в себе слабость, думая о жизни, о прошлом, о детстве своём. Ночами просыпался в своей городской квартире, шёл на кухню и сидел себе, глядя на залитую оранжевым светом городскую улицу, а в пепельнице, дымясь, тлела позабытая сигарета, и слёзы тихо катились по его щекам. Вроде прежней боли и нет уже, вроде все надежды на исцеление отца давно минули, а слёзы остались...

Наутро Иван поднялся раньше всех. Так бывало с ним всегда: гостя на родине, он не мог подолгу разнежиться в постели. Мягко ступая босыми ногами по прохладному полу, он вышел на веранду, потянулся блаженно, раз-другой взмахнул руками, чтобы кровь разошлась. Утро нарождалось тихое, ясное. Было до того свежо и покойно, что в какую-то секунду почудилось: а не сон ли это?..

За плетнём в сторону леса брели две коровы, лениво, беззаботно помахивая хвостами. Одна остановилась прямо напротив калитки и, дугой изогнув хвост, шумно помочилась и, встряхнувшись, поплелась прочь. Хлопая крыльями, слетали с деревьев куры. Пока ещё молчаливыми тенями стригли воздух ласточки. Дребезжа подкрылками, прокатил вдоль плетня мальчуган на расхлябанном велосипеде. Вытянув шею, Иван подался вперёд, но не узнал раннего седока. Стукнула калитка на другой половине двора, и молодая жена дяди, болтая ведром в такт торопливым шагам, заспешила к роднику. Явно сделала вид, что не заметила его. Он грустно улыбнулся, сам хотел окликнуть её, но тут же раздумал. Ему и так было хорошо. После долгой отлучки в такую рань стоять посреди родного двора, слушать тишину и вдыхать удивительно чистый и пахучий, сладкий дух конца лета – что может быть лучше?..

Вообще, казалось, он приезжал на родину думать. Не отдыхать, не развлекаться, а бродить по селу, по садам, полям, лесам, по местам детства и – думать, думать, думать.

О чем?..

Было о чём, как и всякому-каждому, кто ещё не совсем изжил из себя память о своём прошлом в муравьином сновании, называемом темпом городской жизни. Ничего против городского уклада он не имел, конечно, сам давно жил-суетился в том же ритме, но чего-то недоставало ему, он это остро чувствовал последние годы. Жил – словно ел варёную картошку, обильно политую маслом, но без соли. Картошка рассыпчата, горяча, исходит паром, да вкус не тот – соль, стало быть, очень существенна. Хорошая работа, любимая жена, ребёнок, квартира, а всё нет успокоения, неприятно на душе, всё чего-то ждёт она, томится.

Отец заболел, когда Ивану шёл седьмой год. Он зримо помнил тот летний день, когда отца увозили в больницу. Солнце нещадно пекло, белая земля вся была в трещинах, листва на деревьях обмётана серой пылью, и село будто бы вымерло – всё живое попряталось от удушающей жары. Одни они, сбившись в кучу во дворе, сиротливо жались друг к другу и смотрели вслед машине, которая увозила отца в лечебницу...

Скрипнула дверь – и на веранде появилась мать, неторопливо поправляя платок на голове.

– Что так рано встал, сынок? – спросила хриловатым спросонок голосом, и заботливую нежность, тёплую грусть услышал он.

Мать сошла по лестнице, взяла подойник и направилась было к хлеву, но он шагнул, молча обнял её за плечи, поцеловал в седой висок и тихо сказал:

– Спасибо. Спасибо, мама.

Она смущённо отстранилась, удивлённо взглянула на него.

– Спасибо за всё, мама, – только мог он сказать. – За всё.

Глаза матери повлажнели, казалось, она поняла его. Но ей, верно, было невдомёк, сколько осознанной, осмысленной благодарности вкладывал сын в эти простые слова, которые раньше почему-то стеснялся произнести вслух.

– Я хочу перебраться в село, – как бы виновато обмолвился он, опустив глаза. – Только пока ничего никому не говори. Пока это всего лишь моё желание.

Мать растерялась от неожиданности, повела головой по сторонам, встревоженно спросила:

– Что-нибудь случилось, сынок, милый?..

– Всё хорошо, мама, не беспокойся. Разве ты не хочешь, чтобы я перебрался в село... к тебе жить?

– А как же Валя, сынок?..

– Как я, так и Валя, мама.

Конкретно он ещё не разговаривал с женой. Были, конечно, пожелания, намёки, но всё как-то вскользь, несерьёзно. Но он знал, что она не будет особо противиться, согласится с ним. Согласится, поскольку вся её жизнь состоит из любви к мужу и ребёнку. С

женой ему очень повезло. Он понимал и ценил своё счастье. Мягкость и уступчивость жены сказались даже на его характере. Поначалу он был не из покладистых, да и то: тяжёлую ношу взвалила судьба на его неокрепшие плечи в детстве. Он жил здесь, был за мужчину в доме, крутился среди коров, телят, выгребал навоз, волок на закорках дрова из леса, сено косил, огород копал, поливал, полод, стоял за прилавком на базаре и, сгорая от стыда, продавал овощи, фрукты, чтобы купить чай да сахар. Много злился, дрался, ненавидел. Было время, когда ненавидел людей, которые не узнавали его, спрашивали, чей он сын, и ему приходилось называть имя отца. Он стеснялся того, что отец болен, боялся насмешки, жалости ли – словом, душа его была изранена, и он всячески ошетикивался, чтоб не коснулись этой раны.

Потом он уехал в город учиться, а там совсем другие нравы-порядки, а он был горяч, честен своей крестьянской честностью и безогляден в споре за справедливость, не раз бывал бит и печален оттого, что сам ударил человека. Однако, встретив Валю и пожив с ней несколько лет, он с удивлением уже подмечал за собой, что никого не может ненавидеть, словно все люди стали хорошими, словно перевелись подлецы. Верно, лишения, нужда, всякие тяготы лепят сосуд человеческий по-своему, но встреча с чистой, бескорыстной, любящей душой благотворно действует на всю дальнейшую жизнь человека, он это с благодарностью сознавал теперь...

За столом под грушей сидели Иван, Абрик и мать. Сёстры, сославшись на семейные заботы, уехали.

Мать с озабоченным видом разливала чай. Иван смотрел на её руки, натруженные, совсем выцветшие, с тонкими синими прожилками, и думал о том, сколько мама мыкалась, горбилась и в колхозе, и на заводе, и дома – мир её был замкнут вечной работой.

– Ты пошутил со мной, что ли, сынок? – спросила мать, серьёзно глядя ему в глаза.

– Нет, мама. Я и вправду подумываю вернуться. Вот приехал посоветоваться. Поживём вместе, отца заберём из больницы.

Мать вздрогнула, взгляд у неё стал испуганным.

– Отца заберём? – переспросила она. – А зачем?

– Не будет же он до самой смерти в лечебнице.

– Это не шутка, сынок. Ты хорошо всё продумал?

– Да, – не сразу ответил Иван и взглянул на брата.

Тот сидел, склонив голову, грустно молчал. Иван вдруг ощутил острую жалость к брату и подумал, что вот проходят годы, а они видятся очень редко и постепенно отдаляются друг от друга. Каждый живёт своими заботами, но ведь у них есть нечто общее, родное, обязательное.

– Что ты скажешь, Абро? – спросил Иван.

– Я что... я ничего.

– Что он... Он для нас оторванный кусок, – грустно заметила мать. – Они участок взяли, строиться будут. Вот уже кирпич режут. Не повезло младшему моему, жена ему попалась червивая.

– Так уж и червивая! – возразил Иван.

– Не приведи Господь – какая ещё червивая! Ты плохо её знаешь. Вообще прибрала парня к рукам. Я уже боюсь попросить его поправить оградку на могиле бабушки.

– Ну, ты уж совсем! – возмущился Абрик. – Когда это ты просила, а я не пошёл? Наговариваешь тут...

– Ладно, ладно, – вмешался Иван, – я сам схожу на могилу бабушки и всё поправлю, не ссорьтесь.

Бабушка... Бабушки... Одна уже покинула белый свет, и другой, верно, осталось не так много. Давно прошло время, когда казалось, что обе бабушки и мама будут жить вечно.

Он встал, неспешно побрёл в огород.

В этой жизни всякая жестокость, свершённая тобой даже в несмыслённую пору, оставляет в душе свой след. Вот помнится, он на закорках бабушки. Через зимний ореховый сад идут к ней в гости. Он долго плакал, топя ножками, прежде чем бабушка согласилась взять его с собой. Бабушка тяжело дышит, шея её напряжена. Под её ногами мягко хрустит свежий, нетронутый снег, а так тихо кругом. Сидя верхом на плечах бабушки, он поглядывает по сторонам. Гибкие стволы ореховых кустов разлапились огрузлыми белыми папахами. Иногда он что-то спрашивает у бабушки, она одышливо отвечает. Они то пересекают по мостику быстрый чёрный ручеёк, по краям схваченный прозрачной корочкой льда, то собака облаивает их из-за высокого плетня, а то из-под какого-нибудь куста с заполосным криком взнимается чёрный дрозд, летит, сбивая с ветвей пушистую порошу.

Потом, помнится, он за столом у бабушки. Она уже разожгла печку, которая, разгораясь, гудит, жарко потрескивает. А в сковородке обжаривается лук с тонко нарезанным свиным салом, распространяя сытный дух, шипит, постреливает обжигающими брызгами. Но он недоволен, надулся и требует, чтобы бабушка сготовила что-нибудь другое. Ему совсем не хочется есть, однако он знает, что в гостях принято угощаться, и вот хнычет, обиженно насупившись, мол, голоден, а обжаренный лук не будет. Бабушка растерянно мечется по комнате, заглядывает в комод, в дылов – нишу в стене, и, покачивая головой, разводит руками – ей больше нечем угостить внука. А он уже кричит, опять же топя ножками, что гостей не угощают обжаренным луком, и настаивает, чтобы она отвела его обратно домой. Бабушка уговаривает, ласкает его, обещает вечером снять с насеста последнюю курочку и зарубить для него, виновато что-то шепчет, и глаза её, полные слёз, жалостливо блестят. Но он неумолим, грозитя один сбегать домой, грубит, высмеивает бабушку за угощение...

Теперь уже нет бабушки в живых. Теперь люди живут намного лучше. Теперь не угощают внуков обжаренным луком. Но он часто вспоминает тот зимний день, вспоминает с беспощадной подробностью, и жуткий стыд опалает его сердце, и он ненавидит себя за давнюю тупость, ненавидит, и порою мнитя, что до скончания дней своих не будет ему прощения...

Огород пестрел красками конца лета. Куда ни глянешь – появились признаки увядания и какая-то печать усталости на всём. Уже



привычно шуровали куры, клевали полусгнившие помидоры с пониклой ботвы. Иван прошёлся по плотно сомкнувшимся огуречным грядкам, раздвигая руками цепкие пожелтевшие листья. Одни болезненно искривлённые, пузатые, светло-коричневые, уже никому не нужные огурцы висели на плетях. Он долго ходил, прежде чем нашёл мучительно изогнувшийся пупырчатый зелёный огурчик, сорвал его, обтёр ладонью и стал хрумкать. Огурчик оказался невкусным, почти без сока, горчил малость. Иван с тоской подумал о том, сколько лет подряд ему не удаётся разговеться первым огурцом с грядки, помидором. Он с грустью оглядел огород, запущенный, неприглядный. Запах прелости, дух растительного тлена витал в воздухе. И пчёлы, осы не гудели, уже не прилетали сюда – нечем поживиться, всё давно отцвело. Только какая-то серенькая бабочка сонно тыкалась то в одну сторону, то в другую, словно заблудшая, порхала с плети на плеть. Зато муравьи вовсю сновали по земле, что-то озабоченно волокли, суетились, вели хлопотливую работу – верно, чуяли, что лету приходит конец.

Один такой муравей и был последним толчком к тому, что Иван сейчас на родине. Он получил от матери посылку: орехи, яблоки, груши, гранаты, пол-литра алычовой водки, баночку кизилового варенья. Когда он выставил всё это на стол, из груды орехов выбрал золотисто-кофейный мурашек и стал вяло ходить по белой скатерти. Генка, сын, первым увидел его, радостно крикнул: «Гляди, пап, гляди, к нам в гости приехал от бабульки!» Это было настолько необычно, неожиданно и трогательно, что они долго сидели вокруг стола, разглядывая крохотного, милого гостя.

– Спасибо, внук, – как бы с обидой сказала бабушка. – Спасибо, так ты считаешь свою бабушку. Солнце уже на макушке неба, а ты только вспомнил обо мне.

Иван улыбался, глядя на неё. Это была его бабушка, он знал её ревнивый нрав, с годами всё обостряющийся.

– Теперь ко мне редко кто заходит, – продолжала она. – Все выросли, важными стали.

– Ну ладно, бабушка, давай посидим, поговорим.

– Это я не тебе, внук, не тебе. Ты – маладэс, – сказала она по-русски. – Валя твоя тоже маладэс, хоть и урус. Среди наших такую не сразу сыщешь. Маладэс, не забываешь горемычную бабушку, всегда в письмах спрашиваешь о моём здоровье. В городе на хорошем месте работаешь и не возгордился, как другие.

Бабушка, кряхтя и охая, хлопотала, суетилась на своих немощных ногах, ставила на стол ежевичное варенье, вазочку с мелко колотым сахаром, тонкие чайные стаканы на блюдечках, разливала чай, круто заваренный, какой любил Иван. Он просил её не беспокоиться и в то же время знал, что всё равно она всё сделает по-своему.

Наконец сели в тени под айвой, ветви которой с крупными жёлтыми ворсистыми плодами низко провисали над столом, стали пить чай. Бабушка начала жаловаться на дядю, на его молодую жену, на то, что сукин сын ухватился за юбку и не отвечает на письма, которые

шлют его дети из уральского города, на слабость своих ног жалобилась, на соседского поросёнка, разодравшего плетень и потравившего огород. Иван слушал, не перебивая. Видел, что ей необходимо выговориться и что в ней нет особой обиды на людей, что то старость в ней брюзжит.

И всё наказывала она, чтобы он берёт себя.

– В нашем роду, внук, ни один мужик не дожил до пятидесяти лет. Хоть ты береги себя. Хорошие люди рано уходят из этой жизни. Твой дед молодым ушёл на фронт – погиб, твой отец едва оперился – Бог наслал на его голову самую страшную болезнь, твой старший дядя умер в сорок лет, а младший... Боже, какое у него сердце, внук, знал бы ты, какое у него каменное сердце – не могу силой заставить навестить брата в больницу.

– Боже!.. – сетовала бабушка, оглядываясь по сторонам, словно боялась чего-то. – Но он мой, внук, он сын мне, вот здесь я его носила, он мой последний, а мать твоя так и ест меня, так и ест за то, что с ним я живу. Для меня в этой жизни счастья не было, внук, не было и нет. Ещё в девчонках бегала, судьба моя дала трещину... Сколько мне лет? Много, внук, много. А умереть всё равно не хочется. Какая я толстокожая, как ни изгаляется надо мной судьба, всё равно умирать не хочется.

– А возраст мой известный, внук. Считай вот: в последнюю резню, когда турки вырезали почти всё село, я была уже зрелой девушкой. Помню, бежала от топота коней турка, а груди у меня тряслись, что два курдюка, да, зрелой девушкой уже была. Турки убили мою мать, братьев, вот с того и началась моя горемычная жизнь...

Бабушка сидела недвижно, с нездешним, мимо всего, что есть поблизости, взглядом вдаль, взглядом, как бы сквозь толщу времени и событий обращённым в своё начало. И вспоминала, вспоминала, то и дело вытирая глаза уголком чёрного передника. И всё, что она говорила, давно было известно Ивану.

Бабушка всегда отличалась справной памятью и пытливым умом. Помнится, он был, наверное, в классе третьем, устроившись долгими зимними вечерами у жарко натопленной печки, читал себе.

– Что ты всё читаешь? – говорила бабушка, скучающе позёвывая. – Хоть перевёл бы для меня.

– Отстань! – отмахивался он.

– А про что там пишут? – указывала она на растрёпанную книжицу, лежавшую на его коленях. – Бывало, твой отец всё про войну читал.

– Эта тоже про войну, – говорил он нехотя.

– А про какие края там пишут? – допытывалась бабушка.

– Да ты всё равно нигде не была! – раздражённо отвечал он. – Ты же дальше райцентра ничего не видела. А тут русские города и сёла описывают.

– А я помню, когда первые русские к нам пришли. Голубоглазые, желтоволосые, на красных конях. Хорошие люди, песни любят, днём врагов били, а ночами у костра сидели, пили водку и песни играли, хорошие песни, тихие и сердечные...

После обеда пришёл Эдик, школьный товарищ и сосед. Вернее, заехал на своей машине. Друзья обнялись, потом сели за стол под старой грушей и стали расспрашивать, вспоминать, как и водится в таких случаях. Эдик преуспевал в жизни – об этом говорило и то, как был одет, и новенький автомобиль, и, главное, беспечная, сытая улыбка, не сходящая с его лица.

А перед Иваном, как и всякий раз при встрече с Эдиком, всплыла картина далёкого прошлого.

Им было, наверное, лет по десять.

Неспешно тянулся летний день, жаркий, душный. Где-то вдалеке, в поле, монотонно рокотал трактор, а так тихо было в селе. Иван чинил обветшалый, полуразвалившийся плетень. Работал он серьёзно, не отвлекаясь. Время от времени останавливался, совсем по-мужицки, тылом ладони, смахивал со лба пот и продолжал работу. Вскоре его от родника кликнул Эдик. Иван сделал вид, будто не расслышал. Эдик позвал ещё. Потом ещё. Иван нехотя вскинул голову, постоял, деловито нахмурившись, затем с размаху вонзил топорик в чурбак, на котором тесал колья, и неторопливо двинулся к товарищу.

Тот стоял на взлобке над родником, стоял на солнышке, двумя руками держал вдвое сложенный лаваш, из которого струилось и капало на его майку жёлтое коровье масло. Ивану тоже захотелось масла, сильно захотелось, до того сильно, что вмиг рот наполнился сладкой слюной. Но он не сплюнул, а проглотил слюну, чтобы не выдать себя. Он сказал себе: я не хочу масла – и притворился весёлым и беспечным, подошёл к Эдику и спросил, что тому нужно. Тот приглашал играть. Иван сказал, что ему некогда, чинит плетень, и что освободится только к вечеру, а сам смотрел в сторону, на чёрную гладь родника с плавно скользящими водяными мошками. Потом ещё о чём-то говорили, но он всё глядел в сторону и ничего не понимал. Сверху припекало солнце, внизу беззвучно бурлил, молча трудился родник, источая со дна студёную влагу, где-то рокотал трактор, и ему хотелось масла, но ещё больше ему хотелось, чтоб об этом не узнал Эдик. Но Эдик догадался или по доброте душевной – раздел лаваш и одну половинку протянул ему. Иван прямо перед носом увидел лаваш, истекающий маслом, вкусный дух вскружил ему голову, и рука его было дрогнула, потянулась, чтобы взять, но он превозмог своё желание, проглотил слюну и сказал, что он сыт. Потом он продолжал чинить плетень и думал о хлебе с маслом. Он чинил плетень, и в глазах темнело, и рот всё ещё наполнялся слюной – так хотелось масла. Но надо было забыть про масло и чинить изгородь, потому что никто за него её не сделает, он мужчина в доме – и об этом забывать нельзя..

Эдик был говорлив, как-то быстр, резок в жестах, но не суетлив – шутил, хохмил, вспоминая совместные проказы детства. Жизнерадостный человек, с ним было просто, легко: ни жалобы, ни злости никогда не было в его голосе.

– А помнишь, как мы Киркоровского ишака из сада увели? Как потом дед Киркор за нами гнался, материл, помнишь?..

Иван кивал, улыбался. Как и все углублённые в себя люди, он мало говорил.

– А помнишь, как ночью ходили орехи воровать и как сторож засёк нас и выстрелил, солью обжёт мне это место? Ха-ха-ха!..

Пришла жена Абрика, как обычно хмурая, вечно чем-то недовольная, кивком головы поздоровалась с Иваном и Эдиком, прошла под навес летней кухни, погромела посудой, села обедать.

Мама, до этого стиравшая, теперь отжимала и развешивала бельё.

Жизнь вокруг шла своим ходом. Ласточкин щебет радовал слух. С истомлённым квохтаньем выбрела из огорода курица, оповещая, что она разрешилась – снесла яйцо.

В каждом окрестном дворе что-нибудь делалось: кругом тюкали топоры, гремели вёдра, люди работали в огородах, садах, собирали поздний урожай, покрикивали на детей, разговаривали мельком, походя и о незначительном – дело прежде всего. Так было здесь испокон веку, и всё это нравилось Ивану, он чувствовал, что всё это его, родное.

Но он знал и другую жизнь. На свете были роскошные театральные и концертные залы, были книжные магазины, библиотеки, были ярко освещённые многолюдные вечерние улицы, были беседы с друзьями, споры, хоть и пустые, ничего не разрешающие, но умные и приятные. То, что здесь – это его память, начало, исток, питающий его нынешнюю жизнь там, в городе, где уже тоже много полюбившегося, привычного. Сознание вдруг как бы застопорило перед этим выбором: память или привычки?..

Тем временем Эдик уже разговаривал с матерью:

– Говорят, тётъ Ньюбар, новый дом зачинаете. Поздравляю.

– Начать-то начали, но не знаю, как и будет. Этот дом свалит Абрика с ног. Скоро занятия в школе – как он справится?

– Ничего, следующим летом, Бог даст, новоселье справите.

– Не-ет, не так скоро. Дом построить – это не шутка тебе.

– Мы брату за год поставили. Чего бы вам не поставить?

– Вы – другое. Вы – крепкий род, у вас корни крепкие. А мои дети на сиротских хлебах выросли, с вами не сравнятся.

– Ничего, всё будет хорошо. Главное – начали.

– Съездим, посмотрим, что там Абрик успел сделать? – предложил Иван.

– Поехали, конечно, – согласился Эдик.

Они встали, пошли со двора. Ивану не очень-то нравилась затея брата. Ему казалось, что брат легкомысленно поступает, покидая родной двор, родовой очаг. Но раз уж тот решился, то надо съездить и посмотреть.

Машина плавно тронулась с места, побежала по пыльной сельской улице, за нею с лаем припустила рыжая соседская собака, а впереди гуси с поздним выводком вперевалку отбегали в сторонку, выгибая шеи, угрожающе шипели. Эдик всё говорил и говорил: о школьных друзьях, их судьбах, кто как устроился, у кого сколько детей. Многие, конечно, разъехались, живут в городах, но часто навещают родное село, не забывают. Машина бесшумно скользила по узкой дороге мимо плетней, дощатых заборов, каменных оград, мимо ого-

родов, садов, седых от пыли. Вот промелькнули две женщины, о чём-то болтавшие, опершись грудью на плетень. Повернув головы, они с любопытством посмотрели им вслед. Вон на скамейке под раскидистым ореховым деревом сидят два старика – дед Никал и дед Манас. Так же они сидели, когда Иван уезжал из села в первый раз, так же сидели, когда он уезжал после университетских каникул или отпусков. Сидели молча, попыхивали папиросой, отрешённо глядя перед собой. Привычная была картина.

Всё здесь было своё, родня везде жила, друзья-товарищи, соседи, все знакомые. Казалось, он совсем не уезжал отсюда, не отсутствовал без малого двадцать лет, изредка наведываясь в гости. Что странно, жизнь до отъезда виделась ему бесконечной, неисчерпаемой воспоминаниями. А последующие годы, вроде бы и насыщенные, деятельные, казались куцыми, незаметно промелькнувшими. Много всего было, но почти ничего не осталось. Измельчало всё, растворилось в суе. Память сохранила какие-то куски, обрывки, отдельные случаи – не было неразрывной цельности.

Опять думалось о себе – нынешнем и в далёком прошлом.

Машина остановилась на большой круглой поляне, посреди которой громоздились серые штабеля кирпича-сырца. Трава под ногами была жестка и груба, пожухла, выгорела до времени. Мелкорослый лесочек, обступивший поляну, тоже казался хилым, чахлым.

– Не лучшее, конечно, место выбрал, – оглядевшись, сказал Эдик.

– Как далеко от людей, прямо за село выбрались. Как тут жить-то?..

– Это ничего. Здесь сразу несколько человек взяли участки, так что соседи будут. Только вот родника поблизости нет, каждый себе колодец вырыл. Да и разрастается село, глядишь, скоро даже здесь будет тесновато.

– Странно, люди покидают и покидают село, а оно не убывает, напротив, всё расширяется.

– Сколько б ни уезжали, людей хватает. Ведь у нас в каждой семье по пять-семь человек детей. Если пятеро и уезжают, двое остаются. Мало кто всей семьёй уехал.

Подошли к аккуратно сложенным штабелям, заботливо прикрытым прозрачным полиэтиленом. Иван потянулся, вынул сверху один кирпич. Серый, глиняный, с жёлтыми прожилками соломы, хорошо просушенный, крепкий кирпич был лёгок, шершав и колок.

– Сколько кирпичей на дом уходит? – полюбопытствовал Иван.

– Думаю... тысяч пятнадцать, никак не меньше.

– Ого! Много-то как... – покачал головой Иван.

Делать кирпич нелегко, он это с детства знал. Пожалуй, это самая трудоёмкая, ответственная часть работы, когда затеваешь строение. Как долго нужно орудовать лопатами, перекапывая, разрыхляя грунт по кругу. Как много нужно рубить, крошить солому. Сколько вёдер воды нужно плеснуть на круг, а когда он залит так, что сочной жижей сверкает на солнце, тогда уж можно запускать буйволов, связанных попарно: две пары, три – чем больше, тем лучше. Поначалу буйволы довольно ходко трусят по кругу, круг за кругом, весело понукаемые со всех сторон, без конца топчут, ископывают чавка-

ющее месиво, спотыкаясь и отхлёстываясь куцыми хвостами, отгоняя докучливых мух и слепней.

Но вот проходит время, и буйволы, изморившиеся, вымученные, останавливаются, с вековой тоской в небольших дымчатых глазах глядят на людей, но их тут же подстёгивают, достают длинным хлыстом, покрикивают, улюлюкают, матюкают для верности – и они снова пускаются враскачку по кругу, покорно месят глину, смешанную с мелко нарубленной соломой, но с каждым кругом всё медленнее и медленнее, понуриив головы, тяжело поводя боками, – и так полдня, а там им дают передышку часа на три-четыре, кормят и поят уставших животных, потом опять гонят на круг, мятый-перемятый, но ещё не поспевший...

Но ведь нынче в селе не держат буйволов.

– Слушай, как теперь глину месят? – спросил Иван. – Буйволов-то нет...

– А трактор на что? «Беларусь» за два-три часа так управляет-ся, что с буйволами и за неделю не перетопчешь. Пойдём колодец поглядим.

Хороший стоял день, чистый и тихий, с нежарким солнышком. Ласточки с весёлым чивиканьем носились, кружились над головой. И чудилось, будто эти махонькие птички знали, что люди новый юрд\* закладывают, что скоро здесь вырастет дом, человеческое жильё с теплом, уютom, смехом и печалью, с детскими голосами, будто знали, догадывались об этом и вот облётывали эту пока ещё пустую поляну на отшибе от села, заранее радуясь тому, что человек и их пустит под свой кров, они из глиняных комочков и соломинок вылепят себе гнёзда, выложат мягким пухом и заведут семейство. Ивану вдруг открылась простая и такая очевидная связь всего сущего на земле: вот люди кирпич делают точно так же, как ласточки гнёзда лепят, из глины и соломы.

Колодец был узок и глубок. Они заглянули внутрь ровного и гладкого, что труба, ствола – в изрядной глубине едва приметно и маслянисто отсвечивала вода.

– Как же туда спускались? – удивился Иван.

– Да есть один мастер по этим делам. На верёвке спускается. Целый день скребёт там лопатой с коротеньким черенком. Туда же просит каждые два часа спустить сто грамм водки с закуской. Выпивает, закусывает и опять скребёт себе – и так несколько дней.

В сторону от колодца неровной, волнистой грядой тянулся тяжёлый на вид грунт, и чем дальше, тем казался он светлее, с малой долей песочка ли, золы – было непонятно. Иван шагнул ближе, носком ботинка поддал по грунту, который, веером сбившись, рассыпался, и обнажилось там что-то матово-коричневое. Он нагнулся, поднял – то был черепок амфоры. Он поколупал ногой, увидел ещё осколок, потом ещё и ещё – и вскоре обнаружил много черепков. Сомнений не могло быть: в этих местах когда-то давным-давно жили

---

Юрд\* – родовое подворье, фамильный двор.

люди. В студенческие годы он как-то с друзьями-археологами ездил на раскопки, и у него был кое-какой опыт в распознавании старины.

Странно, подумал он, восхищённо осматривая находку. Тут жили люди ещё тысячи лет назад... впрочем, ничего странного, раскопали же в нескольких километрах отсюда древнейшую столицу удинского государства. Иван вдруг представил себе людей, которые когда-то рождались здесь, росли, любили, рожали, радовались и печалились, надеясь на что-то бесконечное, вечное. Трудно жили, часто болели, быстро старели и умирали, а после них остались всего лишь какие-то осколки домашней утвари, захороненные глубоко под землёй.

– Здесь было древнее поселение, – сказал Иван, поймав недоумённый взгляд Эдика. – А мы считали, будто в этих местах всегда были леса...

Они сели на землю, закурили. Иван стал вдумчиво, с потаённым восторгом рассказывать об археологии, о древности. Но Эдику, видно, были неинтересны, чужды слова о незапамятном прошлом, он заговорил о том, как в начале лета ездил отдыхать на море, сколько с собой денег брал да как славно он там провёл время. Ивану стало скучно и досадно.

Между тем солнце клонилось к закату. Над головой по-прежнему носились ласточки. Невдалеке, в лесочке, разорялись горластые сороки. Эдик всё расписывал свои приключения на море. Иван слушал плохо. Время от времени он поднимал голову и видел вдали снежные вершины гор, а над ними ярко-голубое небо, по которому полз едва видимый серебряный крестик высотного самолёта, оставляющего за собой молочно-белый шлейф инверсионного следа. В какую-то минуту самолёт этот наваял мысли о городе, откуда он два дня назад улетел почти на таком же самолёте. Он представил рядом с собой жену с сыном на этой поляне, и всё в нём занялось нежностью. Он где-то вычитал, будто бы в глубокой древности человечество не знало романтической любви, то есть любви в нынешнем понимании, дескать, древние знали только половое влечение, более или менее одухотворённое. Ему это сейчас показалось несусветной глупостью. Он никак не согласился бы с тем, что люди, некогда жившие здесь, в этих местах, так же, как и он теперь, не тосковали по возлюбленной. Ведь на земле всегда были трава, деревья, скважина колодца, по капельке высасывающая из плоти земли влагу для людей, и эти птицы были, их песни, и те же громады гор с белоснежными гребнями, и, стало быть, в центре всего этого была и душа людская, и томление этой души...

Дома его ждали. Гости нагрянули: соседи, родня всякая, тётки с мужьями, дядюшка Ваан. Все свои – пришли поглядеть на Ивана, посидеть, поговорить. Иван со всеми поздоровался, расцеловался, как и положено, с каждым по отдельности. Потом извинился, пошёл хорошенько умылся, переоделся и вышел к гостям в белом костюме, ладно сидевшем на нём, высоком, поджаром, чуть сутуловатом.

Мать водрузила на стол самовар и, ошпарив большой фарфоровый чайник, заварила чай. Первым делом, как и заведено в селе, чаёвничали обстоятельно, с разными вареньями. Гости о работе Ивана спрашивались, о семье, выспрашивали о всяких порядках-обычаях тамош-

них, о том, как там с продуктами. Сами рассказывали о своих семьях, вспоминали, кто сына женил, кто дочь выдал замуж да кто сколько приданого подарил – обычные, привычные были речи, сельские новости выкладывали.

Потом наставили на стол закусок, вина домашнего. Опять речам не было конца: тосты произносили, пожелания добрые. Наконец дядюшка Ваан встал, недолго помолчал, держа стакан в руке и грустно задумавшись, и тихо произнёс тост, который был обязательным в каждом застолье в этом доме. Сказал: воля Божья, мы ничего не можем, ничем не можем помочь, облегчить его участь, но человек надеждою жив – так выпьем за нашу общую надежду, за то, чтоб он выздоровел...

Пришли Абрик с женой и дочкой, сели за стол. Стеллочка сразу вскочила, уселась Ивану на колени, звучно чмокнула его в щёку и стала щебетать о том, как провела день в садике. Снова подняли стаканы, сказали тост за счастливую затею – за новый дом. Пожелали Абрику с женой народить кучу детей в новом доме, вырастить их, оженить, и им самим пожелали долгих лет счастья и согласия.

Абрик в это время сидел, ел молча и не поднимал глаз от тарелки.

Мать то присаживалась к столу, то опять вскакивала, вовремя заметив, кому нужно подложить на тарелку, хлопотала, угощая гостей. Разговаривала, улыбалась, но какая-то скованность чувствовалась в её движениях, какая-то грустинка проглядывала сквозь улыбку.

Не выдержала, объявилась на шум бабушка. Иван спешно встал, предложил ей свой стул. Она села и горделиво скрестила на груди руки, ни к чему не притрагиваясь, подчёркивая, что пришла только послушать людей.

Уже стемнело. И словно со всей округи слетались к лампочке, висящей высоко под потолком веранды, всякие мошки, букашки и кружились, вились, толклись молчаливым роем. А на полу, чуть поодаль от стола, огромный жук, валявшийся на спине, суматошно и тщетно возился, двигал лапками и, как бы злобно чертыхаясь, прерывисто жужжал.

Ну а за столом всё говорили, говорили. Ивану было хорошо. Сам не больно речистый, он любил послушать, молча покуривая. Весело было за столом, счастливо. Стеллочка спрыгнула с колен Ивана и вьюном завилась вокруг гостей, что-то кричала, смеялась, аж визжала от радости. И каждый раз, обойдя стол, лезла к Ивану целоваться.

Дядюшка Ваан, совсем худющий, щуплый, кожа да кости, сидел, тихо улыбался, глаза поблёскивали добродушием. Сколько лет подряд он возил отца по врачам, из города в город, неделями, месяцами пропадал в дороге. А у самого дома большая семья, хозяйство. Много ли найдётся людей, кто, забыв всё своё, занялся бы делами семьи заболевшего троюродного брата?

Иван помнил, что дядюшка Ваан больше всех пёкса о них, больше всех жалел и подсоблял чем мог: то дров подкидывал, то сенца, а то и деньгами помогал. Теперь Иван смотрел на дядюшку, всем своим существом чувствовал его доброту, и ему хотелось сказать что-нибудь очень простое, доброе, и не мог, не находилось слов.



Человек этот, когда-то принявший горе его семьи как своё личное горе, в сущности, был сейчас для него центром всей жизни, по нему, по таким людям была его вечная тоска, к ним тянулась его душа – и как обо всём этом можно сказать вслух и какие подобрать слова?!

Гости разошлись в полночь. Мать с женой Абрика убрали посуду со стола. Иван с Абриком сидели во дворе за столом под грушей, курили и смотрели в тёмно-синее звёздное небо. Во всех домах окрест готовились ко сну. Гасли огни. Негромко, по ночному людские голоса перекликались. Село погружалось в покой.

– Ты чем-нибудь недоволен, Абро? – тихо спросил Иван.

– А что?

– Какой-то не такой ты..

Абрик помолчал и сказал:

– Зачем тебе перебираться в село? Ты не сможешь тут жить.

– Не смогу? Почему? Ты можешь, я не смогу?

– Я.. – грустно усмехнулся Абрик. – Ты, наверное, уже заметил, как я живу. У тебя прекрасная жена, не привози её сюда и сам не приезжай – мой тебе совет.

– Почему, Абро? – Иван приобнял брата. – Почему?..

Абрик затаился сигаретой, не сразу ответил:

– Ты не знаешь, какая здесь жизнь стала. Живёшь себе в городе среди интеллигентных людей, и тебе кажется, всюду так просто. Тут вся жизнь стоит на деньгах и только на них. Ты так не сможешь, я знаю. Я тебя люблю, уважаю не только как брата.. – голос Абрика дрогнул, – но и вообще как человека порядочного. Я горжусь тобой и не хочу, чтобы ты окунулся во всю эту грязь..

– Но люди живут как-то. Не все же подлецы.

– Не все. Но подлецов стало больше. Раньше у одного Даллари Гори были большие деньги. Всякий знал об этом и не обращал внимания. Нынче у каждого проходимца десятки, а то и сотни тысяч. Всё покупают и продают. Людей тоже, учти. Тех, кто им мешает. Ненавижу, ненавижу!.. – Абрик замолчал, верно, взбудоражив себя неприятным воспоминанием, потом сказал: – В городе легче отгородиться от хапуг, сволочей. Можно жить и не замечать. А тут нельзя. Не дают..

– Так не быть же отцу вечно в лечебнице, Абро. Он уже старый, и хоть перед смертью нужно забрать его домой.

– Его уже нет! – резковато возразил Абрик. – Он никого не узнаёт и ничего не помнит – значит, его нет. Но есть ты, и ты мой брат, и я не хочу, чтобы тебе было плохо, – закончил он, встал и пошёл прочь.

Иван почувствовал себя одиноким. Страшно одиноким. Такого с ним никогда раньше ещё не было. Он встал и начал ходить взад-вперёд. Слышно ворочались на деревьях, на обычных своих насестах куры. Садилась роса, воздух повлажнел, как бы сгустился, и заметно похолодало. Лёгкий ветерок плутал в листве. А вдалеке, за селом, как и в ночь приезда, выли шакалы.

В самом деле, брат в чём-то был прав. О реальной жизни, о том хотя бы, где здесь работать, он как-то не думал. «Но не быть же отцу вечно в лечебнице, – словно оправдываясь, повторил он про себя. – Он уже без малого тридцать лет там, и я чувствую свою какую-то вину...

Конечно, я проживу и без него, без отца, хотя мне его и недостаёт. А он... отец... ему недостаёт всего, всей жизни. Мы лишены одного его, а он лишён всех нас, хотя он этого, может, и не сознаёт. Но мы-то сознаём, я-то сознаю...»

Однажды ему снилось, как будто он гулял с отцом по городскому парку, с отцом – разумным, всё понимающим и помнящим и потому ничего никому не простившим и ушедшим далеко в себя, – вот вся его болезнь, вроде бы понял он во сне. Но, проснувшись и вспомнив сон, он не мог уже понять, что и кому не простил отец.

Другой раз снилось вовсе странное. Кругом пшеничное поле, по которому, словно куда-то спеша, торопливо несутся тени, отбрасываемые плывущими в знойном небе облаками. Они с отцом за штурвалом комбайна. Отец весь в пыли, но довольный, улыбается и показывает пальцем на убегающие тени и говорит, что одну из них они сейчас догонят и привяжут к штурвалу, чтоб не жарко было. Маленький Иван в азарте погони подгоняет отца – быстрее, быстрее! – и ему кажется, что вот-вот они настигнут, наедут на тень. Но нет, тень всё убегает, мчится, уходя всё дальше и дальше. Он досадливо поворачивается к отцу, хочет попросить, чтобы он ещё быстрее поехал, но видит, что отца нет рядом. Он растерянно озирается: вокруг, куда глаз хватает, пшеничное поле, над которым струится марево и стоит оглушающий звон кузнечиков, а отца нигде нет. «Папа!» – испуганно вскрикивает он, но голос его вязнет в звоне кузнечиков, в кипении марева, в шелесте улывающих облаков. С ужасом видит он вдруг, что отец сидит на мягком белом облаке, которое уже далеко-далеко, на краю неба. Он снова зовёт отца, машет руками, плачет, размазывая слёзы по лицу, а отец верхом на облаке всё удаляется и удаляется. «Папа!.. Ну, па-а-па-а!» – кричит он в отчаянии и от этого истошного крика своего просыпается...

Когда он подошёл к веранде, мать в одиночестве сидела за столом и глаза её казались заплаканными.

– Что случилось, мама? – спросил он, сев рядом с ней.

– Всё о тебе думаю, сынок. Вот хочешь перебраться сюда, а я и не знаю, радоваться мне или плакать. Боюсь, не приспособишься к здешней жизни. Давно ты уехал из дома, люди изменились с тех пор...

– Да вы что, в самом деле, – возразил он, – стоворились, что ли?

– Ты не обижайся, сынок, умереть мне за тебя. Приезжай, конечно. Но лучше устройся где-нибудь в городе, где-нибудь рядом. Вот Мингечаур хороший город, и много наших там живут. Живи в городе, поблизости, а этот дом пусть будет как бы твоей дачей...

Опять по её щекам покатались слёзы. Самые страшные слёзы – это когда твоя мать плачет из-за твоих поступков. Но поступка ещё не было, и он мучительно ломал голову, как сделать, как найти те единственно верные слова, чтобы высказать свои мысли о будущей жизни, как он её понимал. Но очень скоро он сообразил, что бессмысленно и даже нечестно сейчас что-то обещать маме. Обнадёжить её, судить ей золотые горы он не мог. Он должен уехать и вдали от всего и ото всех, в какие-нибудь бессонные ночи, когда легче всего быть самим собой, решить окончательно.

А сейчас всё перепуталось, он в смятении. И эти слёзы...

Мать никогда раньше при детях не плакала. Мать при них не плакала, утром уходила на колхозную работу, вечером, во вторую смену, отправлялась на завод, сортировала там фрукты, овощи, потом, поздно ночью вернувшись домой и наскоро поужинав, ложилась спать, чтобы рано утром, с петухами, подняться и снова впрягаться в бесконечные заботы. Мать при них не плакала. Но у них была подушка, мамина белая подушка, и она была жёлтая. Белая подушка сделалась жёлтой и не отстирывалась.

Лишь однажды, когда им назначили пенсию, радость – такая редкая гостья в этой семье – радость так захлестнула их мать, что она при детях заплакала. Она плакала открыто, не таясь, плакала и улыбалась и казалась очень молодой и очень старой одновременно. Была поздняя ночь, они не спали, приятно возбуждённые, сидели на веранде вокруг жарко натопленной жестяной печки с малиново раскалившимися боками, по небу плыли тяжёлые тучи, то застыя, то открывая полный месяц, словно от трения о него свинцово-тяжёлых туч натужно раскрасневшийся, – и их мать плакала и улыбалась, причитала, благодарила советскую власть, которая не забыла её сироток, и на её печально-счастливом лице играли блики огня.

Иван проснулся чуть свет. Мать громыхнула чем-то во дворе, и он проснулся, оделся, вышел на веранду. Солнце ещё не поднялось, но небо на востоке оранжево полыхало. Утро было росное, прохладное. Село пробуждалось. Тут и там звякнули ведром, кто-то затюкал топором, а обрывки каких-то фраз, слов доносились отовсюду. Но всё это не нарушало чуткую тишину утра. Он слышал, как шуршит, стекая с листьев, роса и как отдельные её капли шлёпаются то там, то здесь.

*И тихо так, как будто никогда  
Уже не будет в жизни потрясений... –*

прошептал он вслух строки любимого поэта. «Странно... Как странно, – подумал он. – Вот человек русский, с русского Севера, а читаешь и плачешь. А что у меня с ним общего? Я родился здесь, где дети до школы, в сущности, не знают русского языка. Нет, всё-таки непонятно, чем так сильна поэзия...»

– Что так рано встал, сынок? – спросила мать, выйдя из хлева.

Он улыбнулся, сказал:

– Пойду на кладбище.

– Сходи, сынок. Только сначала позавтракай.

– Так рано не завтракаю. Там же кафе рядом.

Он зашёл в подсобку под летней кухней, нашёл молоток, гвозди, подобрал во дворе топорик и неспешно выбрался за калитку. И увидел дядю, с двумя тяжёлыми ведрами шедшего к свинарнику. Сперва он обрадовался, потом мелькнула обидная и неприятная мысль: уже третий день он здесь, а ещё не повидались, не поздоровались даже. Самого Ивана все эти дни тянуло на другую половину дома, и он несколько раз наведывался туда, но всё заставлял одну бабушку. Дядя

не заметил его, и он не подал голоса. Наплевать, пусть себе живёт как хочет. Не может по-людски – и не надо. Навязываться не будем. Плевать, подумал он, хотя где-то в глубине души сделалось муторно.

Утро между тем набирало силу. На верхушках деревьев листва заблестела, заиграла, словно лакированная. Скрипели ворота, стукали калитки – со всех дворов выгоняли коров.

Дорога на кладбище навела мысли о смерти. Об одной чужой смерти. Было время, когда они с женой жили в старом двухэтажном доме, в квартире с общей кухней. Соседи по коридору были неплохие, терпимые, что большая редкость в таких домах. Только вот во дворе целыми днями сидели старушки, с любопытством разглядывали прохожих, шушукались, судачили. Всё обо всех всегда они знали: кто к кому пришёл и по какому поводу; в какой семье скандал – муж пропил зарплату да к тому же угодил в медвытрезвитель. И не просто знали, но и охотно делились со всяким встречным. Поначалу и Ивана останавливали и все новости двора выкладывали, но он не проявлял интереса, отмалчивался. В общем, как он понял впоследствии, почти все они были безобидными – одно слово: старушки. Но была среди них одна, не так уж и старая, лет шестидесяти с куцым хвостиком, не больше. С утра до вечера она пропадала во дворе, прислушивалась, приноживалась. Даже ночью, при малейшем шуме, не ленилась, приоткрывала дверь, высовывала голову. Она-то и собирала и разносила сплетни, с лихвой от себя приукрашивая всякий безобидный слушок до крайнего безобразия. Об этом все знали и не любили её. Словом, злая была старуха, никчёмная.

И вот она умерла. Ночью.

Соседки постучали к Ивану: так и так, мол, скончалась такая-то – нужно помочь перенести покойную с кровати на стол. Отказать он не мог. Но пошёл неохотно – он плохо переносил атмосферу смерти, слёзы душили его. На похоронах бабушки и старшего дяди даже боялись за него родственники – думали, что-то неладное творится с ним.

А тут всё оказалось иначе.

Кроме него позвали ещё одного соседа, совсем молодого. В прихожей толпились соседки, из разговора которых стало понятно, что умерла старуха в одиночестве, в темноте, при погасшем свете. Одна из них зашла проведать и видит: умерла. Всё было обыденно – никто не плакал, не кричал, не метался, не хлопал дверью. Уже еле внятный запах смерти был растворён в воздухе, и пол крокоплен водой – омыли покойницу, и большое старинное зеркало завесили чёрным, и будильник, казалось, цокал громче обычного, но всё равно ощущение смерти не было.

Иван с молодым соседом робко подошли к кровати. Покойница лежала под белой простыней. Они нагнулись, подняли её, ужасно тяжёлую, пока ещё мягкую. Из-под простыни выползла белая мясистая рука – и в этом было что-то отвратительное. С трудом перенесли её, и, когда положили на стол, она как бы шумно вздохнула, и губы её шевельнулись. Опять это было отвратительно. Всё это он видел глазами и отмечал умом: никаких чувств не испытывал, и это-то было отвратительнее, ужаснее всего. В комнате и в прихожей вполго-

лоса переговаривались женщины, интересовались: есть ли у покойной родственники. И гулко цокал будильник. И всё.

Хоронили её ещё ужаснее. Родственников никаких не нашлось. Соседи, сплошь старушки, долго обсуждали во дворе: как быть? что делать? Потом подошли к Ивану и попросили его взять на себя хлопоты с похоронами. Он нехотя согласился. В таких случаях характер проявлять кощунственно, подумал он и согласился. Пошёл к друзьям, растолковал всё как есть. Друзья не отказались подсобить в непривычном деле.

Впервые в жизни он присутствовал на похоронах, где никто не плакал, и понял, что атмосферу скорби создают живые люди, а вовсе не сама смерть. С кладбища возвращались грустные, подавленные. Зашли в какой-то подвал, выпили по стакану водки. Но легче не стало. Ещё долго бродили по скверу. Холодно и неприятно было вокруг. Стояла осень – листья бесшумно падали с деревьев.

Могилу бабушки с белым надгробным камнем Иван нашёл легко. На фотокарточке бабушка старая, с седыми кудряшками, с потаённой улыбкой в уголках сморщенных губ. Такую он знал её всегда, такую помнил. Он грустно вздохнул, закурил и обошёл деревянную оградку: несколько прясел подгнило, отвалилось. «Надо нарубить жердей, привезти и всё подновить, – подумал он. – Сегодня же, не откладывая...»

Потом он подошёл к могиле старшего дяди. Тут всё было в порядке. За серебристой металлической оградкой стоял высокий памятник из чёрного мрамора. И портрет дяди был строгим, под стать обрамлению. Но в жизни дядя был простым, улыбчивым парнем. Жил человек, работал, улыбался, красиво улыбался – так, как только он и мог. Когда-то в детстве, разозлённый чем-то, Иван пошёл на дядю с тесаком. Подоспела мама, выхватила тесак и его отшлёпала. А дядя стоял и печально, с ещё не понятной тогда Ивану болью в глазах смотрел на него. Причина, из-за которой он выхватил тесак и двинулся на дядю, не запомнилась. А вот чувство осталось. Чувство вины, стыда ли. Как поздно, как непоправимо поздно, однако ж, постигаем простую на первый взгляд истину, что надо всегда любить близких, хороших и всяких. Теперь уже ничего не поправишь. Теперь дяди нет, он навечно исчез, растворился в этой земле – и черви давно съели его красивую улыбку...

А здесь лежит Ася, первая красавица школы. Вспомнил, как у него перехватывало дыхание, как он млея от сладостного томления, когда она проходила рядом, обдав невинно-нежным девичьим теплом. Стройная, гибкая, рано развившаяся – платья на ней прямо трещали по швам, когда она вздыхала, – с ясным, доверчивым взглядом каштановых глаз, с доверчивым же нравом. И смерть её вспомнил. Ужасную, невиданную смерть в десятом классе. Хоронили в закрытом гробу, поскольку то, что от неё осталось, нельзя было показывать людям. Говорят, прах один. И почему, почему она так чудовищно оборвала свою жизнь?!

Иван ходил по кладбищу, выкуривая одну сигарету за другой. Сколько знакомых людей уже перемёрло. Он и не знал, что так много. Или забыл в вечной суете, в жалких повседневных заботах. Немало

могил и совсем молодых ребят, чуть постарше его, чуть помоложе, почти все погибли в автокатастрофах. Всех их он помнил. Вроде недавно вместе бегали, в футбол играли, купались в речке – и их уже нет...

Солнце выглянуло из-за деревьев и пригревало. Вокруг разом пела уйма самых разных птиц – и среди этого весёлого хора одиноко куковала кукушка. Её голос был чист и печален, и словно напоминал он о быстротечности человеческой жизни, словно каждым «куку» отсчитывал время, отпущенное всякому из людей. «Может, поэтому она и подкидывает яйца в гнёзда других птиц, что знает, как коротка жизнь? – глуповато подумал Иван. – Может, знает об этом и не желает брать на себя хлопоты с потомством?..»

Воздух постепенно насыщался теплом. Иван видел, как тает роса, золотистой дымкой улетучивается, и ему чудилось, что это сердца, глаза, улыбки его товарищей, родственников, знакомых, односельчан, унесших память об этой жизни, о людях, о нём тоже, смешались с соком земли и теперь испаряются. Из каждой травинки, росинки, чудилось, на него смотрели до срока ушедшие люди – и лица, живые лица проступали из глубины памяти и времени...

Оградкой на могиле бабушки Иван занимался до вечера. Когда он вернулся домой, ровный сумеречный свет был разлит в воздухе. Мать со Стеллочкой подметали двор. Увидев его, Стеллочка швырнула метлу прочь и с восторженным визгом бросилась к нему. Ах, какая озорница, какая шалунья! Он подхватил её на руки, она горячо обвиняла его шею. Но мать строго велела:

- Опусти её, Иван, на землю. Ты что же, Стелка, подмела свой пай?
- Я после, бабуль.
- Ах, так, значит?..
- Ну, ба-а-а-буль...
- Нет, Стелка. Сперва сделай работу. Помнишь, как мы договаривались?..

Стеллочка нехотя сползла наземь, недовольно топнула ножкой и сказала по-взрослому досадливо и кокетливо:

- А-яман, что эта женщина от меня хочет?!

И побежала, подобрала метлу и начала деловито ширкать.

- Ну как, сынок, сделал всё? – спросила мать.

Иван кивнул.

- Устал небось с непривычки-то?

- Нет, нисколько. Только есть хочу.

- Ах, умереть мне за тебя, сынок, а у меня пока ужин не готов.

Весь день провозилась в колхозном сарае, остатки табака связала, говорят, на днях увезут. Я сейчас, мигом...

- Ничего не надо, мама. Я сам что-нибудь найду и перекушу.

Он поднялся на веранду, вытащил из холодильника банку с брынзой, один лаваш достал из хлебного ящика и, спустившись вниз, сел за стол под грушей, стал с аппетитом есть. Брынза была круто солёной, он пошёл, зачерпнул из ведра кружку холодной родниковой воды – запивать.

На краю неба рдяно догорал закат, и всё было удивительно ровным кругом: свет, воздух, тишина. Казалось, будто даже сумерки

больше не сгущались: абсолютный покой. Отовсюду доносились голоса, мычание коров, гул машин, но все эти звуки как бы поглощались или оттенялись общей умиротворённой тишиной, разлившейся в предзакатном мире.

Вот так сидеть, слушать вечернюю тишину, чувствовать рядом маму, которая приучает внучку сызмальства к труду, жевать хлеб с сыром, пить воду, воздухом дышать, какие-то простые мысли думать. Сидеть и любить весь этот покой, лад, первородный миропорядок, который давно всюду рассыпался в прах, а здесь как-то уцелел.

«Всё это самое главное, – думал он. – Остальное второстепенно, остальное потом, после, при желании, при необходимости – для устойчивого равновесия, для баланса души... Господи, – прошептал он про себя, – ничего больше мне не надо. Всё и так хорошо. Всё хорошо... вот моя мама, вот племянница, там бабушка, скоро придут с работы брат с женой, и мои там, в городе, они тоже любят всё это, они тоже всем довольны. Мы все всем довольны, Господи, и ничего больше не желаем, – лишь бы не было войны..»

Он часто думал о войне, то есть не мог не думать, когда так много о ней говорят. Он думал о войне и боялся её, боялся и ненавидел, потому что война не только убивает человека, но уничтожает и его память, и мечту, а нынешняя война может уничтожить и память о нём, убитом, погибшем, и скорбь по нему, и печаль – уничтожить всех и всё...

Стеллочка дёргала его за руку:

– Ну, что ты всё сидишь, дядя?

Он молча смотрел на девочку.

– Ну, вставай же, дядь Иван...

– Зачем?

– В догонялки поиграем.

– Да нет, не хочу, Стелка.

– Ну, почему не хочешь?

– Старик уже в догонялки играть.

– Ста-а-рик?

– Ну да.

– А почему у тебя волосы не седые, если старик?

– Видно, такой уж старик никудышный, Стелка.

С другой половины двора донёлся голос бабушки:

– Ваник! С ребёнком играешь? Сколько дней здесь, с дядей не виделся, с ребёнком играешь? Маладэс, внук. Если этот сукин сын с норовом, так что – совсем плюнем на него? Так, что ли?..

– Что такое, бабушка? – Иван встал, подошёл к проволочной изгороди, разделявшей двор на две части.

– Собака собаку съедает, внук, но кость не перегрызает. Одна кровь в вас течёт, сукины дети! Вы должны облизывать друг друга, врагам на зависть...

Тем временем дядя спустился с веранды, шагнул к изгороди, скупно, одними губами улыбаясь. Подойдя, замешкался, не зная, как дальше быть, как поздороваться через сетку.

– Говорят, Иван приехал, Иван приехал, – сказал он смущённо. – Спрашиваю: где же он?..

– Да, вот приехал. Заходил не раз, тебя всё нет и нет.

– Работа, работа, – развёл руками дядя. – Так ты это... чего стоишь-то? Пошли сюда.

Иван показал взглядом на сетку, мол, не получится, вишь, помеха какая.

– Так ты это... в обход давай. Посидим, поговорим.

Иван отрицательно мотнул головой, глядя в моложавое лицо дяди.

– Не хочешь идти?

– Обходить не хочу.

– Маладэс, внук! – подала голос бабушка. – Так его!..

Дядя метнул на неё сердитый взгляд, и она примолкла.

– Так ты это... ведь уже был здесь и в обход приходил.

– Приходил. Но то к бабушке, она двор не перегораживала. К тебе могу только напрямик.

– Открой, отцепи один пролёт, – вновь встряла бабушка.

– Убрать один пролёт? – спросил дядя. – Ты так хочешь?

Иван пожал плечами:

– Из комнаты в комнату в родном доме я не собираюсь ходить в обход.

– Так ты что, мне условия ставишь?

– Просто говорю то, что думаю.

– Что-то вы много думать стали – и ты, и братец твой.

– На то и люди, дядя, чтобы думать. Как же иначе?..

– Конечно, куда мне с вами. Вы – образованные. Но запомни: ты сын моего брата и на десять лет моложе меня, значит, хотя бы из уважения к моему возрасту можешь прийти в обход.

Сказав это, дядя подождал ответа. Но Иван молчал. Бабушка тоже молчала, и мама, и Стеллочка, и сгущающиеся сумерки молчали.

Наконец Иван сказал:

– До меня дошло, дядя, будто ты хочешь продать полдома...

– Это уж моё личное дело!

– Да, конечно. Спорить с тобой и выяснять отношения я не собираюсь. Но не хотелось бы, чтоб ты это сделал...

– Дай в долг несколько тысяч, и я не продам дом.

– У меня таких денег нет.

– Как же так? Всю жизнь учился, а каких-нибудь трёх тысяч нет. Для чего же ты всё это учился? Я баранку кручу, и то у меня кое-что есть, хоть и алименты за двоих детей плачу.

– Так то – ты, дядя. У тебя всего много: и жён, и детей, и денег. Мне с тобой не сравниться.

– Подкальываешь?..

– Да нет, сожалею.

– О чём же это?

– О том, что ты – мой дядя...

В доме давно спали. Снаружи тоже всё успокоилось: и шакалы притихли, и первые петухи пропели. Лишь совсем далеко, словно



в другой жизни, слабо лаяли собаки. Ивану не спалось: то ли долгое пребывание на кладбище растревожило его, то ли разговор с дядей, то ли нежелание матери и брата, чтобы он перебрался в село, но сон не шёл. Он ворочался, сопел и вздыхал, пытаясь уснуть. «Заладили: не сможешь жить да не сможешь жить... – с досадою думал он. – Почему не смогу? С чего это они взяли? Все могут, я не смогу. Смех, да и только. Пойти здесь на завод или хотя бы в школу – и всё. Что ещё нужно? Работай и живи...»

Дело, которым Иван занимался в городе, не отнимало у него много сил. Работал легко, совсем не напрягаясь. Временами ему казалось, что всё то, что он делает, при определённой подготовке и навыках мог бы делать любой человек на земле. Иногда даже думал, что физика не его призвание, что в юности малость ошибся с выбором факультета. Его всегда как-то больше тянуло к литературе, истории. У него и друзья-то, как это ни странно, были одни гуманитарии. Но он особо не расстраивался: честолюбием не страдал, карьеру не делал, просто добросовестно работал и получал за свой труд определённое вознаграждение. Руководство института не раз предлагало ему выбрать тему и поработать над диссертацией, но он всё отказывался, зная, что ничего нового не откроет и не создаст, а тратить годы, жизнь свою на липовую диссертацию он не хотел. Работой он был доволен и изредка думал про себя, как бы оправдываясь перед кем-то: «В конце-то концов, мы живём не для того, чтобы работать, а работаем, чтобы жить...»

По внешним признакам Иван жил вроде полноценной жизнью. Однако какой-то червячок неудовольствия давненько вселился в него, точил душу, и мало-помалу он замкнулся в себе, как бы разучился умно и красиво говорить с друзьями, как бы поглупел, как можно было бы сказать, глядя на него со стороны. Секрет этого мнимого оглушения, видно, заключался в его желании не фальшивить, не играть, не выставить себя, как это бывало раньше, а на каждый случай жизни найти простое, проникновенное слово, жест. А это трудно. Быть искренним трудно всем и всегда. «Надо жить просто: не рассчитывая, не выгадывая, не завися, не угождая, не играя, – часто внушал он себе. – Надо жить естественно. Не обязательно быть талантливым или там каким-то самоотверженным, а нужно тихо жить, трудиться, любить близких, помнить и чтить своё прошлое, свои корни...»

Сколько лет ему представлялось, что вот скоро всё изменится, придёт долгожданное счастье, что вот там-то, впереди, будет что-то значительное, главное. На деле оказалось, что главное-то как раз позади уже, то есть без всего того, что осталось позади, невозможно счастье. Как-то он это понял. С тех пор тёмно-кофейные глаза его светились глубокой, застойной печалью. И он не любил в себе эту самую печаль, не любил, хотел избавиться от неё, как и многие люди, мечтал о беспечной покойной жизни, пока ещё не сознавая, что миг радости, миг истинного счастья единственно и возможен в протяжённости печали. Он не подозревал ещё, что мать, отчий дом, детство, весь этот исконный мир наделил его самым возвышенным, самым человечным из всех человеческих состояний – печалью. Он ещё не умел ценить эту самую печаль в себе...

Слабый отблеск лунного света освещал комнату, и пахло забродившим тестом – мать задумала наутро испечь хлеб и поставила опару. Иван представил, как мама поднимется раньше петухов и... вспомнил, помимо воли вспомнил из детства то ли осеннее, то ли зимнее утро. В комнате сумеречно, тихо и холодно. Он с сестричками и братишкой лежит в постели и, высунув нос из-под одеяла, смотрит на дверь. Вот она распахивается, входит мама с охапкой дров, которые грохает на пол, и, став на колени, отворяет дверку печки – выгребаёт остывшую золу, потом всовывает-складывает в печку поленья, потом, нащепав лучину, пихает туда же, потом комкает клочок бумаги – и тоже в печку. Вслед за этим мама чиркает спичкой, поджигает, и пока ещё жидким, робким шумом занимается огонь – и на стене против дверки начинают прыгать блики, сперва вяло, затем всё веселей, всё надёжней. Затем мама заносит большой казан с водой, ставит на печку, в утробе которой, набирая силу, играет, позванивает, поёт огонь. Скоро тонкие бока жестяной печки накаляются, румянятся – и они, дети, помаленьку согреваются, один за другим откидывают одеяла, лежат, блаженно-счастливые, тихие, впитывают в себя тепло – тепло материнской заботы и любви. А мама уже стоит над кадкой, просеивает муку, равномерно шлёпая ладонями по ситу, волосы её аккуратно подобраны, повязаны платком – и пахнет мукой, мамой, ранним утром и огнём, счастьем пахнет...

Как ни старался Иван, заснуть он не мог, лежал на кровати и смотрел в бледную темь потолка, пытаясь ни о чём не думать. Мать рядом было не слышно – то ли спала так бесшумно, то ли не спала совсем. А дом дышал сном, теплом и покоем. Тихо было, так тихо, что слышен был малейший шорох, скрип старого дома. И тишина эта что-то смутное шептала, навевала. Всем своим нутром, обонянием, слухом, кожей своей он ощущал приближение чего-то пугающе-приятного и невольно впал в состояние сладостного оцепенения. Но вот дом словно вздохнул, словно исторгнул стон печали, и что-то в Иване дрогнуло, струнулось и пошло на раскрутку, сперва незаметно, потом всё быстрее, быстрее... и он увидел далёкий-далёкий, словно и не из своей жизни, чудесный день. Он был как здоровый младенец, этот день, чистый, мягкий и розово светящийся, и имел он свой звук, тонкий и переливчатый, как песня жаворонка. Потом он увидел другой день, услышал другой звук, потом третий, четвёртый, пятый... потом дни исчезли, слились в единый поток времени, одни звуки, каждый из которых имел свой цвет, запах, беспорядочно потянулись откуда-то издалека, тончайшими нитями проникли в дом, заполнили всё пространство, стали тесниться, кружиться, виться, постепенно сплетаясь, складываясь во что-то единое, стройное, ладное – до слёз знакомое, близкое... нарождалась мелодия. Он помнил эту мелодию, он уже не раз встречался с нею раньше, и теперь он ждал, чутко насторожившись. И наконец сложилась она, эта мелодия, тихая, нежная и добрая, и разлилась в ночи бессмертной музыкой детства, полной света и печали.



**Анатолий  
АВРУТИН**

## СВЕТЛАЯ МУЗЫКА С ТЁМНЫХ НЕБЕС...

\*\*\*

...Наш примус всё чадил устало,  
Скрипели ставни... Сыпал снег...  
Мне мама Пушкина читала,  
Твердя: «Хороший человек!»  
Забившись в уголок дивана,  
Я слушал – кроха в два вершка –  
Про царство славного Салтана  
И Золотого Петушка...  
В ногах скрутилось одеяло,  
Часы с кукушкой били шесть.  
Мне мама Пушкина читала –  
Тогда не так хотелось есть.  
Забыв, что поздно и беззвёздно,  
Что сказка – это не всерьёз,  
Мы знали: папа будет поздно,  
Но он нам Пушкина принёс.  
И унывать нам не пристало

- 
- Анатолий Юрьевич Аврутин – поэт, переводчик, критик, публицист. Родился в Минске, окончил Белгородский государственный университет. Автор двадцати поэтических книг, изданных в России, Беларуси и Германии, двухтомника избранных произведений «Времена». Главный редактор журнала «Новая Немига литературная». Член-корреспондент Академии поэзии и Петровской академии наук и искусств. Лауреат международных литературных премий им. Симеона Полоцкого, «Литературный европеец» (Германия), им. Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами...», им. Бориса Корнилова «Дорога жизни», всероссийских премий им. А. Чехова, «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова, «Герой нашего времени», годовых премий журналов «Аврора», «Молодая гвардия» и др. Член редакционных коллегий семи литературных журналов разных стран.

Публиковался в «Литературной газете», «Дне поэзии», журналах «Москва», «Юность», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Нева», «Аврора», «Невский альманах», «Север», «Дон», «Подъём», «Волга–XXI век», «Литературный европеец» (Германия), «Мосты» (Германия), «Студия» (Германия), «Пражский Парнас» (Чехия), «Витражи» (Австралия), «Венский литератор» (Австрия), в «Альманахе поэзии» (США), газетах «Литературная Россия», «Обзор-weekly» (США), «Обзор-плюс» (США), «Соотечественник» (Австрия), «Россия-Русия» (Болгария) и др.  
Живёт в Минске.

Из-за того, что суп негуст.  
Мне мама Пушкина читала –  
Я помню новой книжки хруст...  
Давно мой папа на погосте,  
Я ж повторяю на бегу  
Строку из «Каменного гостя»  
Да из «Онегина» строку.  
Дряхлеет мама... Знаю, знаю –  
Ей слышать годы не велят.  
Но я ей Пушкина читаю  
И вижу: золотится взгляд...

\*\*\*

Снег покружится и ляжет...  
Молча поклажу сложу.  
Мать что-то грустное скажет,  
Я ничего не скажу.

Лишь карандашиком скрипну,  
Строчку отправлю в блокнот.  
Знаю: про девочку-скрипку  
Мать всё равно не поймёт.

Только в заветное спрячет  
Адрес... Шепнёт: «Не забудь...»  
Только неслышно заплачет,  
Я не заплачу ничуть.

Выйду... Ступлю на дорогу,  
Снегом умоется взгляд.  
Эта дороженька – к Богу  
Или от Бога назад?

Чуть оглянусь... И, охрипнув,  
Мамино вспомню житьё,  
Вдруг неожиданно вскрикнув  
Тихое имя её...

\*\*\*

Мы вновь остались с Родиной одни...  
Пожалуй, нет решительнее часа,  
Чем этот... Монотонно и безгласо  
Дрожат-мерцают вещие огни.

Они – страшны в мерцании – зовут  
Туда, где снова сечь на поле хлебном,  
Туда, где ни молением, ни молебном  
Не изменить напрасный ход минут.

Куда ты, конный?.. Господи, не злись  
За то, что ошалел сегодня конный.  
Ему скакать сквозь сумрак многотонный,  
Растаптывая головы и слизь.

Ему спиною пулю целовать,  
Ему сползать с коня, шинель роняя...  
И будет дотлевать страна родная,  
И будет умирать от жажды рать.

Всего глоток, чтоб вялая рука  
Вновь обратилась в мощную десницу,  
Чтоб, ворогу ломая поясницу,  
Встал Пересвет... Но нет ему глотка...

Бессилен он... Напрасно не кляни,  
Потомок мой, проигранную сечу.  
Всё – Божья воля... Богу не перечу...  
Но мы остались с Родиной одни...

Она мне и палач, и свет в окне,  
Я – часть ее искромсанного тела.  
И нету в мире лучшего удела,  
Чем с Родиной страдать наедине.

\*\*\*

Если вдруг на чужбину  
заставит собраться беда,  
Запахну в чемодан,  
к паре галстуков, туфлям и пледу,  
Томик Блока, Ахматову...  
Вспомню у двери: «Ах, да...  
Надо ж Библию взять...»  
Захвачу и поеду, поеду.

Если скажут в вагоне,  
что больно объёмист багаж  
И что нужно уменьшить  
поклажу нехитрую эту,  
Завяжу в узелок  
пёстрый галстук, простой карандаш,  
Томик Блока и Библию –  
что ещё нужно поэту?

Ну а если и снова  
заметят, что лишнего взял:  
«Книги лучше оставить...  
На этом закончим беседу...»  
Молча выйду из поезда,  
молча вернусь на вокзал,  
Сяду с Блоком и Библией...  
И никуда не поеду.

\*\*\*

Я иду по земле...  
 Нынче солнце озябло...  
 Перепутались косы на чахлой ветле.  
 За спиною –  
     котомка подобранных яблок,  
 И я счастлив, что просто иду по земле.  
 Что могу надыхаться –  
     без удержу, вволю,  
 Что иду, отражаясь в болотце кривом,  
 Мимо русского леса,  
     по русскому полю,  
 Где мне русский журавлик  
     помашет крылом...

\*\*\*

Он куда-то спешил, от натуги почти что немея,  
 Воспалённому взору казалось, что мир многолик.  
 И ломило плечо... И гудела затёкшая шея...  
 И неровная стёжка зачем-то вела напрямик.

Посреди пустоты... Посреди векового начала,  
 Где ничтожное небо почти что касалось плеча,  
 Кто-то охнул вдали... И опять всё вокруг замолчало,  
 И умолкли столетья, печали свои волоча.

Он неровно шагал, вечный сын одинокой метели...  
 И напрасные вёрсты слагались в обманчивый круг.  
 И, касаясь лица, клочья ветра негромко свистели,  
 Чтоб потом обратиться в могучие посвисты вьюг.

Что он нёс в этот мрак, одолев и себя, и усталость,  
 Для чего подставлял леденящим порывам чело?..  
 Просто шёл человек... А потом и следа не осталось,  
 И неровную стёжку совсем до утра замело...

\*\*\*

А. К.

Что-то случилось на той стороне,  
 Где журавли улетают до срока...  
 В чёрное время на чёрной стерне  
 Белым журавликом быть одиноко.

Вот и возносятся в тусклость небес,  
 Чтоб ещё раз увидеть с разворота  
 Мокрое поле и сумрачный лес,  
 Да за откосом – туманное что-то...

Будто навеки запомнить хотят,  
 Не уповая на миг возвращенья,  
 Женский зелёный обидчивый взгляд,  
 После которого нету прощенья.

Будто им чудится: наперерез  
Вечному, нудному зову разлуки  
Светлая музыка с тёмных небес  
Медленно капает в женские руки.

\*\*\*

Узелок развязать не могу – как его ни развязывай,  
Хоть и скрючились пальцы, а всё развязать не могу...  
Всё тебе расскажу... Только ты никому не рассказывай,  
Чтоб не корчилося небо на мартовском талом снегу.

Этот худенький март, нездоровьем моим опечаленный,  
Эти чёрные дыры зелёных тревожащих глаз,  
Этот миг немоты, что сменился на выкрик отчаянный,  
Этот свет негасимый, что в сердце внезапно погас...

Вы откуда взялись, чёрных снов ошалевшие вороны,  
Что оставили, злыдни, в моих растревоженных снах?  
Разлетались бы лучше во все свои чёрные стороны,  
А не то подхвачусь и могу зашибить впопыхах...

Будут перья лететь, станут клювы от крови багряными,  
Только как победить ошалевшее то вороньё,  
Если сделались чувства и мысли какими-то странными,  
А в гортанных речах зашифровано имя твоё?

Пугану вороньё... Закартавит оно по-над рощицей,  
И в скукоженном сердце притихнет вороний бедлам...  
И уже не поймёшь: то ли белое в чёрном полощется,  
То ли чёрные слёзы сползают по белым щекам?..

\*\*\*

Постою... Помолчу...  
Постелю в головах полотенце,  
Полувисокой веткой вокруг очерчу полукруг...  
И услышу далёкий тревожащий голос младенца,  
И просыплются крошки из влажных и вздрогнувших рук.

Как тревожно душе среди этой тоски голубиной,  
Как светло и печально вырастают в закат дерева!..  
И калина-малина вновь стала калиной-малиной,  
И седую травую вновь стала седая трава.

Этот брезжащий свет... Эти листья в багровых накрапах,  
Эта тихая нежность, что тайно щекочет гортань...  
Этот чахлый птенец на подкрыльях своих косолапых,  
Что забился в кустарник и смотрит: «Попробуй, достань...»

Как пронзительно всё! Как мучительно всё и напрасно!  
И душа вечереет, и дымка вползает во взгляд...  
Но струится над болью таинственный свет непогасный,  
И согбенные птицы куда-то летят и летят...



Иван  
ШУЛЬПИН

## ДВА РАССКАЗА

45°

В детстве мы часто лазали по воробьиным гнёздам, разоряли их. Во время лазания по крышам и крутым обрывам, чтобы руки были свободными, добычу – полуголых воробьят – клали за пазуху. До сих пор очень хорошо помню, ощущаю, как жгли живот эти живые комочки..

Только недавно узнал (где-то вычитал), что у воробьёв температура тела сорок три–сорок пять градусов.

С какой целью, зачем мы губили этих ещё беспомощных и беззащитных птах, теперь я объяснить уже не могу. В пищу они даже в голодные годы не годились, и в школах нас не учили, как китайцев, уничтожать вороватых птиц за то, что они, якобы, ополовинивают урожай. И в клетках, на потеху, воробьёв содержать было не принято. Даром, что они называются по науке *домовыми*, неволи они не переносят.

Было в нашем мальчишеском разбое что-то необъяснимое: древнее, дикое, жестокое..

Особо добычливыми бывали набеги на колхозную конюшню, в которой содержали десятка два или три лошадей и жеребят. Но лошади днём работали, жеребята табунком паслись в лугах, конюшня летом пустовала. На ночь лошадей определяли в пригороженный жердями загон или, нам на радость, отпускали в ночное. Постоянно в загоне,

- 
- Иван Васильевич Шульпин родился в 1945 году в селе Бакуры Екатериновского района Саратовской области. Окончил филологический факультет Балашовского педагогического института. Работал учителем, корреспондентом, литературным консультантом в Саратовской писательской организации. Публиковался в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Созвездия», «Волга», «Новая Волга», «Волга–XXI век», в газетах «Литературная Россия», «Российский писатель». Автор нескольких стихотворных и прозаических сборников. В 1999–2005 гг. редактировал альманах «Саратов литературный». Член Союза писателей России. Живёт в Саратове.



случалось, понуро подрёмывал какой-нибудь охромевший мерин или кобыла, чреватая жеребёнком, который вот-вот должен был появиться на свет.

Конюшня была строением замечательным: длиннуший широкий сарай с глинобитными стенами, по торцам глухие ворота, чтобы можно было проехать в упряжке навывлет; в стенах несколько крохотных подслеповатых окошек, вымазанных глиной ещё при строительстве. В конюшне при закрытых воротах было сумрачно, почти темно. Рай для воробьёв.

Около одних ворот в конюшне глинобитной же стеной был отгорожен угол, куда можно было попасть только через дверь, обычно закрытую на замок. Помещение это называлось шорней. В ней на вбитых в стены деревянных колках были развешаны хомуты, уздечки, смотанные «восьмёркой» ремённые и верёвочные вожжи, широкие новые гужи из толстой и мягкой сыромятной кожи, чересседельники и супони. На более толстых и длинных колках, уже кольях, считай, покоились верхом два армейских седла с полированной блестящей кожей седалищ. Шорня была пропитана запахами дёгтя, сыромятной кожи и лошадиного пота...

Если случалось, мы, ребята, входили в шорню с восхищением и трепетом.

И всё же главный интерес для нас представляла крыша конюшни: высоченная, солома на которой держалась на сосновых стропилах и поперечных жердях, устланных хворостом. Цепляясь за хворостины потолще руками и ногами, по-обезьяньи, мы забирались под самый конёк. По пути опустошали воробьиные гнёзда, которых было полным-полно в сделанных воробьями норках в соломе. Вот когда рай для воробьёв превращался в ад.

К счастью, как я это теперь понимаю, разбойничьи набеги на конюшню были нечастыми. Причиной тому – конюх...

Конюхом работал перекошенный на правый бок недавний фронтовик дядя Костя, Константин Захарыч Савин. По праздникам, по случаю свадеб или поминок он одевался в трофейный тёмно-серый шерстяной пиджак с прямыми плечами и широкими лацканами. Пиджак был длинноват или казался таковым по причине кособокости Константина Захарыча: правая пола свисала почти до колена. К этой доле в самом низу был прикреплён чёрный с белой обводкой немецкий железный крест. На этой же стороне пиджака, только значительно выше, на груди, светилась матовым серебром звезда ордена Славы. С левой стороны груди желтело пятко медалей.

О происхождении немецкого креста и ордена Славы дядя Костя рассказывал так:

– Сiju я как-то «кукушкой» на высокой сосне – я снайпером воевал – и популиваю из винтовки по фашистам, которые зазеваются. И так я застрелялся, что даже не услышал, как подошли три немца и стучат по моему дереву: «Слезай, Савин, мы тя знаем!» – и автоматы на меня нацелили.

В этом месте рассказа мужики обычно подтрунивали:

– А что, Костя, они так по-нашему, по-багусински, и говорят: «...мы тя знам»?

На что Константин Захарыч, ничуть не смущаясь, отвечал:

– За четыре года они и по-нашему и по-вашему научились... Ну вот, слезай, говорят. А я со своей дурындой винтовкой даже развернуться не могу, чтобы пальнуть по ним. Она у меня на дистанцию рассчитана. Сейчас, говорю, слезу, ваша взяла... А сам из-за пояса гранату и – на! – им сверху. Они, как чурки, от моей сосны в разные стороны отлетели. Ну и мне, конечно, снизу под тыл фукнуло как следует. Все сучки пересчитал, пока приземлился. Вот рёбра с правой стороны и сгрудил в кучу... Собрал я у немцев документы, какие были, крест тоже прихватил. Сгоряча и автоматы на себя повесил, но скоро понял: не осилю. Кинул их в канаву с водой. Если нужны будут, начальство кого-нибудь пошлёт, принесут. Добрёл я, сдал документы, рассказал, как было дело, а крест утаил. Дома хотелось показать диковину. А после госпиталя неожиданно-негаданно отхватил вот эту звезду.

Мужики, указывая на крест, то ли в шутку, то ли всерьёз страшали Константина Захарыча:

– Ты, герой, бесчинство брось. За такую наглядную агитацию можно загреметь куда подальше.

Дядя Костя и тут не сдавался:

– Я крест ношу под пузом нарочно, чтоб все видали, какой я прибор положил на ихнего героя. Известно, фашистская награда, на заднице бы её носить, но я солдатский труд чту, такое даром не давали.

Вот этот изуродованный войной, неунывающий человек был единственным, кто иногда пресекал наши разбойничьи набеги на воробьёв.

Как сейчас вижу: тесовые ворота конюшни распахнулись бесшумно, и в их широком солнечном проёме чётко проявилась кособокая фигура конюха. Правая рука у него висела заметно ниже левой, как будто он собирался подобрать с земли хворостину.

– Опять птиц губите?! А ну, выходи по одному!..

Мы спешно выдёргивали рубашки из-под ремней и вытряхивали из-за пазух воробьят. Они фыркали под ясли, неумело трепеща крыльями, скакали по назёмному полу, а мы по одному обречённо направлялись к дяде Косте. Прощмыгнуть мимо кособокого вратаря никому ни разу не удавалось.

Константин Захарыч узнавал появившегося из сумрака конюшни и чётко определял:

– Доложишь деду, что я просил выпороть! – И раздавался звонкий подзатыльник.

– А тебя чтобы мать после работы крапивой отходила! – И опять подзатыльник.

Считалось, что я был под началом бабушки, поэтому конюх сперва отвечивал подзатыльник, а уже вслед говорил:

– К Павловне сам зайду, по пути.

Передать наказ отцу редко кому поручалось: почти все были послевоенной безотцовщиной.

Своего Кольку, нашего заводилу, подходившего последним, Константин Захарыч ловко цапал за ухо и вёл в шорню.

По искренности Колькиного воя, по высоте немногих нот можно было догадаться, чем его охаживали: супонью, чересседельником или смоткой вожжей. Больше всего жгла супонь – тоненький длинный ремешок. Пороть гужом не имело смысла: новый, ещё мягкий, он напоминал разве что скрученное жгутом вафельное полотенце матери. Не порка, а глажка.

Мы быстренько разбегались по домам.

Передавать наказы дяди Кости бабкам, дедам и матерям никто не собирался.

Я тоже не торопился докладывать бабушке об очередном подзатыльнике. Но, чтобы как-то подготовить её к возможному приходу конюха, заводил околичные разговоры, чтобы потом, если придётся оправдываться, напомнить: я же, мол, рассказал тебе про воробьёв и про Константина Захарыча.

– Бабушка, а почему воробьёв жидами зовут?

– А потому, что помогали Христа распинать.

– Как помогали?

– Гвозди в клювах подносили, вот как.

– Неправда это.

– Как неправда, еретик ты эдакий, если в Писании сказано?

– А вон, погляди, на твоей иконе какие у Христа в руках гвозди большие торчат. Как шпигари со шляпками. Воробей такой гвоздь не донесёт. Только ворон или коршун, потому что они больших цыплят воруют. А воробей только сапожный гвоздик осилит.

Бабушка некоторое время озадаченно молчала, потом с упрямым раздражением поставила точку в споре:

– Значит, не в одиночку носили, а всем гамузом!

И, чтобы как-то утвердить довольно шаткий свой довод, добавила:

– Они и теперь со двора на двор стаями шастают.

– А если гвозди подносили, тогда зачем Константин Захарыч за них заступается?

– Потому что они живые, у них хоть и с капельку, а тоже кровь есть. Как у нас, красная. Да и Бог им всё уже простил. Он всем прощает. И нам велит прощать. Вот когда помру, ты меня тоже прости...

– За что?

– Эх, хе-хе, хе-хе... – протяжно вздохнула бабушка. – Да разве мало на нас грехов висит?..

Я тоже хотел было попросить у бабушки прощения, но прикинул в уме и так и этак – вроде нет у меня грехов, разве что воробьи вот, но их самих Бог только что простил. Вместо этого я заявил:

– А у меня нет грехов.

– Пока грехов, может, и нет. А вина всегда есть. Человеку лишний раз повиниться никогда не рано.

Я понять-то, может, и не понял перемену направления в бабушкиных рассуждениях, но опасность почувствовал...

– А можно я пойду в картошке траву дёргать?

– Ну, иди... – внимательно посмотрела на меня бабушка. – Только аккуратнее между рядков ступай, а то она раскустилась.

Уже в сеньях я слышал себе вслед:

– Эх, хе-хе, хе-хе...

Права была моя бабушка. Оброс я за жизнь грехами как репьями, многими винами извинивался. Видно, этого не избежишь, прожив не один десяток лет. Но в грехах покаяться и в плохих делах повиниться всё как-то времени в спешке не хватало. Каялся и прощения просил, только когда уж совсем прижимало, когда деться было некуда...

И потихоньку, под шумок жизни грехи и проступки забывались. Во всяком случае, я старался их забыть.

Но вот что удивительно: среди больших и малых прегрешений, забытых и полузабытых, живёт во мне почти постоянно чувство вины перед малыши пичугами, которых мы так безжалостно губили в детстве. Нет-нет, да и припекут сердце сорок пять воробьиных градусов.

## ДОСТОЧКИ СУХИЕ

Умер Максим как-то неожиданно и не вовремя, во всех смыслах не вовремя: и по возрасту – вроде бы не очень старый, и по сезону – в самую уборочную; и по течению суток – вышел рано утром прибраться и... Жена, Ольга, выглянула позвать на завтрак, а он лежит посреди двора на траве-мураве. Подступилась, как бы крадучись, пощупала – уже чуть тёплый.

С испугу только и сообразила, что добежать до соседей. Хорошо, Фёдор с сыном ещё не ушли на работу. Занесли Максима на одеяле, за углы, в дом. Немного постояли, погоревали молча, потом Фёдор заботливо спросил:

– Матерьял есть?

– Есть, есть материя, – быстро ответила Ольга, успела, видно, уже подумать об этом. – Недавно коленкор на пододеяльники купила, а пошить не успела. Как сердце чуяло...

– Да я больше про доски, – осторожно перебил её Фёдор. – Гроб надо бы бондарю заказать, а он берёт работу только с матерьялом.

– Да, да, да... А досок-то точно нет. Были, да истратил. Он ведь не собирался, пожить ещё хотел.

– Туда особо никто не собирается. И у меня вот тоже ни дощечки подходящей нет. Пойду по людям, искать.

Пришла жена Фёдора, переодетая уже к случаю в тёмное. Женщины стали подвывать друг дружке, и Фёдор с сыном ушли.

– Ты ступай на работу, поясни, в чём дело, а я побегу к председателю за досками.

Председателем он называл сына покойного председателя колхоза. Оба они, председатель и колхоз, как-то подгадали умереть в одно время. Сын приватизировал почти всю колхозную технику и скупил у колхозников земельные паи. Стал фермером. Но народ по привычке зовёт его председателем.

Ещё и собаки не успели как следует облаять Фёдора, а председатель уже появился на высоком крыльце: стриженный по моде наголо, голубоглазый и круглопузый. Он так гаркнул на собак, что они вмиг заглохли и, поджав хвосты, удалились.

– Проходи, дядя Федя. Они не тронут. Впустую глотки дерут, перед хозяином выслуживаются. Здравствуй и говори, с чем пожаловал. А то я уже машину выгонять собрался, в поле еду.

– Да вот ведь, с бедой я пожаловал.

– Что случилось? – сразу насторожился и посерьёзnel председатель.

– Максим Осипыч помер.

– Как помер? Я с ним только вчера говорил. Просил поработать на току, за техникой присмотреть. А то одни бабы. Народу совсем нет.

– Вот так и помер: вышел утром и упал посередь двора.

– Дела... Сердце, наверно.

– Врачи определяют. Вот я и пришёл за помощью.

– Всё, что в моих силах. Все дела брошу...

– Дела надо делать. Теперь уже ничего не поправишь. Я вот пришёл досочек попросить на домовину.

Председатель со всей силы хлопыстнул себя по лбу.

– Я сколько раз себе говорил, – тут он ещё и матом себя обложил, – завези лёгкого тёсу. Нельзя без такого материала... Дядя Федя, ведь это двадцатка нужна или четвертинка? Сухая, строганая. Я правильно говорю? А у меня только половая рейка, сороковка, в наличии. Хоть на десять гробов бери... не приведи Бог...

– Половая рейка не годится. И узка она для такого строительства.

– Дядя Федя, давай так договоримся: ты иди по мужикам и проси под мой залог, верну днями с лихвой. Специально в город смотаюсь. Ведь сколько раз себе говорил... А не найдёшь, приходи, на крайний случай, за половой рейкой. Заодно и брус дубовый возьмёшь на крест. Я жене скажу, чтобы отпустила.

Легко сказать: иди по мужикам. Их и мужиков-то – раз-два и обчёлся. Сам только что жаловался, что работать некому. У которых стариков, может, и припасены дощечки, да не всякий даст. Понять можно: сам, как Максим вот, кувырнётся ненароком, и будут бегать по деревне дощечки собирать. Нет, не всякий старик отважится отдать. А у молодёжи, даже у путёвой, откуда быть таким запа-

сам? Молодёжь – она беспечная, она о другом ложе думает, чтоб не скрипело... Да что молодым-то пенять! Ты сам вот, можно сказать, в кандидатском возрасте, а где они, твои досочки?..

От председателя Фёдор через речку, по шаткому мостику из жердей, потом тропкой в зарослях вётел направился к Горке, мужику, любившему придумывать себе болезни и лечить их. Может, рассуждал Фёдор, он и смерть себе придумал, а по такому случаю запасся нужными дощечками.

Но Горка сам шёл навстречу Фёдору, он уже прослышал о несчастье. Фёдор подождал, пока Горка, показывая то и дело два широких, как два ногтя, передних зуба, проохался, проморщил мокрые глаза, и сказал Горке:

– Я вот хожу, доски на гроб спрашиваю. У тебя случаем..

– Были, скрывать не стану, и даже есть, можно сказать, – затараторил Горка. – Только я их уже под себя приладил. Тут как-то мне спину прострелило, поверь: ни лечь, ни встать. Я – ко врачу, к костоправу. Он мне бока намял, аж искры из глаз, и спрашивает: «Ты на чём спишь?» На кровати, говорю. «Ты скажи, что под себя стелешь». Как чего, говорю, матрац и перину. «Периной лучше укрывайся, – говорит, – особенно зимой. А спать тебе надо на голых досках, простынкой прикрой – и всё!» Я так и сделал. И ты знаешь...

– Ладно, ступай, живым – живое, – перебил его Фёдор и пошёл сам.

– Ты это... пойми правильно, – крикнул ему вслед Горка.

Но Фёдор и без того всё понял правильно.

Он решил не обходить мужиков, а пошёл прямо к старику-бондарю. Во-первых, у бондаря у самого могли быть в заначке нужные доски, хоть он и уверял всех, что не держит запас умышленно, ибо давно заметил: стоит обзавестись запасом – тут же является и покойник. Во-вторых, бондарь лучше всех знает, у кого из стариков досочки имеются, так как они наверняка советовались с ним, какой материал нужно приобрести для последнего своего пристанища. Как наверняка просили и учесть свои пожелания при изготовлении домовины. У всех вкусы разные: одним по душе с крышкой заподлицо, другим с крышкой с напуском, третьи просят выстлать дно липовой корой, по старинке. Бондарь в этих тонкостях разбирался, он ведь бондарем зовётся только в память о своей прежней профессии. Кому теперь нужны бочки и бочата, кадушки и кадки. Кто их будет дважды в год мыть, пропаривать, калить на солнце, замачивать, менять ослабшие обручи?.. Кому нужна, когда магазины и базары завалены посудой из нержавеющей стали. Ополоснул – и опять порядок. О кадучечном духе солений нынешние и понятия не имеют. Вот и перешёл старик-бондарь давным-давно в гробовщики. На гробы спрос постоянный и даже, по прикидкам старика, растёт. Хоть большой прибыли ремесло ему и не приносит. Да на чужом горе, по убеждению старика, и грешно много зарабатывать.

Бондарь вышел за калитку и подслеповато приглядывался: кто это к нему идёт? А шёл человек к нему, больше не к кому: дом бонда-

ря стоял одиноко на давно покарзубевшей улице. Наконец он узнал Фёдора.

– А я гадаю, кто это будет: сам Фёдор или сын его, Лёнька? Больно походки у вас похожи. А потом решил: нет, сам идёт, у Лёньки поступь погвардеистей будет.

Старик говорил и всё вглядывался и вглядывался в лицо подходившего Фёдора. А когда поздоровались, уже решил для себя окончательно:

– Кого Бог прибрал?

– Максима Осиповича.

– Эх, молодёжь-молодёжь, что же вы жить-то не умеете?.. – с досадой махнул рукой старик. – Хоть бы на нас глядели, что ли, учились.

– Этому, наверно, не научишься.

– Как это не научишься? Всему можно научиться! И жить научиться можно. Только к этому делу нужно с умом подойти. Эх, молодёжь, молодёжь!.. Мне вот восьмой десяток доходит, а я не собираюсь, как учитель, себе домовину заранее делать... Сколько покойному годиков-то было?

– Шестьдесят два. Мы с ним погодки.

– Жить да жить бы ещё! Ведь самые лета пришли жить и о жизни думать. А вы помирать... Эх, молодёжь-молодёжь...

– Я вот за помощью пришёл. И у самого нет и у тех, кого успел обежать, тоже нет, – немного покривил душой Фёдор. – Досок подходящих на гроб нет. У тебя нигде в загашнике...

– Федя, милый, нет. Ты мою притчу знаешь.

– Знаю. Я уж так, на всякий случай.

– И не бегай, не ищи. Досточка должна быть сухая до звона и строганая. Такого матерьяла у молодых нет, а старики не дадут, они суеверы. Вот тебе мой совет: иди напрямик к учителю, он хоть и занозистый, а человек с широким кругозором. Он недавно доски на крыше пропекал. Я спросил, зачем? Это я, говорит, домовину хочу себе сколотить, тебя заодно заработка лишить. Ну-ну, про себя думаю, поглядим, какое ты корыто сварганишь... Иди к нему, он поймёт. Уступит. Только если срок отдачи назначит, будь добр – исполни. Он – занозистый, на всю округу ославит.

– Всё понял, бегу. А отдачу мне председатель обещал днями.

– Ну, с Богом. Я жду. Принесёшь – до обеда сошьём.

Учитель истории жил неподалёку. Он был приезжим, перебрался в деревню после ухода на пенсию. Как он говорил: хоть на старости подышать свежим воздухом. Человеком оказался подвижным, сразу перезнакомился со всей деревней, знал о всех местных событиях и живо в них участвовал. Были у него, конечно, и чудинки, неприличные для деревни: купался в речке круглый год, зимой ходил без шапки, а летом вообще голым по пояс и в коротких штанах-шортах, босиком. Обгорал за лето, как чугунок в печке. Здоровье, получается,

было у него отменным, и что его сподвинуло заняться своим гробом, Фёдор понять не мог. Ну да каждый по-своему с ума сходит...

– Здравствуй, здравствуй! Проходи, пожалуйста, редкий гость! Садись вот сюда, в тенёк, за столик. Сейчас велю старухе холодненького квасу подать. Я люблю, грешным делом, покопаться утречком в грядках, а потом искупаться и хряпнуть ледяного кваску. Удовольствие, скажу тебе, неопишное.

Он постучал в приоткрытое окно и весело scomандовал:

– Старуха, неси в палисадник квас! У нас гость.

«Вот тоже причуда: называть моложавую бабёнку старухой, – отметил про себя Фёдор. – У нас даже развалюха обиделась бы, а эта улыбается, и вот он, квас – уже на столике».

– Я к вам с просьбой, Илья Прокофьевич.

– Слушаю внимательно.

– Максим Осипович умер.

– Вот это печально, друг мой, – не дал договорить учитель. – Упкой, Господи, душу раба Максима, – прошептал он скороговоркой и ловко перекрестился.

Только тут Фёдор обратил внимание на то, что ещё густые длинные волосы учителя развалены на прямой рядок и стянуты на затылке резиновым колечком в распушившийся хвостик. Голова учителя в таком виде напоминала поповскую. И даже привычный серебряный крестик на чёрном гайтане гляделся теперь как-то по-новому на груди учителя.

– Вот это печально и грустно. Все ведь там будем, Фёдор, все без исключения. – Учитель посмотрел куда-то вверх и ещё раз перекрестился. – А пришёл ты, я знаю, за досками на гроб. А указал тебе на меня этот хрыч бондарь. И не отговаривайся. Я не ясновидящий какой, но тут и незрячий разглядел бы. Бондарь на днях мимо шёл. Подслеповатый, а доски на крыше приметил. И сразу: что такое да зачем? Хотя, старая bestия, сразу всё смекнул. Да я и не стал его за нос водить. А вот, говорю, прокалю на солнце по вашему совету, а потом себе, дорогому, сколочу домовину, сухонькую да уютную. Досточки, как вы их называете, звенят, говорю, а на ощупь ласковые, я их мелкой шкуркой полировал. Он мне, знаешь, что сказал? «Домовину не сколачивают, уважаемый учитель...» Маша, иди, не слушай! «Это, – говорит, – груши кое-чем околачивают. А домовину шьют. Давай, я сам тебе излажу, мне сподручнее. А то ты такое без привычки сколотишь – только материал загубишь». Нет, отвечаю, я вашу притчу знаю: как материал к вам в руки – жди покойника. А кто этот покойник на мой материал, а? Я вас, говорю, до такого цинизма не допущу, грех на душу брать не буду. Я это в шутку, а он, гляжу, задумался. «Ну, как знаешь», – говорит. И ушёл. А я на другой день с утра до вечера потел, но домовину всё-таки сшил. И очень даже удачную, я уже опробовал. Пойдём, покажу.

Учитель повёл опешившего Фёдора в сарай. А по дороге пояснил:



– Это я всё к тому рассказываю, дорогой Фёдор, что определил я доски. Опоздал ты малость.

Гроб действительно был как с картинки или из иностранного фильма.

– Я бы тебе, то есть Максиму, и гроб отдал. Ей-богу, не жалко. Я бы себе ещё лучше сделал, теперь опыт есть. Но я ведь его по своим размерам шил, а Максим – он вон какой протягновенный, как в старину писали. Ему ведь, как на прокрустовом ложе, ноги не отрубишь. И дырки в гробу не сделаешь, чтобы высунуть.

– Вот так задача... Видно, и вправду из половой рейки гроб придётся делать, – сник Фёдор.

– А у тебя есть половая рейка?

– У меня нет. Председатель предлагал. Но ведь она – сороковка. Гроб неподъёмный будет. Да и узкая она.

– Стоп-стоп-стоп. Я, кажется, могу тебе помочь. Мой старый друг, учитель-трудолик, когда его дисциплину в школе аннулировали, подарил мне строгальный станок, небольшой такой, настольный. Школьный, одним словом. Там и захват-то сантиметров десять, но ведь и половая рейка немногим шире. Ты меня понял, Фёдор? Десять, мало – пятнадцать раз прогоним, а хотя бы до тридцатки мы твою рейку спустим. Упрёмся, так и до половины сострогаем. И сошпунтуем на любую ширину, комар носа не подточит. Дуй бегом к председателю. А я тем временем станочек позубастее настрою.

А потом, когда Фёдор уже спешил по улице, учитель выбежал из калитки и крикнул вслед:

– Посуше выбирай досточки и попрямей!

Фёдор и без его подсказки это знал и сделал бы. Но ненужные наставления не задели его. Он даже повеселел немного. «Что они дались им всем, эти досточки сушёные, ей-богу! Насморк, что ли, он там схватит, если его на сырые доски положат. Да хоть и в сухое обряди, там всё равно отволгнет. Не зря же говорят: «Мать – сыра-земля...» Ну да будь по-ихнему».

...Отберёт Фёдор самые сухие, самые прямые, самые гладкие. И пойдёт всё по уже намеченному кругу: председатель, учитель, бондарь и, наконец, сам Максим, который уже заждался, наверное, этих самых сухих досточек.



**Елена  
АГИНА**

## **БРАТ МОЙ СЕНТЯБРЬ**

### **ПУТЬ**

Ещё им идти и идти домой  
Просёлком в ночных полях.  
Туда, к огням за метельной тьмой,  
Забыв усталость и страх.

А нам брести до конца времён.  
Дорога. Кресты обочь.  
И бред. И морок. И жуткий сон.  
Россия. Глухая ночь.

Будет слепить снеговая муть.  
И в дальнем поле огни  
Едва ль засветит нам кто-нибудь,  
И мы под небом одни.

Сквозь всю коросту убогих лет  
Уже не проглянет Бог.  
И лишь Россия нас крестит вслед  
Крестами своих дорог.

И будет длиться нелепый путь,  
Как скудный напев без слов.  
Одно осталось: в снегу уснуть,  
Уснуть... И не видеть снов...

\*\*\*

Ох, какая тоска здесь бывает в предзимнюю пору...  
Будто сон, и кричишь, и не можешь проснуться никак.  
И захочешь уехать, но мимо пронесётся скорый –  
Этой станции нет. Осыпается грохот в веках.

- 
- Елена Александровна Агина – автор нескольких поэтических сборников, член Союза писателей Беларуси. Постоянно публикуется в журнале «Новая Немига литературная». Живёт в Гомельской области.

И зайдётся душа не своей, небывалой виною...  
Боже, как голосит воронье на бесхозных церквах!  
А вагоны летели тугой колеёю степною,  
И полынную пылью состав поседельй пропах.

Вот тогда и наступило в том давнем, почти что не бывшем –  
Босоногие дети, в степи безымянный разезд...  
Дождь слепой барабанил по гулким пропыленным крышам,  
И летели вагоны куда-то, где станция есть...

Таково расписание, и всё происходит как надо,  
И не может состав на конечный свой пункт опоздать.  
И не надо кричать, и махать вслед вагонам не надо –  
Просто в этой степи никогда не стоят поезда.

Отчего же душа так пощады опять запросила  
Под немислимой ношей чужой и кромешной вины?  
Разве есть где-нибудь в самом деле на свете Россия?  
Этой станции нет... Верстовые столбы не видны...

Этой станции нет... Очень просто – была и не стало.  
Расписание диспетчер исправил спокойной рукой.  
И ослепшее время бушует в стропилах вокзала,  
Поезда не уходят в Россию – нет больше такой.

Только кто вам позволил решать за мильоны грядущих,  
Не наставших веков из-за ваших безумных затей?  
Кто позволил безродным пустыню устраивать в душах  
У моих, не рождённых под вашей звездой, детей?..

\*\*\*

На окраине города, где зарастают озёра,  
Где глядится округа в осколки стоячей воды,  
И сутулятся вербы, и берег пестреет от сора,  
На окраине города, где одичали сады,  
Странно колокол слышать, что глухо роняет удары,  
Созывая к вечерне панельно-бетонный приход.  
Пёс залает бродячий, трусящий за пьяницей старым,  
Да червивое яблоко под ноги в пыль упадёт.  
На окраине города в сны прорастает усталость,  
Переходят кварталы в пустырь, гаражи и бурьян,  
За которыми ветер да неба немного осталось...  
На окраине города ветер простужен и пьян.  
И невзрачная осень, придя босиком по асфальту,  
Занавесит все окна завесой косога дождя.  
И озябшие галки на мусорных баках. И сальто  
Пожелтевшей газеты... Но жаль и того, уходя...  
На окраине города сердцу легко заблудиться.  
Прогрохочет состав, и закатится эхо в траву.  
Гаснет вечер. И гаснут когда-то знакомые лица.  
На окраине города поздние яблоки рву...

\*\*\*

*Ивану Бисеву*

Брат мой сентябрь, зачем это странное время?  
Кануло лето, а снегу ещё рановато.  
Сад по ночам отрясает сладчайшее бремя  
Яблок последних с июльским густым ароматом.

Память светлеет. И ближе прозрачные дали.  
Кажется, шаг лишь – и жизнь до конца прояснится.  
Но холодеет. И астры почти что увяли,  
А у листвы опадающей запах корицы.

Брат мой сентябрь, беззвучный хорал листопада  
Трогает больше, чем Бах в кафедральном соборе.  
Жизнь паутинкой трепещет на солнце и рада  
Мелочи каждой, уже не стесняясь, что вскоре

Время наступит, когда не покажется странным  
Сон предпочесть неоконченным строкам сонета...  
Слышишь, в саду осторожные бродят туманы  
И оседают на яблоках перед рассветом.

Брат мой сентябрь, к чему все слова укоризны?  
Осень всё явственней в звуках пастушьей жалейки.  
Хлеб на столе. И всего-то осталось от жизни –  
Несколько яблок на синей садовой скамейке...

\*\*\*

Вечер придёт. Полистаю немного Рубцова.  
Сон и усталость возьмут незаметно своё.  
Веки сомкнутся. И тихо из бездны былого  
Тихая родина снова меня позовёт.

Тихая родина, сосен немолкнущим шумом  
Властно смирившая сердца надменного дрожь.  
Тем, что созвучен моим вечерующим думам,  
Голос твой с голосом леса соснового схож.

Сонм насекомых ночных возле лампы роится.  
Только лишь вздох между взмахами крыл мотылька –  
Весь этот мир. И спросонок какая-то птица  
Глухо кричит у протоки в кустах лозняка.

\*\*\*

Поверивши судьбе и всё начав сначала,  
Построим тихий дом в деревне у Глушца.  
Там будут жить любовь, мой пёс, твоя гитара,  
А рядом будут сад и сосны у крыльца.

И потихоньку жизнь наладится, и снова  
Нас станут навещать из города друзья,  
И я забуду боль, и призраки бывшего  
Не потревожат нас, по памяти скользя.

И, может быть, когда над кромкой леса ало  
И вечер спустится, заиндевелосед,  
Увидев свет в окне, снег отряхнёт устало  
И к нам зайдёт на чай задумчивый сосед.

Я разолью вино домашнее в бокалы,  
Вы будете курить, присев пред очагом.  
Гитару ты возьмёшь. И ночи будет мало  
За чаем и вином, шансоном и Сайгё...

И много дней пройдёт. И сменит зиму лето.  
И много минет лет. И станет взрослым сад.  
Состарится сосна, что над крыльцом воздета,  
И память заболит, как жизнь тому назад.

И в этот самый день, сама того не зная,  
Я больше не смогу тебя, мой друг, любить,  
Уже не захочу ни ласки, ни вина я,  
Ослабнет, задрожав, невидимая нить.

И в этот самый день все песни станут стары,  
И я не подниму уже усталых век,  
И тихо кану в ночь под перебор гитары  
Послушать, как идёт по Дятловичам снег...



**Александр  
РЫЖОВ**

# **БАРАБАН РАБОТЫ СТРАДИВАРИ**

Окончание.  
Начало №№ 9–10 2014

## **Глава пятая**

### **«МЫСЛИ ВНАРЕЗКУ»**

Тем летом у меня, похоже, окончательно снесло крышу. По всей видимости, даже у журналиста бывает какой-то предел, до которого ещё можно терпеть, а после – нет. Я едва сдерживался, чтобы не блевануть при виде той клоаки, в которую превратились страницы «Синтетике». И когда мы утром, размачивая в кипятке окаменелое печенье, уныло обсуждали будущий номер, я предложил Эмилии ввести в газете новую рубрику. Название родилось спонтанно: «Мысли внарезку». Почему так – не знаю. Просто звучало стёбно и всем понравилось. Однако больше всего меня поразило то, что была принята сама идея: в каждый номер писать по фельетону.

Фельетон! Жанр, который в «Синтетике» был выжжен калёным железом сразу после воцарения Кузьмичёва. В Лосиногорске всё шло путём – что же критиковать и над чем злорадствовать? Но все понимали, что обстановка в «Датском королевстве» далека от идеала... Вероятно, Эмилия тоже дошла до точки, потому что, ознакомившись с моим проектом, лишь коротко кивнула:

– Валяй.

Потом, правда, добавила:

– Поосторожнее там. А то наломаешь дров...

Начал я и впрямь осторожно. Тему подкинула Лариска. Поехала она с мужем в лес за грибами. Тачку оставили на обочине дороги и разбрелись в разные стороны, условившись встретиться часа через два. Ларискин супруг явился к назначенному сроку и ещё битых два часа просидел в машине, ожидая свою благоверную. Не вытерпев,

позвонил в милицию. Дежурный сонным голосом поинтересовался, что стряслось. Услышав историю о пропавшей, сладко зевнул и спросил: «Мужик, а ты бибикать не пробовал?» – «Пробовал». – «А «ау» кричал?» – «Кричал». – «Не сработало? Хм, странно... Ну, тогда я тебе не помощник». И отключился. Заблудившейся Лариске повезло: прошлявшись по лесу до вечера, она случайно вышла к карьеру, где экскаваторщики ЛОСИСа выгребали породу на щебень.

История мне понравилась, и в следующем номере «Синтетики» появился фельетон «Криминальное чтиво»:

«Поздний вечер. Полицейский участок. Дежурный шериф напряжённо вглядывается в открывающуюся за окном сумеречную даль. Тишину разрывает телефонный звонок.

– Полиция? У меня пропала жена! Мы поехали за грибами в район Ягельного бора (*лесотундровое плоскогорье в штате Коннектикут*. – **Прим. Переводчика**). Мы договорились встретиться в восемь. Уже начало десятого, а её нет!

– Спокойно, парень! Ставлю свою дубинку против хот-дога: ты попал по адресу. Мы вытащим твою жёнушку даже из пасти койота. Слушай внимательно. Сейчас я дам тебе ценный совет. У тебя есть блокнот? Записывай.

– Записываю.

– Вернись в лес и крикни: «Ау!» Понял?

– Я кричал...

– Да? Ты поразительно догадлив. Тебе надо работать в полиции. Хорошо... Я дам тебе другой ценный совет. До этого в состоянии додуматься только профессионал. Записываешь?

– Записываю.

– Позвони домой. Ставлю свой кольт против бутылки пива, что твоя супруга уже там!

– Я звонил... Её нет дома!

– У тебя потрясающе развито дедуктивное мышление! Когда я выйду в отставку, ты меня заменишь. Жалованье скромное, зато будешь знать, что приносишь людям пользу. Это очень важно, парень, поверь старику Джону.

– Что мне делать?

– Мужайся! Аллах – свидетель: я сделал для тебя всё что мог. Есть задачи, с которыми не в силах справиться даже суперпрофессионал.

– ..! ... в ..! ... на ..!

В трубке слышны короткие гудки. Шериф устало вытирает пот со лба и произносит с горечью:

– Вот она, благодарность!»

Этот дебютный выпуск «Мыслей внарезку» остался незамеченным. Перестраховываясь, я слишком завуалировал события, и никто, кроме посвящённых, не допёр, о чём, собственно, речь. Лариска поведала о своём чудесном спасении местному священнику и, благоговейно взглянув на церковный купол, спросила, что она теперь должна сделать, чтобы такие приключения впредь не повторялись. Батюшка ответил: «Купите компас».

Нам не влетело. Помогло удачное стечение обстоятельств: Главный Цензор очень вовремя отбыл в отпуск на заморские юга, а временно оставленный на престоле Лимонов был слишком ленив и невнимателен, чтобы вычитывать «Синтетику» с такой же придирчивостью, с какой её вычитывал Кузьмичёв. А может, убаюканный нашей многолетней покорностью, он и предположить не мог, что мы способны отмочить номер, не согласованный с мэром?

Я вошёл во вкус. Мне впервые было интересно отписывать строки для «Синтетики». В «Мыслях внарезку» можно было в кои-то веки отойти от шаблонов, поиграть со стилем, и я с радостью заметил, что творческая натура ещё не задохнулась во мне.

## **ИНОСТРАНИШЕ ТУРИСТО «ОБЛИКО МОРАЛЕ»**

Кузьмичёв грел пузо под анталийским солнцем, а его заместитель-родственник посапывал в две дырки, не желая ни во что вмешиваться. Ну и прекрасно... Я стал искать темы поострее. На одном из аппаратных совещаний, которые проводились теперь вяло и нерегулярно, был оглашён совершенно утопический план превращения Лосиногорска в туристическую Мекку. Этот план мог вызреть только в недоразвитом мозгу. Город, при всём к нему уважении, еле сводил концы с концами, а для того, чтобы обеспечить туристам элементарные удобства, требовались не просто деньги – деньжищи! Единственная на весь район гостиница «Пласт-Масс» принадлежала комбинату и использовалась в основном для организации корпоративных пьянок в банкетном зале и для расселения высоких гостей из «Северпласта», которых лишь с большой натяжкой можно было назвать туристами.

Самым экзотическим постояльцем стал индус по имени (или по фамилии) Махендра. Его выписали в Лосиногорск для технических консультаций на предмет сборки новых самосвалов марки «Юнит Риг» – их ЛОСИС приобрёл в целях расширения щебёночного производства. Махендра оказался толковым парнем и, несомненно, выполнил бы свою задачу с блеском, если бы, благодаря радушным хозяевам, не пристрастился к традиционному русскому напитку. Приставленный к нему переводчик первым делом обучил его словам «водка», «наливай» и «эх, хорошо пошла, стерва!» Командировка Махендры была рассчитана на две недели, но он завис в гостеприимном городе на целых два месяца. Корпорация, где он числился, объявила своего сотрудника в международный розыск, выясняла через Интерпол, не взяли ли его ненароком в заложники, но Махендра забил на своих работодателей и продолжал активно знакомиться с достопримечательностями русского Севера. Выпроводили гостя только тогда, когда Васильчикову надоело кормить и поить его за счет ЛОСИСа. Уезжая, Махендра прослезился, обнял гендиректора и с простодушной фамильярностью сказал:

– Витья, я приеду к тебе на Рождество! Водка, пельмени, самовар, матрёшка, дружба, перестройка!



Он действительно приезжал ещё два раза, но от него старались поскорее отделаться. Однако молва о его похождениях в Лосиногорске долго потом гуляла по городу.

Но и Махендра, строго говоря, не был туристом. Туристов Лосиногорск на своём веку не видал вовсе. Разве что забрёл однажды мужичонка с рюкзаком, представился знаменитым путешественником, совершающим пеший поход от Чукотки до Скандинавии. Показал кучу рекомендаций, подписанных Хейердалом, Конюховым и Абрамовичем. Попросил денег, еды и пару новых ботинок, поскольку старые стёрлись во время ходьбы по российскому бездорожью. Чухнов (дело было при нём) растрогался, облагодетельствовал храброго экстремала и даже выделил почётный гаишный эскорт для его проводов дальше на запад. Через пять дней пришла весть, что пилигрим оказался банальным аферистом с липовыми справками – его задержали при попытке незаконно перейти финскую границу.

Вот и всё, что я могу припомнить в отношении посещаемости Лосиногорска туристами. Смотреть тут было не на что: из достопримечательностей – только скульптурный лось с отбитыми рогами, стоявший на старой площади. Лося подарили городу в честь 60-летия Великой Октябрьской революции. Везли статую откуда-то из Сибири. Так как целиком она в контейнер не помещалась, везли в разобранном виде: голова и передняя часть туловища – в одном ящике, а зад – в другом. Вышло так, что завод, который занимался изготовлением каменных истуканов, получил заказ на нескольких лосей сразу, причем лоси были разных размеров. И когда ящики с расчленённым животным доставили в Лосиногорск и вскрыли, оказалось, что задница памятника вдвое шире, чем требовалось. Пришлось упаковать её обратно в ящик и отослать в Сибирь, откуда взамен прислали другую, поменьше. Городские умельцы собрали две части скульптуры воедино, и лось занял почётное место на постаменте. К нему водили экскурсии из детских садов и школ. А рога ему отбил комбинатовский безопасник, когда, изрядно наклюкавшись, решил поупражняться в стрельбе из служебного пистолета.

Жизнь в городе текла однообразно. Праздники проводились по накатанной схеме: на площади наспех сколачивали деревянные подмости, на которых разыгрывалось какое-нибудь непритязательное представление, перемежаемое песенками в исполнении лосиногорских королей эстрады. В качестве молодецких забав публике предлагались бои на мешках (двое садились на укреплённое над помостом бревно и лупили друг друга наполненными песком длинными чехлами, напоминавшими колбасу), а также игра «Достань петуха», суть которой заключалась в том, чтобы залезть на высоченный гладкий столб и снять с крючка наверху клетку с бьющимся в агонии петухом.

Мы в редакции попробовали представить, как мог бы выглядеть отзыв первого настоящего туриста, побывавшего в Лосиногорске:

«Их бин подданный не помню какой страна. Ай хэв полный апгемахт от посещения ваш эксклюзив Север. Сначала меня прокатить по хрустящему морозу на оленях утром ранним от пограничного пункта до мегаполис Лосиногорск, а потом полдня отпаивать нацио-

наль коньяк «Стеклоочиститель», после чего я пожалеть, что не умер в Хельсинки.

На другой день мне устроить экскурсия в яма под названием «Комсомолише карьеро». Я быть полный крэйзи от взрыв динамит и чуть не попасть под руссо экскаватор. Потом моя турфирм организовать колоссаль прогулка по ночной город, где мне... как это по-вашему?.. настучать по чайнику, и я три месяца лежать в ваш респекто клиник. Оттуда меня выписать с диагноз «желудочное плоскостопие», и я на костылях пошкандыбать на славянише байрам «Проводы зимы». Там мне сказать, что если я крутой дятел, то нужно лезть на столб и доставать петух.

Падать со столба было просто фантастик! Когда меня во второй раз выписать из респекто клиник, местный аборигено взять меня на супершоу под названием «рыбалка», где я находиться поныне и по-прежнему жалеть, что не умер на родине...»

## **БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК С ДУБОМ**

Прошёл месяц с момента, когда в «Синтетике» начали выходить «Мысли внарезку». Эмилия внезапно сделала открытие: спрос на газету в городских киосках повысился. Это было что-то совершенно невероятное: нас стали покупать не только из-за ТВ-программы и объявлений! Мы впали в эйфорию, нам пригрезилось, что мы вырвали у тюремщиков-учредителей кусок свободы – и не односторонне-приказной, как было в случае с конфликтом между Чухновым и Васильчиковым, а самой настоящей, выстраданной нами за долгие годы беспросветного холопства.

Настала осень, детишки в школе писали сочинения на тему «Как я провёл лето». Я сделал свой вариант для «Мыслей...»:

«Лето я провёл хорошо. Сначала мы писали контрольные. По химии надо было вывести формулу диффузного крекинга бороуглеазотистых соединений. Мы это проходили ещё в первом классе, но тут я от волнения спутал Бойля с Мариоттом, и у меня ничего не получилось. Учительница сказала, что я тупой и что с такой дубовой головой я не сдам ЕГЭ. Я ещё маленький и не знаю, что такое ЕГЭ, но оно мне уже снится по ночам, и мама отпаивает меня пустырником. Потом учительница стала показывать мне, как вывести эту формулу, и запуталась сама. Пришли завуч, директор школы, тётенька из отдела образования – все они тоже стали выводить формулу и выводят до сих пор, а я ношу им в школу пирожки с капустой и письма от родных и близких.

Однажды летом папа вернулся домой и сказал, что скоро устроится на новую работу. У нас откроют подземный рудник, дяди-шахтёры полезут в забой и станут заколачивать бешеные бабки. Мама сказала папе, что, прежде чем лезть в забой, надо выйти из запоя, но папа сказал ей, что она глупая женщина и загубила его молодую жизнь (если честно, он сказал немного по-другому, но таких слов мы ещё не проходили, и я не знаю, как их правильно писать). Я сказал папе,

что мне надоело учиться и я тоже хочу заколотить что-нибудь бешеное, но папа сказал, что я тупой.

Потом дедушка вычитал в газете про заседание по борьбе с несовершеннолетними. Там было написано, что такие обормоты, как я, вместо того, чтобы шляться по улицам, должны висеть на турниках, потому что это полезно для здоровья. Я сказал, что не хочу вешаться на турнике, а хочу играть на компьютере. Дедушка рассердился и сказал, что я тупой.

Так я провёл лето. Вчера я готовился к школе и смотрел телевизор. Тётяшка, которая рассказывает про погоду, сказала, что в сентябре ожидается похолодание. Я спросил, как же мы будем жить, если отопление нам обещают включить только к Новому году. Тётяшка посмотрела на меня с экрана и сказала, что я тупой».

Лафа не может длиться вечно. В ожидании скорого приезда босса Лимонов очнулся от летаргического сна и обнаружил на вверенной ему территории непонятное и наверняка опасное шевеление. Поданные Леонида Николаевича, которым полагалось радоваться только вследствие причин, указанных Леонидом Николаевичем, и только в рамках, определённых Леонидом Николаевичем, посмели ловить кайф от чего-то другого, не санкционированного Леонидом Николаевичем и, возможно, даже ему не ведомого. Лимонов распорядился выяснить и доложить. Чиновники из числа самых верных живо приволокли ему подшивку «ЗС», где кроваво-багровым карандашом были обведены мои фелетоны. Лимонов прочёл и ужаснулся. Прямо у него под носом махрово расцвёл рассадник свободомыслия и неповиновения. И это за неделю до возвращения Леонида Николаевича!

Как старый вояка, Лимонов решил действовать быстро и безжалостно. Он позвонил в редакцию и вызвал меня в мэрию. Эмилия стала заступаться, пробовала перевести стрелки на себя, но Лимонов был неумолим. После затянувшейся спячки в нём пробудился целый вулкан, он клокотал и извергал огненную лаву.

– Надо идти, – сказал я.

– Получается, что я тебя сдала, – грустно сказала Эмилия.

– Ладно, – ответил я, – сам виноват.

Я шёл в администрацию с одной мыслью: если он начнёт на меня орать, уйду и хлопну дверью. И, не дожидаясь, пока от Эмилии потребуют моего изгнания, напишу заявление по собственному. Да, на новую работу в Лосиногорске мне потом не устроиться. Да, ехать отсюда некуда. Да, накоплений, могущих хоть как-то растянуть моё безработное существование, у меня нет. Но гайки уже сорваны, отступать нельзя. Пусть там, в кабинетах, где сидят эти канцелярские крысы с толстыми харями, поймут, что и журналюга способен на восстание.

В кабинет Лимонова я вошёл без тени робости. Он, сидя за столом, посмотрел на меня и всё понял. Поднялся навстречу, протянул руку (!) и предложил сесть. Я чувствовал, что намерение наброситься на меня с руганью сломалось в нём, как спичка. Нет, орать он не станет. Странно, я испытывал от этого не столько удовлетворение, сколько разочарование. Демонстрация оскорблённой гордости с красивым финальным уходом была уже не в тему. Значит, нужно

выбирать другую линию поведения. И эта линия напрямую зависит от того, как поведёт себя Лимонов.

Он повёл себя так: расплылся квашнёй в кресле и начал тихим обиженным голосом гнусавить, что вот де администрация старается для блага редакции, а мы позволяем себе такие недостойные выходы. Я спросил, что конкретно не устроило его в моих фельетонах. Он ответил, что они написаны слишком предвзято. Я спросил, что он понимает под словом «предвзятость». Он смешался, порозовел и совсем уже жалобно попросил «больше так не делать». Я не стал ничего обещать – неопределённо мотнул головой и ушёл.

Во мне всё ликovalo: мы, журналисты, заставили трепетать обитателей муниципального Олимпа! В тот день в редакции мы даже выпили по этому поводу, раскрутив Эмилию на внеплановый пузырь хорошего вина.

В следующем номере вышел самый дерзкий выпуск «Мыслей внарезку». Он посвящался совещаниям по подготовке к зиме, которые так любил проводить наше городское руководство. К зиме оно готовилось постоянно, вне зависимости от времени года. Мне казалось, что обилие совещаний вовсе не влияет на интенсивность и качество работ, однако Кузьмичёв считал иначе. Совещания по подготовке к зиме были его любимой игрушкой. Теперь, когда я был на пике народной любви, можно было покуситься и на неё.

«Сегодня, дружок, я расскажу тебе сказку. Не смотри на меня такими грустными глазами. Садись поудобнее, кушай овсянку и слушай.

В некотором царстве жили люди, которые круглый год готовились к зиме. Наступает лето – готовятся, приходит осень – готовятся. И зимой готовятся, и весной, и только об одном жалеют, что нет пятого времени года, чтобы можно было ещё немножко поготовиться.

Готовились они хорошо, а ещё лучше об этом рассказывали. Это даже не отчёты были, дружок, а песни соловьиные. Бывало, придёшь на совещание, сядешь в уголочке и плачешь. От умиления. Школы все побелены-покрашены, крыши залатаны, трубы уложены, в бассейне такая лепота, что хоть форель разводи. И ведь что, дружок, характерно: кто и как эти проценты с погонными метрами считал – дело десятое. Главное – на душе светло, в сердце радостно, жить хочется...

Спишь, дружок? Ну, спи, спи. А я тебе эту сказочку анекдотом заполирую. Может, не совсем в тему будет, но ты уж потерпи.

Заходит новый русский в сауну и показывает браткам коробку, розовой ленточкой перевязанную.

– Во, пацаны, в антикварном отоварился. Раритет! Барабан работы Страдивари. Полтора «лимона» баксов отвалил.

Один из братков крутит пальцем у виска:

– Ты чё, Вован? Страдивари этот, он же скрипки клепал, а не барабаны.

– Да? Ща разберусь!

Вован убегает, через полчаса возвращается с той же коробкой и говорит радостно:

– Разобрался! Всё по кайфу. Это он для лохов скрипки клепал, а для крутых пацанов – барабаны!»

Больше фельетоны в «Синтетике» не появлялись. Вернувшийся из отпуска Кузьмичёв миндальничать не стал, как не стал и париться по поводу того, кто виноват: он просто вызвал Эмилию и сказал, что, если «Мысли...» ещё раз появятся на страницах газеты, он разгонит редакцию к чёртовой матери. Перед этой угрозой мы оказались бессильны. Жертвовать Тamarкой, которая в одиночку воспитывала двоих сыновей, или Лилькой, тоже тянувшей без мужа своего малолетнего оболтуса, мы не имели права. И смирились. «Мысли внарезку» были похоронены.

Народ поначалу не врубился. Нам звонили, спрашивали, куда подевались фельетоны. Мы что-то мямлили в ответ, ссылались на переизбыток событий, которые необходимо освещать, на напряжённость графика, отсутствие таланта и не помню уже на что ещё. Не знаю, понял ли кто-нибудь, что случилось на самом деле. Прошло не меньше месяца, прежде чем от нас отстали. Тираж «Синтетики» упал до привычного уровня, к Кузьмичёву вернулось спокойствие.

Но мы-то — мы полыхали от гнева! Вкусив свободы, мы уже не могли жить и работать по-старому. Разбуженное чувство собственного достоинства требовало сатисфакции. И тогда мы, посовещавшись, задумали месть. Неслыханную и жуткую.

## НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ

То, что мы затеяли, иначе как подрывом муниципальных устоев не назовёшь. На информационном пространстве Лосиногорска «Заполлярная синтетика» всегда была монополистом, все попытки создать независимое средство массовой информации заканчивались ничем. Да и немного их было, этих попыток. Когда-то, ещё в начале 90-х, горстка энтузиастов начала выпускать газету под названием «Квартет». К музыке это издание никакого отношения не имело, название взяли с потолка. «Квартет» был вполне безобидной газеткой, публиковавшей тех, кого отфутболивала «Синтетика» — городских графоманов. Его полосы были щедро унавожены стишками про любовь-морковь и птичек, чирикающих на ветках «раскудрявых» берёзок. Многочисленность графоманской диаспоры обеспечивала «Квартету» не только достаточное количество печатного материала, но и широкую аудиторию: небольшой тираж газеты раскупался, и она просуществовала года два, загнувшись по абсолютно тривиальной причине: её редакция в полном составе спилась.

Если не считать этой истории, никаких попыток отвоевать у «Синтетики» умы и сердца читателей, основательно заплombированные Кузьмичёвым, не предпринималось. И Эмилия — дипломатичная наша Эмилия! — под влиянием проникших в организм бактерий свободолюбия решилась на отчаянный шаг. Собрав нас с Оксаной в полутёмной кафешке (в редакции столь рискованный разговор затевать не стали, ибо после «Мыслей внарезку» кузьмичёвские ребята вполне могли рассовать по кабинетам «жучки» для прослушки), она шёпотом сообщила, что намерена выпускать в Лосиногорске подпольную газету.

– На какие шиши? – спросили мы.

Эмилия, оглядевшись по сторонам, ответила, что есть в городе одна прогрессивно мыслящая личность, готовая вложить в этот безумный прожект энную сумму. Прежде чем огласить нам имя этой личности, она взяла с нас клятву, что тайна умрёт вместе с нами.

– Могила?

– Могила! – торжественно поклялись мы.

– Смотрите же... – сказала она, промокнув салфеткой влажную щеку. – Я вам доверяю как родным.

Прогрессивной личностью оказался владелец небольшой строительной компании. В советские времена она называлась трестом и выполняла в Лосиногорске все строительные работы. Но потом возводить в городе стало нечего и не для кого, и трест съёжился до размеров компактной фирмочки, занимавшейся не столько строительством, сколько ремонтами. Хозяин фирмы (дадим ему фамилию Кротов) по какой-то неизвестной мне причине не поладил с Кузьмичёвым и Васильчиковым и сразу оказался в положении изгоя. Его лишили всех заказов в пределах муниципальных владений и стали натурально выдавливать из города.

Кротов был мужик упёртый и цепкий. Он купил два автобуса, нашёл заказчиков на стороне, и его строители-ремонтники каждый день катались в соседние населённые пункты, где занимались своим обычным делом: немного строили и много ремонтировали. Если объект располагался далеко от Лосиногорска, для бригады заказывали общагу или вагончик, где она жила недели две прямо на месте, после чего её сменяла другая бригада. Вахтовый метод был не слишком удобен для рабочих, которым приходилось отрываться от дома, зато Кротов экономил на бензине. Фирма его трудилась добросовестно и скоро завоевала в области прочный авторитет. Стены в его кабинете были увешаны грамотами и дипломами за отличную работу, но среди них не было ни одного поощрительного документа, подписанного Кузьмичёвым. Лосиногорск упорно игнорировал Кротова – вместо него городские объекты латали другие ремонтники, управляясь во сто крат хуже. Кузьмичёв не мог этого не замечать, но распри его с Кротовым зашли так далеко, что он готов был терпеть халтуру, только бы не давать своему противнику дополнительной возможности заработать.

Надо сказать, что город терял от этого конфликта больше, чем Кротов. У того дела шли нормально, и я не удивился, когда узнал, что он намерен вложиться в нашу затею. Мотивы тоже были вполне объяснимы: Кротов втайне мечтал подложить Кузьмичёву свинью, и тут – такой шанс! Он загорелся идеей сразу и предложил нам не только финансирование выпуска номеров, но и комнатку в своём офисе, оборудованную телефоном и компьютером со всеми причудами, необходимыми для газетной вёрстки. Чтобы не подставлять под удар весь коллектив «Синтетика», решено было задействовать в проекте только Эмилию, Оксану и меня. В помощь нам нашли компьютерного гения по кличке Змей Горыныч.

К выпуску первого номера готовились в условиях строжайшей конспирации. Каждый день, покидая «синтетическую» редакцию, мы

по одному, дворами и закоулками, проверяя, нет ли «хвоста», добирались до кротовской конторы. Там, в комнате с зашторенными окнами, обсуждалось содержание будущей газеты-бомбы. Назвать её решили «Северный перпендикуляр». Звучало громоздко, но с вызовом.

Я никогда ещё не получал такого удовольствия от газетной работы: ощущение полной свободы действий открыло в глубинах души какие-то шлюзы, и творческая энергия хлынула бурным потоком. Я придумал для себя пять газетных масок. Первая – серьёзный товарищ, который должен был писать проблемные статьи, анализировать факты и дотошно копаться в них с целью поиска истины. Вторая – циничный сатирик-фельетонист, подкалывающий всех и вся. Третья – юморная поэтесса, пишущая те же фельетоны, только в рифму, а заодно и пародирующая пригретых «Квартетом» стихоплётов. И, наконец, придумал я двух слегка двинутых по фазе экспертов, которые должны были с диаметрально противоположных позиций обсуждать злободневные темы. У Оксаны с Эмилией тоже нашлись забавные заготовки. Мы быстро отписали свои материалы и стали с нетерпением топтаться вокруг Змея Горыныча, который деловито разбрасывал их по виртуальным газетным полосам.

Теперь-то я понимаю, что мы поспешили. Нам думалось, что само появление новой газеты произведёт в городе эффект разорвавшейся гексагеновой шашки, поэтому первый номер лепили на скорую руку, стремясь побыстрее реализовать бурлившее в нас желание и посмотреть, что из этого получится. Поскольку газета ещё не была зарегистрирована, ограничились тиражом в 900 экземпляров. Печатались в областном центре, в типографии, где у Кротова имелись надёжные знакомые. Он лично, под покровом тайны, отвёз туда диски с электронным макетом и вернулся уже с готовыми экземплярами «Перпендикуляра». В той же комнатке с зашторенными окнами мы благоговейно и восторженно передавали друг другу свежий, ещё сырой от краски номер своего детища. В глазах у Эмилиии плясали черти. Кротов достал из заглашника бутылку привезённого из Франции «Мартеля», и мы, как говорится, не отходя от кассы, отметили успех.

Выглядело всё воистину фантастически: в городке, который жил под неусыпным контролем Виктора Аркадьевича и Леонида Николаевича и где без их разрешения нельзя было даже чихнуть, появилась оппозиционная пресса. И благодаря кому – журналистам, которые испокон веков являлись здесь идеологическим оплотом «отцов города»! От этой мысли мы чувствовали себя слегка шизанутыми: уж не раздвоились ли наши личности? Целую неделю утром и днём в редакции «Синтетика» мы писали одно, а вечерами и ночами в редакции «Перпендикуляра» – совсем другое, споря со своими же недавними утверждениями. Но это был вовсе не повод сходить с ума, потому что и Эмилия, и Оксана, и я точно знали, в какой из моментов мы были искренними, а в какой – занимались профессиональным лицемерием.

Экземпляры «Северного перпендикуляра» через надёжных людей были переданы бабулькам, торговавшим на базаре семечками. Они должны были стать нашими распространителями. С выреченных

денег им полагалось 30 процентов. Сами мы затаились, но сидели как на иголках. Бомба, по нашим расчётам, должна была рвануть уже к вечеру.

Ничего не произошло. В свете позднеосенних звёзд Лосиногоorsk был таким же дремотным и умиротворённым, каким мы привыкли видеть его всегда. Ни у кого, кроме нас, не блестели глаза, никто не шептался на углах, лихорадочно перепихивая из рук в руки наш «Перпендикуляр». В чём дело? Промаявшись ночь, мы наутро заслали агентов к бабкам-торговкам, и те ошарашили нас сообщением: «Перпендикуляр» не расходуется...

## БОЙ С ТЕНЬЮ

Собравшись в своём подпольном штабе, мы принялись думать. Эмоции улеглись, и стало очевидно, что первый номер вышел квёлым. Это была такая пёстрая и невкусная крошка из текстов, в содержании которых угадывалось вьевшееся в нас за годы работы в «Синтетике» стремление говорить обтекаемо и беспредметно. Вот она – сила инерции!

– Хватит! – заявила Эмилия. – Срочно выдавливаем из себя рабов! Следующий выпуск должен стать ударным!

И мы с удвоенной силой взялись за подготовку ударного выпуска. Как назло, мэрия разродилась многочисленными совещаниями, мы засиживались на них допоздна, уже складывая в голове дубовые строки репортажей для «Синтетики», а потом, утомлённые, шли в контору Кротова, где брались за «СП». Пыл в нас не иссяк, но очень сложно было переключать мозги с «ничего нельзя» на «всё можно». В итоге и второй номер вышел далеко не таким ударным, как хотелось Эмилии. Вдобавок возникли ожидаемые проблемы. О появлении в Лосиногоорске «рупора диссидентства» доложили Кузьмичёву. Он подпрыгнул, словно на кресло под ним подложили ежа, и распорядился срочно «выявить и пресечь». Бабок на рынке взяли в оборот и пригрозили прогнать вместе с семечками, ежели они не откажутся продавать населению взрывоопасный «Перпендикуляр». Бабки на стали упрямыться: продажа неходовой газеты приносила им не ахти какую прибыль, а лишиться базарных мест было для них совсем невыгодно. К счастью, выйти через них на наших агентов кузьмичёвским сыскарям не удалось: те вовремя легли на дно.

Приключение, в которое мы ввязались, все больше напоминало детектив. На людях мы вели себя мирно и покладисто, не давая повода заподозрить нас в причастности к «диссидентству», но в конце каждого дня, преодолевая отупение и усталость, ваяли новые номера «Перпендикуляра».

Уже к десятому номеру многие наши иллюзии начали рушиться. Даже решив проблему с реализацией (бабушек с семечками сменили юркие пацаны, шнырявшие, как в старых фильмах, с пачками газет между прохожими), мы увидели, что бомба не только не собирается взрываться, но и не шипит, не разбрызгивает искры. Кроме «Пер-



пендикуляра» и «Синтетика» в Лосиногорске распространялось море рекламно-информационных листов, выпускавшихся в других городах. Они были под завязку набиты гороскопами, сканвордами, анекдотами и прочей дребеденью, скачанной из Интернета. «Синтетика» держалась на поверхности этого моря, потому что, как ни пафосно это прозвучит, за пятьдесят лет успела сделать себе имя. А «Перпендикуляр», который никому не был известен, просто утонул в пучине бульварных газетёнок.

Спасти положение можно было только одним способом: устроить, выражаясь научно, широкую кампанию по продвижению издания на читательский рынок. Но на это у Кротова уже не было денег. Да и не позволил бы никто провести такую кампанию в Лосиногорске. Кузьмичёв, взбешённый тем, что его люди не сумели отыскать организаторов подрывной деятельности, предпринял все меры для того, чтобы перекрыть «СП» информационный кислород. Руководителям муниципальных служб было под страхом увольнения запрещено общаться с любым, кто назовёт себя представителем «Северного перпендикуляра». Руководители в свою очередь собрали коллективы и продублировали этот приказ для собственных подчинённых. Дальше – больше. Приобретение и чтение «Перпендикуляра» приравнивалось к преступлению. Всякий муниципальный служащий, замеченный с этой газетой, рисковал своей карьерой. Однажды мэр заметил «Перпендикуляр» на столе у главной городской масовицы-затейницы, которая отвечала за проведение всех культурных мероприятий. Он затопал ногами и излил на масовицу целый водопад своего гнева. Спасла её только наспех придуманная отговорка, что, мол, для того, чтобы победить врага, надо его изучить. Кузьмичёву ничего не стоило согнать её с должности, но, поостыв, он рассудил, что найти ей замену будет непросто, а от частоты и идеологической выверенности культурных мероприятий зависел, между прочим, его имидж, так как ни одно из них не обходилось без выступлений дорогого Леонида Николаевича.

Редакция «Перпендикуляра», находясь в подполье, оказалась ещё и в вакууме. Доступ к информации, который мы имели как сотрудники «Синтетики», не спасал: во-первых, информация эта была сухая и кислая, а во-вторых, повтор её на страницах «СП», пусть даже в изменённом виде, мог навести Кузьмичёва на след. Мы всячески изворачивались, но «Перпендикуляр» увядал на глазах. Ещё одну подлянку подстроил нам Змей Горыныч. Как все компьютерные гении, он был малость не в себе, и иногда его «зарубало» без каких-либо видимых причин. Как-то ночью, сверстав номер, он пошёл на квартиру к приятелю, и там они не то кольнулись, не то курнули травы, после чего отправились в экстремальную прогулку по тёмному городу. Наутро Горыныча нашли в чужом подъезде со сломанной рукой, распухшей челюстью, подбитым глазом и частично отшибленной памятью. Он помнил всё, что было до похода к приятелю, а дальше – как отрезало. Работать в таком состоянии он не мог, пришлось отправить его в больницу, и выход «Перпендикуляра» был на две недели приостановлен. Все ясно видели близость развязки.

## ЗАГОВОР ОБРЕЧЁННЫХ

Мы тянули «Перпендикуляр» без малого полгода. С учётом обстоятельств это следовало счесть проявлением героизма, который, однако, не повлёк за собой никаких изменений в общественном сознании. Лосиногорцы остались равнодушными к свободному слову. Даже те, кто читал «Перпендикуляр» регулярно, отнеслись к нему почти с безразличием. Может быть, они ждали от независимой газеты чего-то большего – сенсационных разоблачений, леденящих душу расследований, подробностей личной жизни городских сатрапов? Так или иначе, фельетоны на манер «Мыслей внарезку», которые так отважно смотрелись в «Синтетике», в «Перпендикуляре» уже не прокатывали. Мы сами загнали себя в такие рамки, назвавшись носителями правды.

У меня появилась парадоксальная идея: перевести «СП» на легальное положение, заключить с властями договор о ненападении и вывести открыто. Но идея была неосуществимой. «Перпендикуляру» всё равно не дали бы развернуться, а нас троих попёрли бы из «Синтетики» буквально в три шеи. Кузьмичёв и независимая пресса были вещами несовместными.

По весне «Перпендикуляр» испустил дух. У нас не поднялась рука написать в последнем номере некролог по своим разбитым мечтам. Нам было обидно, горько и стыдно. Наибольший стыд мы испытывали перед Кротовым, чьи надежды не сумели оправдать. Он повёл себя как истинный джентльмен: поблагодарил нас за работу и не высказал ни единого упрёка. Полагаю, он, как человек умный, и не считал нас виноватыми. Виновата была лосиногорская топь, в которой вязли все прекрасные порывы и храбрые начинания.

Исчезновения «Перпендикуляра» простой люд не заметил. Город продолжал жить обычной жизнью: девять десятых населения горбатилось на одну десятую и, поругивая на кухне мэра и директора ЛОСИСа, не предпринимало никаких действий, чтобы что-то изменить.

Было бы неверно утверждать, что «Перпендикуляр» исчез, не оставив следа. Не берусь говорить за Эмилию и Оксану, но меня он перепахал. Моя совесть, прежде нывшая как больной зуб, унялась и затихла. Теперь, строча сучковатые тексты для «Синтетики», я не испытывал терзаний, поскольку знал: публике наши творческие потуги сугубо фиолетовы. Грязеподобная каша, которой «Синтетика» кормила своих читателей, – вот вполне подходящая для них еда. Они не прочь были посмеяться над моими фельетонами, но, по большому счёту, для них это было всего лишь чем-то забавным, способным вызвать улыбку и помогавшим расслабиться. Никто не разглядел в «Мыслях внарезку» призыва отойти от затхлых стереотипов, из которых состояла вся жизнь в Лосиногорске. Горожане, выражавшие недовольство произволом чиновников и местных олигархов, подспудно понимали, что другой жизни быть не может. Перемены требовали каких-то умственных усилий, а думать здесь не любили. Ленились. Проще было оттрубить смену, прийти домой, ткнуть кнопку на телеящике и погрузиться в блаженное забытье под «Комеди-Клуб» или «Дом-2».

Неподвижная людская масса, которую мы пытались оживить, растолкать, разбудить, не реагировала на наши попытки только потому, что не желала быть разбуженной. И когда я это осознал, мне стало очень спокойно. Я почувствовал, что в душу вернулась гармония. Мне даже почудилось, что в редакции благоухают так и не высаженные жилкомхозом хризантемы. Я быстро и без отвращения дописал новости комбината и с лёгким сердцем отправился на заседание комиссии по борьбе с подростковыми правонарушениями.

## Глава шестая

# НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!

## КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Всё вернулось в прежнюю колею. Мы исправно заполняли «Синтетику» словесной тиной, на «Перпендикуляре» был поставлен крест, и никто из нас уже не заговаривал о свободе и священной обязанности «глаголом жечь сердца людей». Однако разбуженная творческая жилка зудела, и, сидя на планёрках и оперативках, я исписывал блокноты строчками, совершенно не относящимися к новостям мэрии и комбината.

ЛОСИС работал ни шатко ни валко. Ребята из «Северпласта» требовали увеличения доходов предприятия. Предприятие в ответ пыхтело, надрывалось, но прыгнуть выше головы не могло. На лысый череп Виктора Аркадьевича посыпались нарекания, ему намекнули на возможность его скорой отставки, и он с перепугу засуетился пуще прежнего. Двое управленцев-горняков, ответственных за активизацию щебёночного производства, были вызваны к нему в кабинет и, снабжённые инструкциями, отправлены в Австралию – за ценным опытом и крайне полезными зарубежными технологиями.

Дальше Австралии от Лосиногорска был только Южный полюс. В путь мужественных странников провожали всем комбинатом.

Путешественники просадили несколько десятков тысяч служебных у. е., вдоволь наездили по австралийским пустыням, саваннам и пляжам, получили ценный опыт по части дайвинга, виндсёрфинга и вэйбординга и, обогатившись сувенирами, вернулись домой. К сожалению, привезённые ими сведения о новейших технологиях не помогли лосиногорскому щебёночному производству совершить качественный и количественный рывок. Ребята из «Северпласта» по-прежнему оставались недовольными: отделка дворцов на Рублёвке шла непозволительно медленными темпами.

Васильчиков почесал репу и снова вызвал к себе тех же двоих смельчаков.

– Понравилось вам в Австралии? – спросил он, грозно сверкая очами.

– Не знаем, Виктор Аркадьевич, – с неопределённостью, свидетельствующей о мудрости, ответили они, гадая, куда клонит непредсказуемый Хозяин.

- Ежели понравилось, полетите ещё раз.
- В Австралию?
- Нет. В ЮАР.

Гендиректор ЛОСИСа с присущей ему настырностью продолжал поиски зарубежных технологий, могущих вознести комбинат к сияющим высотам, и отправил уже закалённых странствиями горняков в Преторию. Они мужественно сели в самолёт и, преодолев двенадцать тысяч километров, очутились на юге Африканского континента. Здесь тоже было интересно, и десять дней, отведённых на командировку, пролетели незаметно. В Лосиногорск оба возвратились обветренные, загоревшие, снабжённые южноафриканскими безделушками из слоновой кости и переполненные впечатлениями. Они со знанием дела рассказывали о том, как в ЮАР проводятся сафари и что нынче в моде у чернокожих кейптаунских красоток. Но щёбёночное производство в Лосиногорске и после этой самоотверженной прогулки за тридевять земель почему-то не желало процветать. Зато моя лекция обогатилась элегией, написанной в духе Николая Гумилёва:

*Это не глюк, не мираж. Это просто кошмар,  
Который ночами терзает и мучит меня.  
Послушай, послушай: в далёкой-далёкой ЮАР  
Изысканный бродит горняк.  
А рядом второй. Они оба – из дальней страны.  
В их обликах бледных – слепая покорность судьбе.  
И в этой связи их туманные взоры грустны,  
И руки особенно тонко дрожат в рукавицах хэбэ.  
А ноги, особенно тяжело налившись свинцом,  
Особенно быстро несут их в карьер, под уклон.  
Какой-то изысканный негр с лиловым лицом,  
Смеясь, подаёт им... ах, нет, не манто, а кайло.  
«Мои бледнолицые братья, взгляните сюда. –  
И, зубы оскалив, им вниз указывает рукой. –  
Вот эта байда добывает железный руда,  
А эта фигня у неё называется ковш».  
И два чужестранца впадают немедленно в шок,  
И белые длани возносят к просторам небес.  
И смотрят, и смотрят они на машину с ковшом,  
И славят, и славят великий научный прогресс.  
Потом, о колено лохматый кокос расколол  
И связку бананов кромая стальным тесаком,  
Сидели они в окруженье жирафов и львов,  
И ветры, шурия, засыпали их жёлтым песком.  
Мигала луна, в океанской ныряя воде.  
Дошло в висках. Разрывалась на части душа.  
И плакали негры в объятиях белых людей,  
И пили абсент с шовинистами на брудершафт.  
...Лежал на песке сиротливо разбитый кокос.  
Два гостя, качаясь, на север с рассветом ушли.  
Домой – по пустыне – брели они в Лосиногорск,  
А в небе над ними летели, крича, журавли.*

Васильчиков задумался. Вера в волшебные зарубежные технологии всё ещё сидела в его голове, и он решился на новую попытку. Когда перелётных горняков в третий раз вызвали в директорский кабинет, один из них сказался больным. Его и впрямь мутило от многочасовых болтаний в воздухе, страны и континенты слились в сплошное месиво, а беспорядочные перемещения по часовым поясам довели беднягу до десинхроноза. Второй горняк оказался выносливее и предстал перед Васильчиковым в полной боевой готовности.

– Значит, так, – сказал гендиректор, – полетишь ты у меня, голубчик, в Бразилию.

– В Бразилию? – не удержался от стога горняк-путешественник и осмелился выдать себя дерзкое: – А поближе ничего не нашлось, Виктор Аркадьевич?

– Поближе? – взъерепенился Хозяин. – Я тебя отправлю поближе, мать твою так! В слесаря у меня пойдёшь, молотком постучишь... твою в дышло! Живо собирай чемодан – и в самолёт. И без технологий не возвращайся!

Делать было нечего: против воли начальства не попрёшь. Вспоминая недобрым словом Колумба, который открыл Америку, конкистадоров, которые её завоевали, и колонистов, которые принесли туда цивилизацию, наш герой погрузился в авиалайнер и снова взмыл в небо. Страна футболистов и диких обезьян ждала его с распростёртыми объятиями.

В Бразилии горняк ошивался с месяц, сходил на «Маракану», оттянулся на карнавале в Рио, совершил экскурсию в пампасы и обпился кофе всевозможных экзотических сортов. Вояжи, однако, измотали его до крайности, на родную землю по трапу он сошёл, еле держась на ногах, и тут же попросился в санаторий. Явившись к Васильчикову, он заявил, что никаких революционных щёбёночных технологий в Бразилии нет, породу там дробят так же, как в России, и он умоляет руководство дать ему хотя бы полгода отдыха, прежде чем послать в Монголию, Индонезию, на остров Пасхи или куда там ещё заблагорассудится Виктору Аркадьевичу.

Разъярённый Аркадьевич приказал ему немедленно отправляться в Китай, где, по слухам, уж точно имеются до зарезу нужные ЛОСИСу технологии. Горняк всхлипнул и положил на стол заявление об увольнении в связи с переходом на инвалидность.

В Китай отправили парочку других горняков, более крепких и любознательных. Но и оттуда они не привезли ничего, кроме бумажных фонариков и несварения желудка, случившегося от употребления непривычной восточной пищи. Потом были «паломничества» в Финляндию, Германию, США – все они завершились с одинаковым – нулевым – результатом. Шансы Васильчикова усидеть в директорском кресле тоже приближались к нулю, но в «Северпласте» неожиданно грянула реорганизация, холдинг начал дробиться на дивизионы, затем у него появились новые владельцы – словом, о ЛОСИСе временно забыли, Васильчиков получил передышку и, не дожидаясь, пока новые ребята предъявят ему старые претензии, принялся по собственному разумению повышать эффективность производства. ЛОСИС тоже стал

дробиться: из некогда могучей и объёмной по лосиногогорским меркам структуры одно за другим выщёлкивались вспомогательные подразделения. Они превращались в отдельные самостоятельные предприятия и заключали с комбинатом договоры на предоставление услуг. Это называлось модным словом «аутсорсинг».

За бортом оказались ремонтники, транспортники, энергетики; коллектив ЛОСИСа сократился втрое. Кроме того, прошла жёсткая чистка кадров, попросту говоря, сокращение. Особенно досталось женщинам. Васильчиков и прежде не очень охотно брал их на работу, бурча что-то про беременности, декреты и вечные бюллетени, а теперь, воспользовавшись случаем, вымел их из комбината почти подчистую. На встрече с выпускниками школ он долго распинаясь по поводу того, какая блестящая карьера уготована мальчикам, если они выберут профессию оператора термопласт-автомата или дробильщика. В завершение разговора раздался чей-то тонкий голосок: «А девочки?» – на что Васильчиков отреагировал: «Девочками мы не интересуемся».

## НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ И НЕИСТОВЫЙ КОЛЯ

Поюморить в «Синтетике» можно было только по очень большим праздникам, и то беззлобно, чтобы не ровён час не задеть чьё-нибудь достоинство. В Лосиногогорске иногда объявляли творческие конкурсы, я участвовал в них, но мне ни разу не досталось даже самого завалющего приза. Например, когда Дом культуры ЛОСИСа затеял конкурс на лучшую частушку об охране труда и технике безопасности (сокращённо именуемых ОТиТБ), я написал целую поэму. И начиналась она так:

*Эй, бросайте агрегаты  
И послушайте, ребята,  
Как сгорали мы в борьбе  
За ОТ и за ТБ.  
И, бригадой всей тупея,  
Сочиняли эпопею,  
Как электрик дядя Ваня  
В трансформатор влез по пьяни,  
И его – какое счастье! –  
Вместе с будкой – на запчасти –  
Разорвало подлеца.  
Ламца-дрица, аца-ца!*

Вышло, по-моему, достойно и очень педагогично, но жюри почему-то не оценило, и первое место занял шедевр, звучавший так:

*У нас все отлично знают:  
В цехе каску надевают.  
Мы хотим и вас призвать  
Спецодежду надевать.*

*Соблюдайте дисциплину,  
Будьте вы с ТБ дружны,  
Вас не уволят без причины,  
Будете всегда нужны!*

Технике безопасности на комбинате придавалось огромное значение. При управлении был создан отдел ОТиТБ, который возглавил молодой энергичный парень Коля Пароходов. Он с воодушевлением взялся за исполнение своих нелёгких обязанностей. Травматичность на комбинате была повышенной: работники ЛОСИСа умудрялись засовывать пальцы под движущуюся конвейерную ленту, опрокидывать экскаваторы (и, соответственно, опрокидываться вместе с ними), сбивать автомобилями шлагбаумы... В этом плане беспримерно отличился форвард комбинатовской хоккейной команды «Стальная пластмасса». Поскольку команда была непрофессиональной, его взяли на работу заливщиком, но в своём цеху он только числился, появляясь там хорошо если раз в неделю. И вот после одного из таких посещений он оседлал свой мотоцикл и стал на бешеной скорости нарезать круги по промплощадке, словно на трассе «Формулы-1». Его засекли охранники и погнались за ним на своём стареньком драндулете. Тогда он круто, как на коньках, вырулил на дорогу, ведущую к выезду с промышленной территории, но забыл, что на выезде находится КПП, и врезался с разгона прямо в будку дежурного. Будка грохнулась в текший за нею ручей, из которого постоянно несло отбросами. Дежуривший в ней охранник отделался шишкой на лбу, а гонщика свезли в медсанчасть с трещинами в рёбрах и вывихнутой рукой. Позже выяснилось, что он втихаря покуривал марихуану. Видимо, перед матчами она заменяла ему допинг.

Коле Пароходову было приказано предупредить возникновение несчастных случаев раз и навсегда. Он провёл расследование и установил, что всё дело в недостаточной сознательности трудящихся, и начал повышать её посредством наглядной агитации. По всему комбинату – на стендах, стенах и даже на столбах – были развешаны плакаты и листовки с предупредительными надписями: «Не превышай скорость!», «Не стой под стрелой!», «Не лезь мокрыми руками в распределительный щит!» Агитация смотрелась ярко и жутко, но народ не заметил заботы о себе и продолжал упрямо нарушать технику безопасности. Тогда Коля решил напрячь самодеятельность. Режиссёры Дома культуры поставили грандиозный спектакль о пользе охраны труда; ансамбль песни и пляски «Лосиногорочка» исполнил дюжину песен о производственных травмах и воплотил образы покалеченных тружеников в бодрой танцевальной пантомиме. Потом состоялся тот самый конкурс, в котором мне не повезло. Победителям были вручены подарки, выписаны денежные премии, а лучшие с точки зрения жюри частушки заняли два разворота нашей многострадальной «Синтетика».

Трудящиеся ЛОСИСа охотно участвовали в конкурсе, аплодировали певунам и танцорам, но повышения сознательности Коля так и не дождался. Будучи работником ответственным, он не опустил рук

и взялся за дело с другого конца. Каждый день он ездил по цехам и, если замечал какое-то нарушение, тут же останавливал производство, вешая на дверь цеха пломбу. Так продолжалось неделю, на исходе которой Колю вызвал к себе Васильчиков и, пересыпая речь известными выражениями, доходчиво объяснил, что борьба за дисциплину не должна сказываться на производительности труда. Колино рвение обернулось провалом месячного плана, поэтому от практики рейдов по цехам ему пришлось отказаться. Не желая признавать своё поражение, он вернулся к любимой наглядной агитации, но пожаловался на нехватку специалистов в отделе. Васильчиков, вопреки принципам, жмотничать не стал, и отдел охраны труда пополнился четырьмя профессионалами из числа непристроенных детей «оруженосцев». Коля засучил рукава и с удвоенной энергией стал рисовать плакаты.

Странно, но с ростом числа плакатов и частушек на тему техники безопасности сама безопасность не росла. Несчастные случаи продолжали происходить на комбинате с удручающей частотой, один другого нелепее. Специалисты отдела выбивались из сил, цеха были завалены циркулярами, памятками и инструкциями, а люди по-прежнему калечились. Думаю, внимательный Коля не мог не замечать, что в 80 процентах случаев имела место вовсе не халатность. Пальцы под ленту засовывались для того, чтобы сдвинуть её, проклятую, с места, когда она, продранная и разлохмаченная, застревала и не желала двигаться дальше. Экскаваторы опрокидывались из-за того, что их платформы были изношены до невозможности, а в шлагбаумы на авто врезались не только из-за обдолбанности наркотой, но и потому, что тормоза на грузовичках-развалюхах срабатывали через два раза на третий.

Изжить травматичность на корню было, наверное, невозможно, а вот снизить её представлялось делом вполне реальным, однако для этого надо было полностью обновить оборудование и транспортный парк. Коля знал об этом, но молчал, потому что не питал никаких иллюзий насчёт осуществимости столь глобального технического перевооружения. Знал и Васильчиков. И тоже молчал. Потому что наглядная агитация стоила дешево.

## **ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПЛАСТИНКИ**

Подозреваю, что мои неудачи на ниве творческих конкурсов объяснялись нелюбовью ко мне со стороны работников ДК. В начале своего тернистого пути в «Синтетике» я сдуру опубликовал одну байку, имевшую отношение к этому очагу культуры.

Дело было в эпоху, которую принято называть застойной. В Доме культуры должна была состояться ответственная партийная конференция. Подобные священные действия обставлялись тогда строго регламентированным образом: красная скатерть на столе президиума, портрет Ленина, пара-тройка бодрящих лозунгов на стенах и, разумеется, хоровое пение «Интернационала» в начале и в конце заседания. Последнее выглядело особенно эффектно: делегаты вставали и под фонограмму-«минусовку» затягивали привычные советскому



уху слова про скорое разрушение мира насилья и последний решительный бой.

Случилось так, что тогдашний звукорежиссёр ДК Еремеич накануне ответственного мероприятия слегка перебрал и чувствовал себя не очень хорошо. Тем не менее к началу конференции все микрофоны были включены, проверены, а рядом с проигрывателем лежала нужная пластинка. В зале собрались делегаты, председательствующий объявил о начале заседания, и солидные партработники, гремя стульями, поднялись, чтобы в едином порыве исполнить рабоче-крестьянский гимн.

Еремеич торопливо вынул пластинку из конверта и поставил её на диск проигрывателя. Всё бы хорошо, но впопыхах (да и голова всё ещё болела, зараза) он поставил её не той стороной. А на обороте была записана другая песня – тоже имевшая отношение к революции, но совсем не подходившая к случаю – «Яблочко»...

Словом, делегаты, что называется, выпали в осадок, гадая, петь им или, может быть, сразу плясать. Побледневший Еремеич спохватился, пластинку перевернул, однако торжественное начало конференции оказалось безнадежно испорченным. Говорят, взбешённый парторг в ближайшем перерыве вызвал Еремеича за дверь, всыпал ему по первое число, а на следующий день бедолагу и вовсе выперли с работы за несоответствие занимаемой должности.

Ничего оскорбительного для коллектива Дома культуры в этой байке не было, тем более что рассказывалось в ней о делах давно минувших дней. Однако ранимые «дэковцы» сочли это очернением славной истории своего заведения и затаили на меня обиду. По крайней мере, мне так казалось. Хотя, может, я и ошибался.

## Глава седьмая

### СПАСЕНИЕ МЭРА КУЗЬМИЧЁВА

#### ЛЕОНИД МУРОМЕЦ: ОДИН ПРОТИВ ПЯТЕРЫХ

На Лосиногорск обрушилось стихийное бедствие – перевыборы мэра. То, что Кузьмичёв пойдёт на второй срок, не подлежало ни малейшему сомнению. Сам он считал, что не только может, но и обязан осчастливить горожан своим повторным восшествием на муниципальный престол. Мания величия дала метастазы, и он с каждым днём воспринимал окружающую действительность всё неадекватнее. Ему всерьёз мерещилось, что лосиногорцы любят его без ума и готовы на всё, лишь бы мудрый кормчий Леонид Николаевич остался у власти. Положение усугубляли подпевалы из числа замов и других особ, приближенных к царственному телу: они наперебой уверяли шефа, что он победит с подавляющим преимуществом и для этого даже не нужно предпринимать усилий. Лишь незадолго до выборов выяснилось, что горизонт вовсе не безоблачен.

Зря мы, хороня «Северный перпендикуляр», сделали заключение, что в этом городе нет и не может быть оппозиции официальной

власти. Оппозиция была! Она только выжидала момент, чтобы показать когти. Расчёт был правильный: не высовываться до поры, чтобы не дать Кузьмичёву времени на подготовку ответного удара. Вместо этого – собраться с силами и вмазать в нужное время в нужное слабое место. Слабых мест у Леонида Николаевича было немало: частный таксопарк, зарегистрированный на имя супруги; дочка, отправленная учиться за границу, а потом там же выгодно пристроенная; частые командировки в курортные страны. Под умелой рукой всё это могло превратиться в убойный компромат. И умелые руки нашлись. С началом выборной кампании в Лосиногорске стали появляться подмётные листки с описаниями наиболее деликатных фактов биографии Леонида Николаевича. Нельзя сказать, что для большинства горожан они стали откровением, однако читали не без интереса. Вот чего не хватало нашему «Перпендикуляру»!

Половина разоблачений была явной брехнёй, но в сочетании с общеизвестной и безусловно правдивой информацией они шли «на ура». Из уст в уста передавались сплетни о миллионных счетах Кузьмичёва в швейцарском банке, о трёхэтажном особняке в Майами, яхте с вертолётной площадкой и приобретённом на интернет-аукционе футбольном клубе «Глазго Рейнджерс». Известная закономерность: чем нелепее слух, тем легче ему верят. Чёрной жемчужиной этой антикузьмичёвской атаки стала листовка, при изготовлении которой недруги мэра использовали самые продвинутые на тот момент компьютерные возможности. Они скачали с порносайтов «голубые» оргии и приделали одному из их участников голову Леонида Николаевича. Это был удар в прямом смысле ниже пояса. Кузьмичёв чувствовал себя попраным, оплётанным и растоптанным. Ему казалось, что все вокруг тычут в него пальцами и хохочут над его унижением.

Но он стоически перенёс и это испытание. Как ни в чём не бывало толкал речи на митингах и утренниках, вручал почётные грамоты ветеранам и передовикам, открывал и закрывал соревнования имени себя и строчил километровые интервью с самим собой для «Заполярной синтетики». Я снова подумал, что этот человек при всех своих уродливых перегибах достоин уважения. Он бился с врагами мужественно, открыто и был нацелен на борьбу до победного конца. Он гордился своим боевым настроем, а заодно и пронизательностью, которую я называл манией преследования: вот, дескать, все талдычили, что нет противников, а их эвон сколько... Наверное, в эти дни он воображал себя эпическим богатырём, рубящим головы дракону. Образ лавроносного триумфатора, к которому город привык за последние четыре года, на время сменился образом полководца, идущего на штурм бастионов. Я жалел, что шлем и латы вышли из употребления – предвыборный Кузьмичёв смотрелся бы в них отменно!

Вражий стан формально состоял из пяти человек. Фактически их было больше, ибо за каждым из претендентов на мэрское кресло стояла группа поддержки, рассчитывавшая отхватить свой кусок от сочного торта. Первым в списке числился городской скандалист, участвовавший во всех выборах, но завоевавший пока только скромное место в городском совете. Вторым был командир воинской части, выдвиг-

нувший свою кандидатуру по приказу из штаба (военное руководство давно уже ворчал по поводу того, что город слишком мало внимания уделяет расположенным в округе гарнизонам). Третий и четвертый кандидаты были «тёмными лошадьями»: они приехали в Лосиногорск недавно, как говорится, под выборы, и их поддерживала некая внешняя сила, о чьей природе можно было только гадать. Они шли на выборы в паре, и каждый из двоих готов был на решающем этапе отдать свои голоса партнёру.

Замыкал пятёрку лосиногорский алкаш Лёха. Решение баллотироваться в мэры пришло ему в голову после очередной выпитой поллитры. За Лёху вступилось всё железнодорожное депо, где он работал путевым монтером. Он пообещал товарищам по бригаде радужную жизнь, и те сказали, что встанут за него горой. Мужики пустили по кругу шапку и наскребли денег на тридцатисекундный телевизионный ролик.

В Лосиногорск прибыла съёмочная группа областного телевидения. В Лёхиной квартире дым стоял коромыслом, туда набилось человек сорок, желавших поглазеть, как Лёха будет выступать перед телекамерами. Оператор заявил, что необходимо пространство для съёмок. Часть гостей вытолкали на кухню и на балкон, остальные столпились в коридоре. Лёха нацепил свой лучший пиджак со значком ЛДПР на лацкане, повесил на стену портрет Жириновского, сел под ним на облезлый диван, взмахнул решительно кулаком и... замер, уставясь в зрачок камеры.

— Говорите же! — подбодрили его телевизионщики. — Смелее, мы потом смонтируем.

Лёха вылутился на них и, краснея, спросил:

— А чё говорить-то?

— У вас разве нет заготовленного текста? — удивились телевизионщики.

— Не-а, — признался Лёха и, задрав голову, с надеждой посмотрел на глянцевого Жириновского.

— Почему же вы не подготовились? Мы ведь заранее обговорили дату.

— Я... эта... думал, вы за меня всё скажете. Эта... как-нибудь культурно...

— Позвольте! — сказали телевизионщики. — Мы договорились, что снимем самый дешёвый ролик. Вы в кадре коротко излагаете тезисы своей программы. Разве нет?

— Вроде так, — ответил Лёха, всё больше краснея. — А вы... эта... не можете мне их написать?

Телевизионщики от изумления отпали:

— У вас нет программы?!

— Не-а...

— Как же вы идёте на выборы?

— Не знаю. — И Лёха с ненавистью взглянул на толпившихся в коридоре соратников.

— Извините, но мы ничем не можем вам помочь! — категорически изрекли телевизионщики и стали сматывать провода.

– Эта... погодите! – воскликнул Лёха, понимая, что его политический взлёт вот-вот сорвётся. – Я щас... Мы щас с мужиками сочиним. Мы быстро!

– У нас мало времени. Через час мы должны ехать назад.

– Управимся! Мы мигом!

Мужики сбегали за водкой и в закопчённой табачным дымом кухне принялись натужно рожать Лёхины тезисы. Время шло, телевизионщики возмущались, им налили по стопке, потом ещё по одной. Через два часа тезисы были готовы. Выпивший Лёха раздухарился. От бывшего смущения не осталось и следа. Он уселся на диван, закинул ногу на ногу, взял в руку тетрадный листок с каракулями и властно скомандовал оператору:

– Крути свою шарманку!

Съёмки заняли ещё часа три. Бухой оператор всё никак не мог поймать Лёху в рамку, потом Лёха сам начал выскакивать из кадра, размахивая тезисами и грозя кулаком Жириновскому. Кончилось тем, что телевизионщики остались у Лёхи ночевать, а наутро, с похмелья, переснимали ролик по новой. Кто-то из Лёхиных собутыльников случайно подтёрся вчерашними тезисами, а сочинять их сызнова были уже не в состоянии, поэтому Лёха лепил кошмарную отсебятину. Думаю, сивый мерин в лунную ночь бредил более связно и содержательно. Промучившись до вечера, телевизионщики поклялись никогда больше не приезжать в Лосиногорск.

Маргинальный Лёха, естественно, не считался серьёзным соперником Кузьмичёва. Вместе с гарнизонным полковником он ходил в заводных аутсайдерах в выборной гонке. Куда опаснее были «тёмные лошади» и непредсказуемый скандалист. Все они, понятно, отрецировались от листовок с компроматом на Кузьмичёва, но и ежу было ясно, что это дело кого-то из них. «Тёмные» развернулись по полной. Внешняя сила снабжала их хорошими деньгами, наштамповала им календариков, открыток, буклетов с призывами «Голосуй за...», записала на ТВ нормальные, не в пример Лёхиному, ролики, организовала агитприезд в Лосиногорск настоящих звёзд эстрады – короче, развернула планомерное наступление на позиции Кузьмичёва и постепенно отвоёвывала у него дюйм за дюймом. Достоверных рейтинговых подсчётов не велось, но мало-помалу становилось очевидным, что Леонид Николаевич на дистанции уже не лидер.

Теперь всё зависело от того, чью сторону займёт ЛОСИС. Только Васильчиков мог сломать хребет оборзевшим варягам. Захочет ли он это сделать? За четыре года отношения между ним и Кузьмичёвым как-то подостыли: Кузьмичёв вёл себя всё самостоятельнее, подчас игнорируя интересы Хозяина, и Васильчикову это не нравилось. Когда выборы были уже на носу, он получил возможность напомнить зарвавшемуся протезе, кто на самом деле в Лосиногорске главный. Зажатый в угол, Кузьмичёв пришёл к нему просить поддержки, и между ними состоялся предположительно такой разговор.

**ВАСИЛЬЧИКОВ:** Чтой-то ты, Лёня, совсем от рук отбился. Дорогу ко мне забыл, по телефону грубишь, на запросы не отвечаешь.

КУЗЬМИЧЁВ: Я? Да что вы, Виктор Аркадьич! Когда такое было?

ВАСИЛЬЧИКОВ: Да вот, в прошлом году просил я тебя по дружбе послабление моим новым специалистам сделать – поселить их бесплатно в общежитие. Ты мне что ответил? «У муниципалитета денег нет...» Было?

КУЗЬМИЧЁВ: Да, Виктор Аркадьич, их же полста человек пришло, а общежитие и так на ладан дышит... У вас же своя гостиница есть!

ВАСИЛЬЧИКОВ: Гостиница, Лёня, деньги должна зарабатывать. А этих гавриков нам «Северпласт» прислал. Плату требовать неудобно. А бесплатно их туда селить – рылом не вышли, вроде и не иностранцы, и не начальство какое. Вот я и попросил тебя. По дружбе, повторяю, попросил, а ты заартачился.

КУЗЬМИЧЁВ: Общежитие тоже зарабатывать должно, Виктор Аркадьич. Там уже тридцать лет ремонт не делали, все трубы текут...

ВАСИЛЬЧИКОВ: Слушай, Лёня, ты в мэрах остаться хочешь?

КУЗЬМИЧЁВ: Хочу, Виктор Аркадьич.

ВАСИЛЬЧИКОВ: Тогда молчи и не возражай. Я вот сейчас столкуюсь с этими заезжими, и вылетишь ты у меня из кабинетика как пробка из бутылки.

КУЗЬМИЧЁВ: Не надо, Виктор Аркадьич.

ВАСИЛЬЧИКОВ: То-то... А слушаться будешь?

КУЗЬМИЧЁВ: Буду, Виктор Аркадьич.

ВАСИЛЬЧИКОВ: Ладно, на том и порешили.

ЛОСИС, словно громадный лязгающий бронепоезд, выдвинулся против внешней силы. Васильчиков, понимая, что появление на мэрском посту чужого человека чревато пересмотром сложившихся в городе сфер влияния, не пожалел денег на организацию достойного отпора «тёмным». Кузьмичёв замелькал на экранах, календарики с его изображением и слоганом «Леонид Николаевич – наш мэр!» посыпались на головы горожан как тополиный пух. Агитаторов «тёмных» всеми правдами и неправдами выпирали из цехов комбината и муниципальных учреждений, зато тут и там раздавались призывы голосовать за «дорогого и любимого». Противостоять такой солидарности внешняя сила не могла. Всё-таки «тёмные» были здесь чужаками и могли рассчитывать лишь на финансовую поддержку, а её одной на сей раз оказалось недостаточно.

Затерявшийся в этой схватке скандалист снял свою кандидатуру, и во второй тур Кузьмичёв вышел с одним из «тёмных». На противника была обрушена вся административная мощь, и окончательная победа осталась за Леонидом Николаевичем. Он торжествовал: ещё четыре года всенародной любви были ему обеспечены. Доволен был и Васильчиков. Напомнил для проформы: «Смотри у меня, Лёня...» – и пожал Кузьмичёву руку, поздравляя с успехом. «Тёмные», потерпев поражение, убрались из города, но шорох, который они навели в эти несколько месяцев, стал темой городского фольклора.

## Глава восьмая

# ЗАГНАННЫХ ЖУРНАЛЮГ ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ТАК ЛИ?

## КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

Вот ведь какие неожиданные повороты случаются в жизни... Сидел я в редакции, никого не трогал, строгал какую-то туфтеню о выступлении Кузьмичёва на Дне пожилых людей. Вдруг раздался телефонный звонок, и в трубке послышался деревянный секретарский голос:

– Станислав Александрович? Сейчас с вами будет говорить Виктор Аркадьевич.

Вот это номер! Я обалдел по двум причинам сразу: во-первых, давненько никто не величал меня по имени-отчеству, а во-вторых – Виктор Аркадьевич?! Это явно какая-то ошибка. Разве может Будда спуститься с небес для беседы с неприкасаемым?

– Привет, Стас! – хлюпнуло в ухо из трубки. – Как жизнь?

– Здравствуйте, Виктор Аркадьевич, – отозвался я, ещё больше шалея от такого панибратства со стороны Хозяина. – Всё хорошо...

– Ты мне нужен. Зайди.

В трубке прерывисто загудело: отбой. Такова была манера Васильчикова – он регламентировал своё время до секунды и не тратил ни одного лишнего мгновения. Теряясь в догадках, я отложил статью и пошёл к нему в управление. Васильчиков встретил меня улыбкой, долженствовавшей обозначать приветливость, предложил сесть.

– С завтрашнего дня ты в «Синтетике» не работаешь, – шарахнул он меня по голове первой же репликой.

– Почему? – только и сумел вымолвить я.

– Будешь работать у меня, – безапелляционно сказал он.

– Кем?

– Пресс-секретарём.

– У вас же не было пресс-секретаря...

– Теперь будет. Оттуда приказали. – И он ткнул пальцем в потолок.

Это была новая мода – заводить на всех предприятиях, даже самых захудалых, пресс-службы. Головная контора «Северпласта» обзавелась ею уже давно и теперь обязала сделать то же самое организации, входившие в состав холдинга. Васильчиков потянулся к телефону.

– Позвоню Эмилии, пусть оформляет твой перевод.

– Нет! – закричал я, осознав, что лечу в пропасть. – Постойте!

Васильчиков положил руку на телефонный аппарат и уставился на меня.

– Постойте, – повторил я, – не надо... Почему меня? Я не справлюсь!

– Справишься! – уверенно произнёс Хозяин. – Дело нехитрое. Свяжу тебя с Ларионовым, он в «Северпласте» главный по пресс-

службам. Пообщаешься, просветишься... Ты пойми, выбирать мне не из кого. Ты да эта... как бишь?.. Оксана. Её не хочу – бабы мне не нужны. Остаёшься ты. Усёк?

Я сказал, что не хочу уходить из редакции.

– Балда! – сказал Васильчиков. – Я же тебя на хорошую зарплату беру. – Он назвал сумму, вдвое превышающую ту, которую я получал в редакции. – Кабинет тебе выделю, подчинённых наберёшь, начальником сделаешься. Плохо разве?

Я сказал, что с детства испытываю отвращение к руководящей работе и никогда не желал оказаться в роли руководителя.

– Ну и зря, – хмыкнул Васильчиков, – ничего ты не понимаешь в жизни. Руководящая работа – это здорово! Попробуешь – поймёшь.

– Но я не хочу!

– А тебя никто и не спрашивает. – Голос Васильчикова поплотнел, посуровел, в нём появились нотки раздражения. – Вариантов у тебя, голубь мой, нет. Я сказал: будешь пресс-секретарём – значит, будешь!

Он снял телефонную трубку и проговорил:

– Ленуся, набери мне Эмилию из «Синтетика».

С минуту мы сидели молча.

– Её нет, Виктор Аркадьевич, – услышал я писк секретарши.

– Набери мобильный, – рассерженно засопел Васильчиков, – она мне срочно нужна.

– Отключён, Виктор Аркадьевич, – доложила секретарша ещё через полминуты.

– Чтоб её!.. – Васильчиков швырнул трубку и громыхнул кулаком по столу. – Ладно, позже созвонимся.

Пока он пытался связаться с Эмилией, в голове у меня созрел план.

– Виктор Аркадьевич, – сказал я, – если я уйду, «Синтетика» умрёт.

– Как умрёт? – вскинулся он. – Почему умрёт?

– Вы правильно сказали: нас, пишущих, в «Синтетике» только двое. Если я уйду, Оксана газету не потянет.

– Ерунда! – махнул он рукой. – Это пусть Эмилия разбирается. Завалит газету – уволю к едрене фене.

– А как же новости комбината? – спросил я. – А статьи о производстве? Это ведь надо не один месяц вникать. Кроме меня, в «Синтетике» никто с этим не справится. Пусть сначала Эмилия найдёт нового человека, он походит со мной на планёрки, я объясню ему что к чему. Иначе загубим производственную тему...

Я наступил Васильчикову на большую мозоль. Производственную тему в газете губить нельзя было ни в коем случае.

– К чему ты клонишь? – буркнул он сердито. – Я своего решения не изменю.

Я знал, что своего решения он не изменит. Но был шанс оттянуть мой переход под его прямое руководство.

– Давайте я пока останусь в редакции и буду исполнять обязанности пресс-секретаря по совместительству.

– Ты ж надорвёшься!

– Постараюсь не надорваться.

Тем и закончился наш разговор. Я пересказал его в подробностях Эмилии. Она вздохнула:

– Всё равно он тебя перетащит. Чтоб мне до пенсии не дожить... Если глаз на тебя положил, непременно перетащит...

Так начался самый адский промежуток моей лосиногорской жизни. Первый же разговор с господином Ларионовым определил круг моих пресс-секретарских обязанностей. Я должен был находиться в курсе всех событий, происходящих на комбинате, и каждую неделю подготавливать по пять-десять пресс-релизов, которые отправлялись по электронке в «Северпласт». Там ларионовские помощники отбирали наиболее, на их взгляд, интересное для размещения на официальном сайте холдинга и в печатных изданиях. Кроме того, я участвовал в заочных конференциях. По понедельникам они проводились посредством телевещания (в управлении ЛОСИСа была смонтирована специальная система, обеспечивавшая многостороннюю телесвязь), а по четвергам – при помощи телефона. Мы, руководители пресс-служб всех предприятий, находившихся под крылом «Северпласта», в режиме реального присутствия обменивались новостями и выслушивали от Ларионова замечания и указания. Постичь их смысл было нелегко, поскольку наш начальник, щеголя образованностью, любил вставлять в свою речь иностранные слова и малопонятные термины.

– О бэк-граундах, о бэк-граундах не забывайте! – заклинал он. – И побольше предложений по поводу майнинга, тогда будет вам от нас протекшн и полный респект...

Эта абракадабра помимо воли въедалась в мозг, и я стал замечать, что и сам постепенно отвыкаю от русского языка.

*Донт хэв пул-тайм.  
Зато ай хэв способность  
Любой бэк-граунд превратить в съедобность,  
Преобразив его посредством сметки  
В приятное подобие конфетки.  
Я знаю, что я бьютифул спичрайтер,  
Арбайтер, трайдер, файтер и провайдер.  
Латентен я, местами креативен  
И, что немаловажно, легитимен.  
Башка с утра трещала от сентенций  
По поводу потенций, компетенций,  
Субвенций, интервенций, конвергенций,  
Тенденций, консистенций, инфлюэнций,  
А также индугенций и конвенций  
И, кажется, ещё реминисценций –  
Как результат прочитанных книженций.  
Май хобби – это сёрфинг, спиннинг, дансинг,  
А также дайвинг, майнинг и франчайзинг.  
Но, если честно, все свои нафрузки  
Хочу послать я в...  
Как это по-русски?*



Я был самым молодым из пресс-секретарей, Ларионов относился ко мне по-отечески и ласково журил, когда я присылал ему не те «сентенции».

– Ничего, Станислав, научитесь! – добавлял он, чтобы я сильно не расстраивался.

Меня это мало трогало.

Если раньше я ходил только на расширенные оперативки по средам, то теперь мне вменили в обязанность посещать ежедневные утренние летучки, которые комбинатовские остряки называли утренними намазами. Это было безо всяких оговорок ритуальное действо. Без десяти девять в приёмной, перед дверью гендиректорского кабинета, собирались «оруженосцы» и примкнувший к ним я. На стене висел включённый радиоприёмник. Без пяти девять все выстраивались по ранжиру, в соответствии с важностью занимаемых должностей (я, естественно, становился в хвосте), разговоры затихали, и слышно было только бормотание приёмника. Ровно в девять, с началом шестого сигнала точного времени, стоявший первым Роман открывал дверь, и мы вереницей входили в кабинет Васильчикова. Тот уже восседал во главе длинного стола. Мы чинно рассаживались на строго определённые места и строго по очереди докладывали обстановку. Мне докладывать было совершенно нечего, и, когда очередь доходила до меня, я повторял заученную фразу:

– Новостей нет. Вопросы решаются в рабочем порядке.

Поначалу Васильчикова это устраивало, но потом он стал выражать недовольство:

– Что это у тебя никогда никаких новостей? Волянишь, брат?

Пришлось нести всякую околесицу: я рассказывал, как мило мы трепались вчера с Ларионовым, какое ЧП произошло в «северпластовском» филиале в Карелии, какой навороченный станок купили себе наши смежники из Новокузнецка. «Оруженосцы» сидели с кирпичными харями, и я не мог понять, слушают меня или нет. Впрочем, сами они несли такую же ахинею. Смысл проведения этих летучек оставался для меня неведомым. Однажды Васильчиков убыл в командировку. Я подумал, что летучки не будет, но встретившийся мне Василий Иванович опроверг это предположение и погрозил пальцем:

– Завтра как обычно. Смотри, не опаздывай!

Без десяти девять вся наша компания собралась в приёмной. Кабинет Васильчикова был заперт, но секретарша, работавшая здесь уже лет пятнадцать и хорошо знакомая с порядками ЛОСИСа, открыла замок, и мы, как солдаты на плацу, выстроились в шеренгу. Ритуал не изменился ни на йоту: все безмолвно слушали радио, и точно по сигналу Роман отворил дверь. Мы гуськом прошествовали в пустой кабинет и расселись по своим местам. Кресло Хозяина осталось незанятым. Несколько мгновений сидели в молчании, затем Роман, как старший по рангу, сказал:

– Если важных сообщений нет, все свободны.

Когда после этого мы шли по коридору, я спросил кого-то из «оруженосцев», для чего проводятся эти утренние посиделки. Оказалось, что их начали устраивать в дни противостояния с «Финансо-

вым деятелем». Васильчиков собирал по утрам приближённых и пересчитывал их по головам – не захватили ли кого-нибудь в плен?

– Но ведь с «Деятелем» давно покончено, – сказал я. – Для чего же мы собираемся сейчас?

– Для чего? – переспросил «оруженосец» и сосредоточенно поскрёб затылок. – А шут знает, для чего... Обычай такой.

Этот «старый добрый кавказский обычай» отнимал у меня драгоценное время. Его и прежде не хватало, а нынче я просто разрывался. Пресс-секретарство в сочетании с газетной подёнщиной съедали весь день и половину ночи. Коллеги по «Синтетике» видели моё состояние и старались по возможности не нагружать меня лишней писаниной и походами по мероприятиям. Из-за этого добавилось хлопот Оксане, и скоро она тоже начала выдыхаться. Я напомнил Васильчикову, что он обещал дать мне помощников.

– Был бы ты двумя ногами в ЛОСИСе, тогда, может, и дал бы, – ответил он, поразив меня как оригинальным словопостроением, так и парадоксальностью своей логики.

Месяц спустя, когда мы с Оксаной превратились от переутомления в зелёных доходяг, он всё же смилостивился и разрешил Эмилии взять в редакцию ещё кого-нибудь на полставки. Эмилия кинулась искать пишущих, но в Лосиногорске с ними была напряжёнка, и мы добились только увеличения наплыва графоманов, которые валом повалили в редакцию, предлагая свои услуги. С большим трудом Эмилия отобрала из их несметного числа девочку с педагогическим образованием, которая писала более-менее грамотно.

Девочку звали Инной. Ей было лет двадцать с небольшим. Из школы, где она преподавала физику, её выперли в связи с сокращением штатов. Она долго искала работу и в конце концов пристроилась к нам. Взяли её не за способности – стиль у неё изрядно хромал, с изложением мыслей тоже были проблемы, зато имелись два других весьма ценных качества: в отличие от большинства графоманов, она оценивала свой уровень вполне объективно и, что очень важно в нашей работе, была человеком мобильным и безотказным. Её можно было заслать на самое тягостное совещание, на самый отвратный концерт или уличное балаганное шоу под проливным дождём. Она никогда не спорила, не отнекивалась и не возмущалась – брала диктофон, фотоаппарат и топала в указанном направлении.

Появление Инки в некоторой степени разгрузило нас с Оксаной. Сначала Эмилия посылала её на мероприятия, которые не требовали детального и выверенного отписывания, потом, убедившись, что та справляется, стала припрягать её к работе более ответственной. Инка начала время от времени замещать меня на аппаратных совещаниях в мэрии. Она была совсем не похожа на нас с Оксаной: никогда не задумывалась над высокими материями, не терзалась по поводу отсутствия свободы слова, не испытывала творческих потуг. Она просто тянула свою ляжку, как волжский бурлак, и ворчала только по типично обывательским поводам: что в редакции низкая зарплата, что деньги выдают с задержками, что стол, за которым она сидит, вот-вот развалится, что люминесцентные лампы в редакции жутко

гудят, а из щелей в окне сквозит. Мы быстро привыкли к этому ворчанию и не обращали на него внимания. Наоборот, оно было даже к месту. Инка привнесла в нашу застоявшуюся атмосферу немного живого мещанства, той житейской простоты, от которой наши журналюжки мозги уже отвыкли.

Она никогда не спрашивала, зачем нужно писать ту или иную статью и почему её надо писать именно так. Благословляя её на отсиживание мэрских планёрок, я дал ей несколько советов: кого слушать больше, кого меньше, сколько раз упоминать в тексте имя Леонида Николаевича, какими эпитетами снабжать его высказывания. Инка следовала моим наставлениям неукоснительно. Кузьмичёв, поначалу отнёсшийся к ней настороженно, уже через две-три недели оттаял, а затем и вовсе потребовал, чтобы вместо неблагонадёжного меня аппаратные совещания освещала Инка. Узнав об этом, я почувствовал бурный прилив радости и весь день ходил со счастливой физиономией.

Не скажу, что с Инкой не было мороки. Газетное словоплетение было для неё процессом трудоёмким, и она часто зависала, если требовалось состряпать что-нибудь пространное и водянистое. Жалобно хлопая густыми ресницами, она подходила ко мне или к Оксане и просила помочь. Мы помогали. Всё-таки это отнимало меньше времени, чем присутствие на заседаниях. Мы дополняли Инкины дубовые тексты своими цветистыми пассажами, и получалось что-то смахивавшее на письмо Дяди Фёдора к родителям, написанное в соавторстве с Матроскиным и Шариком. Ничего, «Синтетика» печатала и не такую дичь...

## **«КАРТОННЫЕ МАЛЬЧИКИ» ПРЕОБРАЖАЮТСЯ**

Насильно втянутый в орбиту ЛОСИСа, я волей-неволей присматривался к людям, которые окружали меня в кабинетах и коридорах комбинатовского управления, и обнаружил, что это уже не совсем тот контингент, что обретался здесь каких-нибудь три-четыре года назад. Раньше «картонные мальчики» напоминали новых русских первого разлива: жабья надутость из-за принадлежности к элитарному клану никак не вязалась с люмпенскими рылами и грубой неотёсанностью. Со временем этот класс сменился другим. Теперь по управлению разгуливали одинаковые, будто клонированные, пареньки с деловыми причёсками и бесцветно-вежливыми манерами. Они хорошо владели английским, охотно рассуждали о преимуществах и недостатках компьютерных программ и всегда делали вид, что заняты по самое не хочу.

У меня была возможность изучить их подробно, потому что, став пресс-секретарём (или, как по-другому называлась моя должность, специалистом по связям с общественностью), я в их глазах перешёл в разряд людей, с которыми уже не зазорно было общаться таким важным персонам, как они. Более того, мои посещения «утренних намазов» говорили о приобщённости к неким высшим тайнам, а это

вам не хухры-мухры. Короче, меня стали узнавать, со мной стали здороваться, и даже «оруженосцы», прежде в упор меня не видевшие, не чурались кивнуть мне при встрече. Прогресс!

«Картонные мальчики» при ближайшем рассмотрении меня не впечатлили. Говорить с ними о чём-то обыкновенном, человеческом было невозможно. Их головы переполняли исключительно деловые вопросы, а также варианты карьерного продвижения. Это новое поколение взрастало под пристальным наблюдением «Северпласта». Оттуда Васильчикову спустили указивку: всячески поощрять талантливую молодёжь. Никто и не думал возражать. Талантливых юных родственников начальства было хоть отбавляй, и Васильчиков принялся поощрять их в соответствии со спущенными оттуда же, из «Северпласта», методиками. Для мальчиков придумывали должности и отделы, их посылали на обучение и стажировку за границу, а когда они возвращались, наиболее бойких «Северпласт» забирал себе. Кое-кто из них поднялся затем очень высоко. Я и сейчас иногда вижу их по телевизору, читаю о них в центральной прессе и думаю о том, какой путь из грязи в князи проделали они практически на моих глазах.

## ВОЗВЫШЕНИЕ ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

«Картонные мальчики» модифицировались, но одно оставалось неизменным: покуда человек работал в системе ЛОСИСа, он был холопом Васильчикова. Хозяин всё так же гнобил своих «крепостных», не обращая внимания на их меняющиеся манеры, причёски и костюмы. Мальчики терпели это потому, что каждый мечтал в будущем покинуть Лосиногорск и подняться повыше. Был лишь один человек, которого всецело устраивало его нынешнее положение. Речь идёт о Василии Ивановиче. Адъютант его превосходительства со временем стал самой заметной после босса фигурой на комбинате. Он всюду как тень следовал за Васильчиковым, и тот настолько свыкся с его присутствием, что действительно начал считать Василия Ивановича незаменимым. Василий Иванович лез из кожи вон, чтобы утвердить гендиректора в этом мнении. Он больше и громче других говорил на планёрках, набрасывался с яростной критикой на всех, по кому скользил недовольный взор Виктора Аркадьевича, изображал из себя пламенного борца за интересы родного комбината и совал нос во все дела, включая те, в которых не разбирался ни на грамм.

Накануне выборов мэра, когда весы колебались между Кузьмичёвым и «тёмными», Васильчиков поручил Василию Ивановичу «приглядывать за газетой», то есть отрядил его к нам в наблюдатели. Василий Иванович понял это по-своему и устроил в редакции такой шумер, что Эмилия на два дня слегла с нервным потрясением. Ему, бывшему директору «ремеслухи», казалось, что только он один знает, как правильно делать газету. По пять раз на дню он наведывался в редакцию, непрерывно бомбил нас по телефону и доставал своими дурацкими замечаниями. Зато когда номер выходил из печати, он встречал машину со свежим тиражом у редакционного крылечка, выхватывал

из пачки газету и мчался с ней к Васильчикову, чтобы показать, какой он, Василий Иванович, молодец. Дошло до того, что Васильчиков заявил на планёрке, будто Василий Иванович, благодаря своим безграничным дарованиям, делает «Синтетику» в одиночку и не мешало бы нам, бездарным журналюгам, кое-чему у него поучиться. Неизвестно, чем бы это закончилось, но, к счастью, выборы миновали, и универсального Василия Ивановича перебросили на другой фронт.

Назревал юбилей ЛОСИСа, Дому культуры было поручено с минимальными затратами организовать суперпраздник. Куратором назначили Василия Ивановича. Подобно урагану, он ворвался в ДК и, веером рассыпая указания, стал носиться по гримёркам и репетиционным залам. Сценарий был раскритикован вдребезги, актёры признаны бездарными, певцы – безголосыми, песни – недостаточно патриотичными и вообще не соответствующими моменту. Запуганные режиссёры начали срочно всё переделывать, актёров направили для повышения квалификации в областной драмтеатр, певцы до хрипоты упражнялись с преподавателями музыкальной школы. Даже уборщицы оказались втянутыми в творческий процесс – они сидели у себя в каптёрках, перелистывали пожелтевшие песенники и подбирали хоровым коллективам достойный репертуар. Юбилейное торжество прошло на высоком идейно-художественном уровне и смотрелось ужасно. За его организацию Василий Иванович получил премию, персональную благодарность от Васильчикова и стал общенародным посмешищем. Это, впрочем, его нисколько не смущало.

## ТУПО БАНАЛЬНО

Пошёл третий месяц моих пресс-секретарских мытарств. Я совсем извёлся, намозоленная в результате сидения на жёстких пластиковых стульях пятая точка немилосердно болела, а под крышкой черепа перекипала злость, степень которой нельзя передать никакими печатными словами. Я сидел на летучках, планёрках, оперативках, явочных и селекторных совещаниях, телеконференциях и профсоюзных собраниях, смотрел на Васильчикова и его «оруженосцев», на «картонных мальчиков», и в голове само собой складывалось:

*Я б Вас прибил. Прибить ещё, быть может,  
Вас захотят другие, но – увы –  
Такой пустяк Вас вовсе не тревожит.  
Как счастливы, как безмятежны Вы!  
Я б Вас прибил – кайлом или лопатой,  
Чтоб кости вдрызг и потроха вразлёт!  
Я б Вас прибил. Так нежно, аккуратно,  
Как Вас никто на свете не прибьёт.*

Участие во всём этом укрепило меня в мысли, что для того, чтобы спокойно чувствовать себя в бюрократической среде, нужно лишиться многих качеств, делающих человека человеком. Нужно вообще стать

ненормальным. Не верите? В каком нормальном мозгу могло родиться, например, услышанное мной на заседании профкома заявление: «Чтобы ребёнок имел право на льготы за счёт предприятия, он должен быть зачат членом профсоюза»? Присутствовавшие проглотили это не моргнув глазом, засмеялись всего двое или трое! Ну что тут можно сказать...

Если раньше моё отупение происходило хотя и верно, но медленно, то нынче этот процесс начал развиваться со всё возрастающей стремительностью. Я превращался в дерево, в одного из «картонных мальчиков», только, в отличие от них, у меня не было никаких амбиций и планов, связанных с работой в ЛОСИСе и разветвлённой системе «Северпласта». Будь у меня капля их практичности, я бы наверняка избрал другую тактику, стал бы ненавязчиво (а может, и навязчиво – почему нет?) доказывать Ларионову свою профессиональную ценность, плавно перетекающую а незаменимость, и, глядишь, выбился бы из местечковых журналюг в какие-никакие начальнички. Не исключено, что меня пристроили бы в «северпластовской» канцелярии, благо пресс-служба там была раздута до безобразия.

Но я не выбирал никакой тактики. Меня тошнило от одной мысли, что я буду всю жизнь писать о пластмассе и отсиживать положенное время на совещаниях, выслушивая шизофренический бубнёж. Даже в кошмарном сне не могла мне привидеться такая перспектива. Между тем я помимо воли вращался корнями в чавкающую трясиину ЛОСИСа. Бороться с этим становилось всё труднее и труднее. На оперативках по средам я уже не сидел за спинами в «ложе прессы» – мне отвели место за столом, рядом с начальником службы сбыта. Место оказалось очень неудобным: прямо передо мной, за противоположным краем стола, восседал Васильчиков, и мне казалось, что он все три часа буравит меня своим пристальным взглядом. Чтобы не видеть этих глаз, я низко нагибался над блокнотом и делал вид, что старательно записываю всё, что говорят окружающие. Никто, даже любопытный сбытовик, норовивший, словно нерадивый школьник, заглянуть в мои записи, не догадывался, что в блокноте появляются строчки, предназначенные совсем не для пресс-релизов и комбинатовских новостей в «Синтетике».

Думаю, за такое творчество, попадись оно Васильчикову, меня бы расстреляли.

Но всё закончилось бескровно и просто. Я пошёл к знакомому врачу, мы раскатали вместе бутылку водки, и он написал мне справку, из которой следовало, что я страдаю редким заболеванием, не позволяющим мне умственно перенапрягаться. С этой справкой явился я к Васильчикову, сделал покаянное лицо и сказал, что мне, конечно, очень, очень жаль, но я не в состоянии более исполнять обязанности специалиста по связям с общественностью. К этим словам я присовокупил заверения в совершеннейшем почтении к уважаемому Виктору Аркадьевичу и сердечную благодарность за навыки, полученные под его чутким руководством. Васильчиков выслушал меня хмуро, повертел в руках мою справку, буркнул:

– И кого я теперь возьму вместо тебя?

– Свято место пусто не бывает, – напомнил я ему прописную истину. Уже через неделю после моего ухода за столом в конференц-зале сидела бойкая педагогиня, найденная Васильчиковым в лосиногорской школе, где она прозябала в должности логопеда. В руководители пресс-службы её взяли за то, что она написала в «Синтетику» две лирические зарисовки о бездомных кошках и сердобольных бабушках и сделала при этом поразительно мало грамматических ошибок. При всей своей нелюбви к женскому полу, Васильчикову пришлось согласиться на этот вариант, поскольку других вариантов просто не было. Педагогиня оценила сделанный фортуной царский подарок и вцепилась в него обеими руками. На оперативках и утренних «намазах» она глядела Васильчикову в рот, выражая безграничную преданность и восхищение его гениальностью. Заметив это, он подобрел настолько, что повысил ей оклад и разрешил взять двух помощниц из числа её школьных подруг. Втроём они выполняли ту работу, с которой я справлялся в одно лицо. Пресс-релизы, очерки и репортажи о едином трудовом порыве комбинатовского коллектива, которыми они обильно снабжали средства массовой информации, в том числе «Заполярную синтетику», умиляли меня своей ученической беспомощностью: «Замечательно трудится в упаковочном цехе Иванов Пётр Сидорович. На данном участке производства он работает уже двадцать пять лет. Товарищи по цеху очень хорошо отзываются о данном работнике. Данные отзывы подтверждаются благодарностями, которые Пётр Сидорович регулярно получает со стороны руководства...» Как тут было не поёрничать!

*По данной теме, что была дана мне,  
Я написала данный матерьял,  
Хотя послать хотелось к данной маме  
Тех, кто задание данное мне дал.  
Вот данный работага с данным ломом  
Корёжит шпалу, громко матерясь.  
А я строчу в блокнот за словом слово.  
Хрустит в кармане данный мне аванс.  
Ах, кто бы знал, как мне с утра погано!  
Мне хочется беситься и реветь.  
Но нет, нельзя – придёт редактор данный  
И настучит по данной голове.*

Сбросив с себя пресс-секретарское ярмо, я вернулся к своим обычным обязанностям в редакции «Синтетики». Моё недолгое хождение в ЛОСИС имело, по крайней мере, один положительный результат: Инку оставили у нас в штате, и она худо-бедно помогала нам с Оксаной заполнять газетную площадь.

В зале заседаний я снова сидел на шатком стуле за спинами «картонных мальчиков», которые на следующий же день после понижения моего статуса перестали со мной здороваться, потому что в их понимании я опять угодил в касту неприкасаемых. Васильчиков уже не сверлил меня взглядом, и я испытал по этому поводу невероят-

ное облегчение. Я не знал ещё, что вслед за карьерой пресс-секретаря завершится и моя карьера провинциального журналиста.

## Глава девятая

# БОЛТ И ГРАБЛИ

## ИЗГНАНИЕ ИЗ АДА

«Синтетика» влачила жалкое существование подневольной газеты, но внешняя её покорность не могла обмануть наших бдительных учредителей. Они чуяли (уж не знаю чем – кожей, нервами, печёнкой), что в головах у нас барахтаются шальные мысли о неповиновении, логически порождающие желание вырваться из цепей. И пусть это были всего лишь несбыточные мечты, и пусть цепи опутывали нас намертво – ни Кузьмичёв, ни Васильчиков не могли чувствовать себя в безопасности. «Мысли внарезку», «Северный перпендикуляр», оппозиция, обнаружившаяся в городе накануне перевыборов мэра – всё это не давало им покоя. «Синтетика», главный, в силу своей единственности, информационно-пропагандистский рупор Лосиногорска, требовала приурочения полного и окончательного.

Летним вечером, когда мы, сдав номер, устроили себе небольшую передышку, в редакцию вошла Эмилия и потерянно сообщила:

– Меня увольняют.

Морально мы были к этому готовы, но всё же случилось в высшей степени внезапно. Васильчиков с Кузьмичёвым при помощи своих юристов устроили так, что в редакции были обнаружены серьёзные нарушения (а мы-то ещё гадали: к чему столько проверок в последние месяцы?), за которые Эмилию полагалось гнать поганой метлой. При наличии опытных адвокатов, способных противостоять объединённым силам ЛОСИСа и мэрии, она бы эти обвинения опровергла, но опытные адвокаты стоили больших денег... Кузьмичёв решил напоследок проявить благородство и предложил ей уволиться по-хорошему – то бишь по собственному желанию.

Эмилия никогда не была ангелом, часто выдержка изменяла ей, и вообще, она была совершенно никудышным дипломатом, что во многом испортило наши отношения с учредителями, но при этом интересы «Синтетики» и нас, работавших в редакции, оставались для неё превыше собственных. С её уходом наш мирок разрушился.

Эмилия ушла тихо. Мы выпили вина и распрощались. Позже она устроилась на работу в соседнем городе, куда ездила вместе со строителями Кротова. Наши личные отношения с ней разладились – очевидно, воспоминания о «Синтетике» не вызывали у неё положительных эмоций.

Вопрос о том, кто придёт в редакцию вместо неё, несколько дней оставался открытым. То есть наши хозяева, естественно, подобрали кандидатуру заранее, однако темнили до последнего, заставляя нас терзаться догадками. Нам сказали только, что это будет человек



«исключительно лояльный» к учредителям. Впрочем, мы это знали и так. Версии выдвигались самые разнообразные. Как я уже писал выше, профессиональных газетчиков, кроме нас, в городе не было, поэтому в начальники нам явно прочили дилетанта – скорее всего, кого-то из «картонных мальчиков».

## ПРИШЕЛЕЦ

Оправдались наши худшие опасения. Руководителем «Синтетике», с лёгкой руки Васильчикова, был назначен человек, настолько далёкий от газетного дела, что, когда я узнал его имя, меня чуть не хватил кондратий.

Представьте себе зашуганное существо с негромким заикающимся голоском и жалобно-покорной внешностью. Работало оно когда-то водителем самосвала, но затем по какому-то недоразумению окончил заочно педагогический институт и стало работать мастером в городской «хабзайке». Оттуда его перетащил в ЛОСИС Василий Иванович, по примеру гендиректора надумавший обзавестись личной свитой, которая оттеняла бы его вельможное великолепие. Существо не сопротивлялось – оно, как подгоняемый хворостиной телёнок, шло туда, куда его направляли. Поэтому, когда его вызвал к себе Васильчиков и приказал идти работать редактором в газету, существо только кивнуло и сразу согласилось, обрадованное уже тем, что не получило от начальства нагоняй.

Существо звали Михаилом Антоновичем Замориним. Когда он собрал нас, редакционный коллектив, для знакомства, мы поинтересовались, был ли в его 45-летней биографии хоть один эпизод, связанный с журналистикой. Михаил Антонович покраснел и сказал: «У меня в школе была четвёрка по русскому языку». Позже выяснилось, что для него проблема – связать два слова не то что письменно, но даже и устно. «Синтетика» перевидала многих редакторов, но этот был самым убогим, самым жалким, беспомощным и позорным. Принимая от Эмилии хозяйство, он со скучающим видом слушал её пояснения по поводу особенностей вёрстки, наших взаимоотношений с типографией и газетными киосками, сезонных колебаний тиража. Лишь когда увидел редакционную машину, слегка оживился, стал заглядывать под капот и в багажник, трогать рычаги и нажимать на педали. Это было единственное, в чём он действительно разбирался.

Хозяева не требовали от него никакого профессионализма. Газета могла быть скучной, нелепой, глупой, смешной, безграмотной – какой угодно, только бы содержание её даже в малом не противоречило политике Кузьмичёва и Васильчикова. Заморин, как старый служака, воспитанный ещё прежней партийной системой, обязан был вытравить из редакции вольнодумство и окончательно превратить нас в зомби, лишённых не только права, но и способности мыслить самостоятельно. С его приходом в «Синтетике» воцарилась душная, невыносимо тяжёлая атмосфера. Лариса почувствовала это сразу и ушла на липовый больничный с последующим увольнением. Ей было хорошо – её

мог содержать муж-коммерсант, незадолго до того открывший свой второй магазин.

Нам деваться было некуда. Мы продолжали работать и стали свидетелями трагикомического действия. После того как редакция осталась без верстальщика, в отлаженном процессе произошёл серьёзный сбой. За два дня до выхода очередного номера Заморин засуетился: он допёр вдруг, что газета в ближайшую субботу рискует не выйти, и тогда ему здорово влетит. Страх перед наказанием был для этого человека единственным стимулом, заставлявшим его совершать какие-то действия. По городу был брошен клич: «Требуется опытный компьютерщик со знанием программы Adobe PageMaker и основ газетной вёрстки». Честное слово, я и не подозревал, что в маленьком Лосиногорске столько одарённых программистов! Они потянулись к нам таким же нескончаемым потоком, каким тянулись графоманы. Их было больше, чем саранчи на южных полях. Заморин принимал всех, и каждому давал возможность попробовать себя в роли верстальщика. В нашу компьютерную выстроилась очередь, слышался галдёж, специалисты отталкивали друг друга от заветного кресла и наперебой предлагали разнообразные варианты вёрстки полос. Электронный макет «Синтетика» каждую минуту принимал новые, всё более фантастические формы.

Наступила ночь, компьютерщики не расходились. Занятие увлекло их, они верстали и перевёрстывали. Заморин стоял рядом и блаженно улыбался, довольный своей расторопностью. Под утро, однако, улыбка сошла с его лица. До момента, когда номер следовало отправлять в типографию, оставалось менее суток, а газета не была свёрстана даже на четверть. К вечеру поток специалистов иссяк, многие, наигравшись, разошлись по домам, задержалось только человек семь – самых стойких. Заморин, теряя самообладание, упрашивал их сделать хоть что-нибудь. Было принято единственно возможное решение: специалисты притащили в редакцию собственные компьютеры, сволокли в один кабинет все наши столы, расселись по углам и принялись верстать – каждый по две полосы. Стало тихо, они не мешали друг другу, и уж, конечно, им не мешал Заморин, который на цыпочках ходил от стола к столу и заглядывал через головы, силясь разглядеть на экранах мониторов очертания будущего номера.

Было уже далеко за полночь, ждать надоело, и я ушёл домой. Придя на работу утром, я увидел следующее: из компьютерной, шатаясь и хватаясь руками за стены, вышел со стеклянными глазами один из вчерашних специалистов. Он прошёл мимо меня, никого и ничего не замечая, и вывалился из редакции на улицу. Я заглянул в компьютерную. Дышать там было невозможно – воздух, загустевший и лишённый кислорода, отказывался проникать в лёгкие. Я увидел последствия ночных бдений: змеившиеся по полу провода, забытые компьютерные запчасти на столах, грязные чашки с остатками кофе. В приёмной Тамара стучала пальцами по клавиатуре, набирала какое-то кузьмичёвское постановление.

– А где начальство? – спросил я.

– Там, – она кивнула на редакторский кабинет.

– Газету сделали?

– Сделали. Сейчас повезут в типографию.

Я посмотрел на часы: мы конкретно выбились из графика, но можно было уговорить типографских девушек пойти нам навстречу. Из кабинета вышел Заморин. Лицо его было жёлто-зелёным, руки подрагивали. Походкой обкуренного нарка он пересёк приёмную, но тут в кабинете за его спиной зазвонил телефон. Произошла мгновенная метаморфоза: Заморин встрепенулся, его короткие ножки спружинили, и он кузнечиком прыгнул обратно. Дверь за собой он не закрыл, и мы с Тamarой услышали:

– Да! Заморин у аппарата. Виктор Аркадьевич? Доброе утро, Виктор Аркадьевич! Конечно, Виктор Аркадьевич! Разумеется, мы всё сделали. Трудности? Никаких трудностей, Виктор Аркадьевич! Я справляюсь... Так точно, Виктор Аркадьевич! Буду стараться. Спасибо, Виктор Аркадьевич! Я оправдаю...

Завершив этот волнительный для себя разговор, он снова вышел в приёмную и доверительно сообщил:

– ОТТУДА звонили! Спрашивали, не сорвём ли выпуск... Я сказал, что ляжем костями! Правда? – И он умоляюще посмотрел на нас своими часто моргавшими глазами.

Диски с макетом он отвёз в типографию сам. После двух бессонных ночей садиться за руль было небезопасно, но он желал лично сдать номер в печать, привезти готовый тираж и вручить свежие экземпляры Виктору Аркадьевичу и Леониду Николаевичу, дабы рассеять тем самым последние сомнения в своей профпригодности. Поскольку доверенности на вождение редакционной колымой у него ещё не было, он отправился на своём «Опеле», купленном после полугода работы в управлении ЛОСИСа, где даже мелкие сошки получали столько, сколько нам и не снилось. Кстати сказать, переход в «Синтетику» не подорвал его материальное положение, потому что предусмотрительные учредители, заботясь о благосостоянии своего лояльного назначенца, увеличили редакторскую зарплату вдвое. Зарплаты рядовых сотрудников редакции остались прежними.

Несколько часов спустя газета была привезена из типографии и поступила на реализацию. Я взял её в руки, и мне стало дурно. Это рябое страшилище было названо газетой лишь по недоразумению. Со страниц на меня смотрели размытые, напозаввшие одна на другую фотографии, рваные колонки спотыкались о разбросанные как попало рекламные объявления, телепрограмму перекосило, и даже новости комбината – священные новости комбината! – напоминали мусор, небрежно сметённый веником в угол.

– Это ужас! – сказал я, просмотрев три или четыре полосы (смотреть дальше не было сил).

– Почему? – наивно спросил Михаил Антонович. – По-моему, неплохо получилось.

Он ничего не понимал. Газетная работа была для него тёмным лесом, и он не предпринимал ни малейших усилий, чтобы ликвидировать свою безграмотность в этой области. Вслед за первым номером-уродом вышел ещё десяток таких же. Только месяца через два сменивший Ларису верстальщик постиг азы этой непростой профессии и стал ваять что-то более или менее пристойное. Но даже тогда,

когда «Синтетика» приняла привычный облик, я не переставал вспоминать о том кошмаре, который явился на свет мирным летним субботним днём...

## РАСКОЛ

Со временем в редакции всё вроде бы устаканилось. Мы научились не замечать нового начальника. Работа шла своим чередом: журналюги писали, Тамара набирала, верстальщик верстал. Участия Заморина в производственном цикле не требовалось. Он искренне удивлялся этому, пытался разными путями доказать свою функциональность: завёл какую-то дополнительную, никому не нужную документацию, пробовал переписать действовавшие в редакции правила внутреннего трудового распорядка, начал зондировать почву на предмет ремонта. Мы дали ему понять, что лишний бюрократизм нам ни к чему, а что касается ремонта, то на сей счёт он сразу же заткнулся, после того как в мэрии сказали, что у города нет денег на подобные глупости, а Васильчиков просто послал его подальше.

Из руководительских обязанностей Заморин усвоил только одну: он следил, чтобы все бумажки в редакции были в ажуре и чтобы мы не имели никаких конфликтов с проверяющими органами. Для этого он нанял некую частную контору, чтобы она навела порядок в нашей бухгалтерии. Контора возилась месяца полтора, содрала с «Синтетики» кругленькую сумму и в результате устроила в нашем делопроизводстве такой бардак, что его пришлось разгрести почти год, платя попутно штрафы тем самым органам, которых так боялся наш новопечённый шеф.

В людях он не разбирался совершенно. Ему невероятно везло на шаромыжников и аферистов, которых он подряжал для выполнения всяческих работ – от финансовых до хозяйственных, и каждый раз редакция оказывалась в проигрыше. Любой другой на его месте смутился бы, стал осторожнее, но Михаил Антонович не умел учиться на ошибках и в конце концов разорил бы «Синтетику» до основания, если бы Кузьмичёв не приказал ему прекратить безответственные эксперименты.

Городок потихоньку выбирался из кризиса, страшные 90-е годы стали забываться, экономика окрепла, у лосиногорских коммерсантов завелась деньги, и они стали всё активнее вкладывать их в рекламу. Всё больше газетной площади стало отводиться под рекламные модули, и у редакции появилась возможность часть заработанных таким образом средств потратить на приобретение необходимого оборудования. Сделать это надо было уже давно, так как редакционные компьютеры скрипели из последних сил, перебинтованные скотчем столетние диктофоны жевали плёнку, а проржавевшая насквозь машина ломалась через день.

Заморин пылко взялся за укрепление материально-технической базы. В редакции появился новый автомобиль – безобразный крокодил чахоточного окраса. Салон этого рыдвана был жёстким, тесным и приплюснутым, поэтому пассажиры, да и сам водитель, когда машина под-

прыгивала на ухабах, стучались макушками о потолок. Заморина это не смущало, и он, оформив доверенность, с упоением рассекал на нём по улицам. Вторым номером закупочной программы стало приобретение нового компьютера. Мы полагали, что его отдадут верстальщику или поставят в приёмной для набора, но шеф рассудил иначе.

– Я без компьютера как без рук. Столько забот, столько забот!.. – пожаловался он нам и утащил комп в свой кабинет.

Какие у него могли быть заботы, никто из нас не представлял. На работу он ходил сперва аккуратно, но когда раскладывать виртуальные пасьянсы надоело, стал всё чаще пропадать за пределами редакции. Допускаю, что ему было просто стыдно мозолить нам глаза, ничего не делая. Чтобы показать свою занятость, он периодически совершал обходы кабинетов, озабоченно взирал на наши склонённые над блокнотами головы, на Тамирины пальцы, бегавшие по клавиатуре, на верстальщика, корпевшего над макетом. Никто не обращал на Заморина внимания, и он чувствовал себя в редакции всё неудобнее. Бродя из кабинета в кабинет неслышной тенью, он улавливал обрывки наших разговоров. Однажды я в сердцах сказал Инке, что редактор – самая высокооплачиваемая, но при этом самая бесполезная персона в нашем коллективе. Это было сущей правдой: уход любого из нас поставил бы редакцию в трудное положение, как это было с уходом Ларисы, и только потеря редактора никоим образом не сказалась бы на выпуске газеты. Заморин, кравшийся по коридору в туалет, услышал мою филиппику и затаил обиду. Через месяц под предлогом корректировки штатного записания мою должность заведующего отделом сократили. Я сделался простым корреспондентом. Смысл этих пертурбаций был очевиден: оскорблённый редактор решил меня унижить. Мне не улыбалось терпеть пинки с его стороны, и я пригрозил, что подам в суд, поскольку изменения в мою трудовую книжку внесли без моего согласия. Это был чистой воды блеф – ни в какой суд я подавать не собирался, потому что тягаться с юристами мэрии и ЛОСИСа было бесполезно, но угроза, как ни странно, подействовала. Заморин струсил и отменил своё распоряжение.

Его отлучки становились всё продолжительнее. Он стал появляться на рабочем месте только по утрам: заходил в свой кабинет, бездумно включал компьютер, открывал наугад какой-нибудь файл, смотрел поверх монитора и через пять минут убегал прочь.

– Куда же вы, Михаил Антонович? – спрашивала вдогонку простодушная Тамара.

– Срочные дела, – лопотал Заморин, не оглядываясь. – Надо кое с кем договориться... согласовать... Буду к концу дня.

Где он пропадал всё это время? Не знаю. Говорили, что ходил по старой привычке в управление ЛОСИСа и жаловался Василию Ивановичу на нас, чёрствых и злых. Василий Иванович сочувствовал, но забирать Михаила Антоновича обратно под своё крыло не торопился. Во-первых, на это не было санкции Хозяина, а во-вторых, с основной своей обязанностью Заморин справлялся успешно: материалы, которые готовились к публикации в «Синтетике», он просматривал чуть ли не с лупой. Любые «отклонения» вызывали бурю эмоций.

Как-то бессобытийной летней порой, когда в городе ничего не происходило и писать было не о чем, я показал ему заметку под названием «Болт и грабли»:

«Давайте признаемся: праздников у нас в стране нет. Настоящий праздник должен состоять из светлого или хотя бы просветлённого ожидания, собственно события и приятных воспоминаний о нём. Подчёркиваю: приятных. То, что мы имеем сейчас, это суррогат. Ожидание подменено вождельем, а воспоминания – похмельем. Кто не согласен?»

На всём протяжении отечественной истории знаменательные даты влипали в календарь, как мухи в столярный клей. Тут вам и День защиты детей (от кого?), и День согласия и примирения (с кем?), и целый ворох совсем уж экзотического хлама вроде энной годовщины с момента появления первых головастиков в недрах центральной городской лужи.

12 июня общественность торжественно справляет День России. Грешно смеяться над государственными символами. Некоторым из них можно только посочувствовать, вымолвив со вздохом: «Экий ты болезный...» Кривенькие, бледные, качающиеся на тонких ножках, они тянутся к свету, как посаженная неумелым огородником брюссельская капуста, и требуют права на жизнь. Живите, родимые. Мы народ добрый.

Кто-то остроумный – или просто умный? – предложил увековечить на российском гербе две воистину знаковые для нас вещи: грабли и болт. В том смысле, что на первые мы всё время наступаем, а второй... Уж точно не закручиваем. Нас икрой не корми – дай расслабиться. А работать будет Пушкин. И флаг ему в руки».

Дочитав заметку до конца, Заморин поперхнулся от испуга и негодования:

– Вы с ума сошли! Это же нельзя печатать, ни в коем случае! Под монастырь меня подвести хотите?

Он панически боялся шуточного тона на газетных страницах. Ему мерещилось, что за каждой шуткой кроется издёвка, а издёвки в «Синтетике» не допускались, ибо Виктор Аркадьевич и Леонид Николаевич с наличествующим у обоих развитым воображением могли запросто принять их на свой счёт, и тогда... Заморин даже думать не смел о том, что случится тогда.

Надоев Василию Ивановичу своими стенаниями, он вынужден был искать другие способы времяпрепровождения. Он сел в машину и ехал домой, где наткнулся на вопросительно-беспокойные взгляды семьи: «Ты не на работе? Что случилось?» Тогда он начал уезжать в соседние города, расположенные в 30–40 километрах от Лосиногорска. Он шлялся там по магазинам, сидел в кафешках, чтобы вернуться в редакцию к вечеру, вновь принять деловитый и озабоченный вид и спросить у Тамары:

– Мне никто не звонил? А Виктор Аркадьевич? А Леонид Николаевич? Хорошо... Закрывайте редакцию без меня, я устал сегодня.

Заморин был пугливым и аморфным, но вовсе не лишённым соображения. Он отдавал себе отчёт в том, что существует отдельно от коллектива. Данное обстоятельство заставляло его чувствовать себя

особенно некомфортно. Он, подобно Леониду Николаевичу, подозревал, что за его спиной составляется заговор и строятся козни, могущие повредить его служебной карьере. Как он мог помешать этому? Выход был только один: внести в нашу компанию раскол, поставить нас в неравные условия и перессорить между собой. Уж не знаю, сам ли он додумался до этой комбинации, но в один прекрасный день Оксане было объявлено, что она назначается заместителем редактора. Такой должности в «Синтетике» никогда не было, Заморин высосал её из пальца. Мы ждали, что ответит Оксана. Оксана ответила согласием. Трудно сказать, что её прельстило больше: вполовину увеличенный оклад или возможность приподняться над уровнем обыкновенного журналюги, покомандовать теми, кто ещё вчера находился с нею на одной плоскости. Так или иначе, статус Оксаны изменился, и вместе с ним изменились и наши с ней отношения. Прекратились доверительные разговоры, мы перестали ходить друг к другу в гости и даже перезванивались по вечерам и выходным очень редко и то по делу. Я вновь убедился, что человек меняется вместе с должностью. Оксанка, с которой мы болтали обо всём на свете и пили всё, что горело, приняла чопорный начальственный облик, и я всерьёз подумывал, не перейти ли мне с ней на «вы».

Чтобы оправдать своё назначение, она стала устраивать какие-то несуразные внутриредакционные совещания, на которых мы будто бы обсуждали текущие номера и планировали на будущее, а по сути — перемывали кости вышестоящим лицам и попусту чесали языками на тему: «Как сделать газету лучше», отлично понимая, что сделать её лучше нам никто не позволит. Оксане безусловно нравилось играть в начальника. Проведя десять лет в шкуре всеми презираемого журналюги, она получила шанс отчасти удовлетворить самолюбие и не преминула им воспользоваться. Я не склонен осуждать её за это, но мне было откровенно неприятно упираться в её непривычно оловянный взгляд и выслушивать наставления. Ей поначалу тоже было немного неловко, она старалась дать понять, что наша дружба ничуть не пострадала, однако вскоре устала притворяться, и последние иллюзии рассеялись. Она была начальницей, я — подчинённым. Она имела право мне приказывать, я обязан был её приказы исполнять. Всё было предельно ясно. Я хорошо помнил заповеди подчинённого: «Подчинённый должен выглядеть глупо и бодро, своей грамотностью не смущать начальство и т. д.». Но что я мог поделаться со своей упрямой натурой, которую воротило от каких бы то ни было проявлений подострастности?

## FAREWELL, ARMS!

Я и раньше ходил на работу как на каторгу, теперь же обстановка сделалась совсем отвратительной. Внутренний голос, мучившийся все эти годы вместе со мной, твердил, что оставаться в «Синтетике» больше нельзя. Это было выше моих сил. Я перебирал в уме варианты: как свалить отсюда? куда податься? Меня никто нигде не ждал, но я готов был стать бомжем без крыши над головой и средств

к существованию, только бы не позволять и далее этому яду впитываться в мою кровь.

В середине января, после Рождественских каникул, я уже стоял с чемоданом в руке на перроне Лосиногорского вокзала, чтобы сесть на поезд, который должен был увезти меня из этого в чём-то милого, но не принесшего мне никаких дивидендов города.

Заморин принял моё заявление об увольнении с лёгким сердцем. Для виду он, само собой, покочевряжился, делано повздыхал: дескать, куда ж мы без вас, родной вы наш Станислав Александрович... Я беззастенчиво засмеялся. За моё место в редакции «Синтетика» уже бились целые рати недоучившихся филологов, педагогов, озверевших от ежедневных баталий с учениками, графоманов и эпигонов, мечтавших посвятить остаток своей жизни интеллектуальному труду. Всем этим людям чёрствый хлеб журналюги казался медовым пряником. Они не ведали, несчастные, какая «сладкая» жизнь им предстоит... Но мне их было не жаль. Они всегда завидовали мне, уверенные, что на работе я предаюсь исключительно блаженству и лени. Попытки убедить их в обратном разбивались о саркастическое: «Знаем, знаем... Рассказывай сказки!» Имидж сказочника опротивел мне. Правда в этом городе никому не была нужна. Ей не верили.

Коллеги тоже простились со мной без слёз. Оксана вела себя как человек, достигший желанной цели и наконец-то обретший крепкую опору под ногами. Кроме того, предаваться сантиментам при её теперешней должности было несолидно. С Инкой мы ещё не успели сдружиться, и она жалела лишь о том, что теперь не у кого будет просить подсказки. И только Тамара, прощаясь со мной, грустно проговорила:

– Я буду скучать без тебя...

О ней одной вспоминаю я с теплотой, ей одной посылаю иногда открытки и звоню, когда бывает плохая погода и ничего не хочется делать.

Я уехал из Лосиногорска, слабо представляя, чем буду заниматься дальше. Но за его пределами жизнь снова подхватила меня сильным своим течением и, благополучно перенеся через рифы и пороги, доставила к нужной гавани. Не надо бояться перемен. Бояться нужно гнили, которая неизбежно разъедает всякого, кто никогда не рискует и довольствуется участью вгрызшегося в яблоко червя.

«Заполярная синтетика» исправно выходит и по сей день. В её редакции трудятся те, кого я знал, и те, кто пришёл туда уже после моего отъезда. Михаил Антонович Заморин всё так же стыдливо прибегает по утрам на работу и торопится убежать «по исключительно важным делам». Виктор Аркадьевич Васильчиков всё так же стучит кулаком по столу, пугая «картонных мальчиков», и рассказывает о своих юношеских футбольных сражениях. Леонид Николаевич Кузьмичёв всё так же пишет интервью с самим собой, вычитывает некрологи и преследует крамолу.

Таких городов в России много. Сотни и тысячи. В каждом есть свой ЛОСИС, свой Васильчиков, свой Кузьмичёв и своя «Синтетика». Происходящие в стране перемены их не касаются, ибо они застыли, как мухи в янтаре. Ничего не изменилось. И не изменится.





**Татьяна  
КУЗНЕЦОВА**

## НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

1.

Жара. Безоблачное небо.  
Библейский город Вифлеем,  
Что в переводе – «город хлеба»...  
Когда его хватало всем?  
Бетон, колючка, автоматы  
И часовые у ворот –  
Такая нынче вот к Распятому  
Дорога всех людей ведёт.  
А было ли когда иначе?..  
Не сомневайся и иди.  
Ты здесь, с тобой твоя удача –  
И храм светлеет впереди.  
Увидишь там столетий тени,  
Улыбку Лучшей из всех жён  
И узкой лестницы ступени  
В пещеру, где родился Он.  
И будут краткие минуты,  
Чтоб всё запомнить и впитать –  
И две огромные секунды,  
Чтобы Звезду поцеловать.

2.

В пустыне ночь. Текут дороги звёзд  
Над древней караванною дорогой.  
И мир опять и грозен, и непрост,  
И чувствуешь, что ты в деснице Бога.  
И понимаешь: всё это не зря  
Случилось – так должно случиться:  
Преодолеть и страны, и моря,

- 
- Татьяна Анатольевна Кузнецова родилась в 1954 году в Перми. С 1956 года живёт в г. Энгельсе. Окончила исторический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Около 20 лет работала психологом. Публиковалась в журналах «Эдита» (Германия), «Корни» (Москва), «Волга–XXI век» (Саратов), в литературном альманахе «Другой берег» (Энгельс). Автор 20 книг поэзии, прозы, эссе. Член Союза журналистов России.

Стереть меж временами все границы  
И осознать: их не было и нет...  
И на заре увидеть Назарет.  
И день начать. И заново родиться.

## 3.

В который раз мой занимает ум  
Тот путь с холмов, извилистый и длинный,  
Генисаретских вод немолчный шум  
И берег, каменистый и пустынный,  
И розовые храма купола,  
И дворик, где так солнца свет неистов,  
И мрамор гладкий длинного стола  
Под зеленью шатра из плотных листьев.  
Чего ж хочу? Нет, не взмахнуть веслом,  
Не плыть туда, где море рядом с небом...  
Но если бы хоть раз за тем столом  
Испить воды мне и отведать хлеба!

## 4.

Без затей, часу, наверно, в пятом  
Я пришла сюда.  
Здесь стоит у входа с автоматом  
Девушка-солдат.  
Вот малыш в огромнейшей короне  
С праздника идёт.  
А у этих стен тихонько стонет,  
Молится народ.  
Солнце сверху щедро поливает  
Камни и траву...  
Молятся, главы не поднимая  
В неба синеву.  
Речь чужая, согнутые спины,  
Длинный стульев ряд...  
Храма нет. Лишь древние руины  
Сотни лет молчат.  
Солнце колет яркою иглою,  
Хочет тень стереть...  
А вверху свой Купол-над-Скалою  
Вознесла мечеть.  
Отхожу, как все – тихонько пячусь,  
Тень тяну...  
Но не здесь я вздрогну и заплачу  
И не здесь вздохну.

## 5.

То шире становясь, то уже,  
Людская тут течёт река.  
И этот камень все века  
В ней каждому зачем-то нужен.

Здесь вряд ли отдых вы найдёте –  
И пестрота, и теснота.  
Возможно ль так, в водовороте,  
Искать воскресшего Христа?  
Неужто прикоснуться можно –  
И так вот запросто – рукой  
К тому, что свято и неложно,  
Что – Свет, Надежда и Покой?..  
Но вот ты у того предела,  
Где Тайна Тайн заключена,  
Где тьма Его не одолела  
И где донныне Тишина.  
И отступают все сомненья,  
И в суете и толкотне  
Одно высокое мгновенье –  
Ты с Вечностью наедине.

\*\*\*

Может, вправду что-то от язычества:  
Принести нехитрую еду,  
Соблюдая странный наш обычай...  
Только я опять сюда приду.  
И, конечно, не застолья ради  
Выпью здесь домашнего вина,  
Посижу за столиком в ограде...  
И покажется: я не одна.  
И покажется: со мною дружно  
Снова все родные по весне.  
Им, конечно, это всё не нужно,  
Но зачем-то очень нужно мне.  
Помолюсь. Оставлю крошки птицам.  
 Попрошу меня не осуждать...  
...Русская, родная Радоница,  
Где у Бога живы все опять!

**Поздравляем замечательную поэтессу  
Татьяну Анатольевну Кузнецову  
с юбилеем!**



**15 января 2015 года исполняется 90 лет со дня рождения замечательного русского писателя, лауреата Государственной и многих других литературных премий Евгения Ивановича Носова.**

Евгений Иванович Носов родился в 1925 году в деревне Толмачёво под Курском. Вырос в трудовой семье. В 18 лет ушёл на фронт, был артиллеристом противотанковой бригады, дошёл до Восточной Пруссии. Под Кёнигсбергом 8 февраля 1945 года был тяжело ранен и День Победы встретил в госпитале. Работал в газетах – в Казахстане и в Курске. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького. С 1958 года занимался профессиональной литературной работой. В этом же году вышел первый сборник его рассказов «На рыбачьей тропе». Последующие сборники появились и в России, и за рубежом на многих языках народов мира. В 1975 году за книгу рассказов «Шумит луговая овсяница» писатель был удостоен Государственной премии РСФСР им. Горького.

В классическую русскую литературу Е. Носов вошёл как автор рассказов и повестей: «Объездчик», «За долами, за лесами», «Варька», «Домой, за матерью», «Красное вино победы», «И уплывают пароходы, и остаются берега...», «Шопен, соната номер два», «Усвятские шлемоносцы» и др. За рассказы 80–90-х годов ему была присуждена Международная премия им. М. А. Шолохова, за рассказ «Яблочный спас» – Международная премия «Москва–Пенне» и премия «Умное сердце» им. А. Платонова; за сборник рассказов «Хутор Белоглин» – премия «Отечество». Е. И. Носов был членом редколлегии ряда газет и журналов, являлся секретарём СП СССР и членом правления СП РСФСР, многим прозаикам он помог выйти на настоящую литературную дорогу. Е. И. Носов – почётный гражданин г. Курска, Герой Социалистического Труда, действительный член Академии Российской словесности, ему было присуждено звание «Человек 2000 года» в номинации «Деятель культуры и искусства». На протяжении многих лет он неоднократно становился лауреатом годовых премий многих журналов и газет. В 2001 году ему была присуждена премия Александра Солженицына.

12 июня 2002 года писатель ушёл из жизни. В Курске ему установлены памятники, открыты мемориальные доски, учреждена литературная премия его имени, издано пятитомное собрание сочинений писателя, ежегодно проводятся литературные чтения его памяти. В Литературном музее г. Курска создан зал, где среди других материалов представлены 26 орденов и медалей, которыми он был награждён (среди них – два ордена Ленина, два – Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды и др.).

**Михаил  
ЕСТЬКОВ\***

## **БОЯН ЗЕМЛИ РУССКОЙ**

Умер Евгений Иванович Носов... Потеря невосполнимая: ушёл из жизни Патриарх русской словесности, без которого немислима национальная культура. А для нас, курян, потеря эта – из горьких самая горькая. Не только потому, что он был нашей земляческой гордостью, но ещё и потому, что не ступил ни за какими посулами в иные земли, а любил этот отнюдь не райский уголок планеты такой любовью и воспел его так, как никто до него этого не делал и вряд ли в скором будущем сумеет сделать.

Однажды Носов сказал о Льве Николаевиче Толстом, что тот «голой пяткой чувствовал всю Россию». В полной мере сказанное относится и к самому Евгению Ивановичу. «Потрава», «Домой, за матерью», «Храм Афродиты», «Не имей десять рублей..», «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два», «Усвятские шлемоносцы», «Алюминиевое солнце», да и всё остальное его творчество – сокровенные горести и беды народа, самый оголённый нерв России.

Евгений Носов писал не повести и рассказы – он создавал поэмы, был современным Бояном, чья грустная, омытая слезами, но возвышающая песня была слышна во всех пределах, где только обитала славянская душа, ибо всё написанное им было Сказанием о Земле Русской.

Носовская проза, не говоря уже о всегдашней злободневности, широте охвата и глубине проникновения в суть жизни, многомерна и гармонична в этой многомерности. Она необыкновенно зрима: под стать реальному предмету или художественному классическому полотну. Каждое слово – это не только определённый смысл, но и звук, а страница – это нотная запись богатырской музыки. Воскрешённая им словно бы из небытия исконно русская речь корнями своими уходит во времена «Слова о полку Игореве», она так и просится в речитатив под неторопливый аккомпанемент древних гуслей. Его прозой можно лечить... Сам строй её, без надрыва и искусственности, кар-

---

\* Михаил Николаевич Еськов – близкий друг и ученик Евгения Ивановича Носова.

тины природы, всепроникающее добро, внутренняя красота героев – это божественный эликсир для любой увядающей души, лишь бы она была способна воспринимать жизнь, а не довольствоваться существованием.

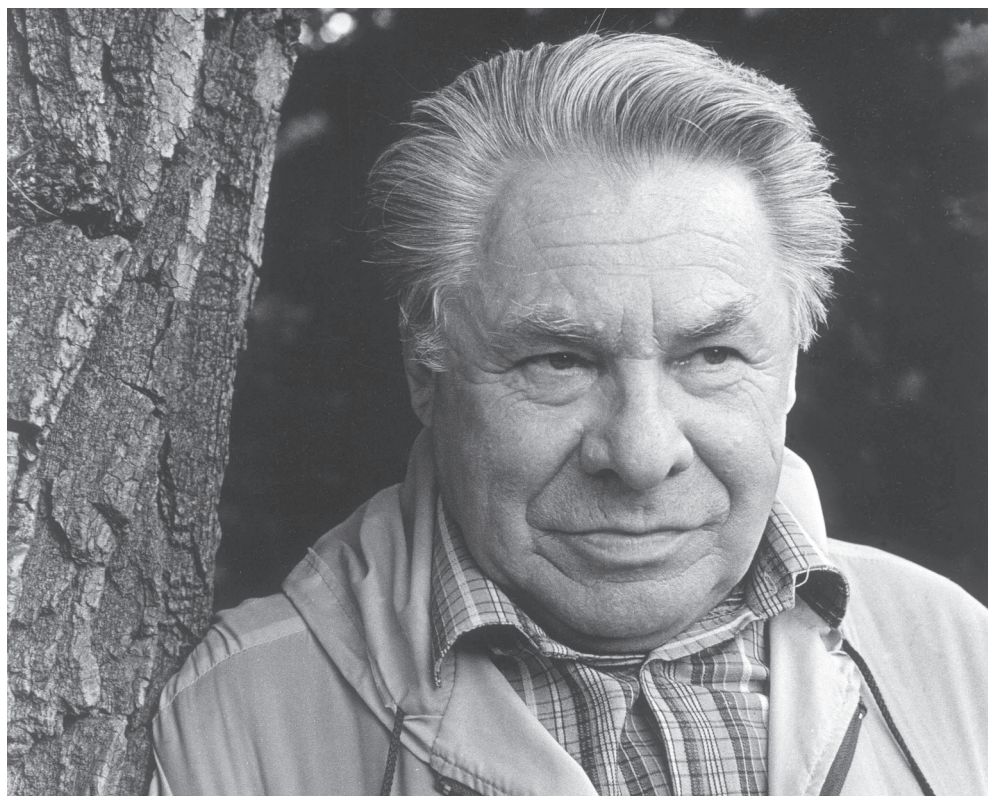
Из всех заповедей, которым следовал Евгений Иванович, пожалуй, самой важной была заповедь: не лги. Ложь он не принимал ни в какую. Случилось, Виктор Петрович Астафьев, любивший повольничать с фактами, рассказывал, как он, наслаждаясь, простоял несколько часов перед знаменитой картиной в одном из музеев Испании. И вдруг Носов прервал его вольничанье: «Не сочиняй, Вить. Этой картины в Испании нет, она во Франции». Астафьев как ни в чём не бывало расхохотался: «Может, и во Франции... А ты что, там был?» – «Чтобы знать, не обязательно там быть». И Евгений Иванович в подробностях поведал, где картина находится, как её спасали от немцев во время войны, когда реставрировали и какие полотна убрали из зала, чтобы не мешали восприятию шедевра.

Е. И. Носов не раз говорил: «Русское искусство абсолютно доказательно. Малейшее искривление мгновенно замечается». И сам, естественно, не позволял себе никаких «искривлений», был барометром правды. На одном из писательских съездов, как тогда нередко бывало, ораторы, сменяя друг друга, переливали из пустого в порожнее. Писательская публика, в отличие от партийной, вела себя как вздумается: беседовали в коридорах, гуляли по необъятным кремлёвским буфетам, благо, было на что поглазеть и чем подёшеву напитаться. Словом, зал заседаний полупустовал. И вот вбегают добровольные гонцы: «Носова объявили! Носов будет выступать!» Тут же пустеют буфеты, курительные комнаты, и в зал не протиснуться.

Существует научный посыл, что передача информации, обучение невозможны без учителя, без старшего по делу, иначе останутся одни инстинкты. Евгений Иванович всем сердцем следовал этому постулату: он поставил на крыло не один десяток писателей. А уж нам, курянам, везение выпало несусветное. Нам завидовали, но нас и ценили. Побывав в носовском творческом горниле, мы обретали хорошую литературную устойчивость.

<...> Курский край уже давно имени Носова, пусть он с этим именем и пребывает в веках.

В день прощания с Писателем буйствовала природа... Она словно не соглашалась с уходом своего особо доверенного выразителя. Не согласимся и мы, знавшие Евгения Ивановича: от нас он не ушёл – он будет с нами, пока мы сами живы. И пусть навсегда останутся вещи творения Мастера.

**Евгений  
НОСОВ****ТЕЧЁТ РЕЧКА...**

Туман, по-осеннему колюч, студён, хватал за руки и был так плотен, что Устин не видел даже своего стада, а лишь различал шумное сопение коров, обрывавших траву. Парусиновый картузик на нём отволг и потемнел, сизым сделалось и востроносое лицо, поросшее невесомой, редкой бородой, сквозь которую видны были белые пуговицы рубахи. Опираясь на батог, Устин слушал стадо и время от времени, шмурыгая по траве сапогами, не торопя скотину, переходил на новое место.

Из тумана вынырнул Валерка, долговязый подпасок, переросший за лето Устина почти на целую голову.

– Во насунуло! Носа не видно. – Он потёр красные озябшие руки.  
– Да ить Ильин день прошё-о-ол! – прокричал Устин с бодрой готовностью поговорить. – Самое теперь туманы пойдут.

Валерка достал блескучий портсигар, откинул перед Устином крышку с тремя выдавленными на ней богатырями. Тот долго копался, пытаясь подцепить корявыми дрожащими пальцами сигарету, но, так и не сумев вынуть её из-под резинки, махнул рукой.

– Мне ить нель-зя! Врачи начисто запретили!

– И по лампадику нельзя?

– Не-е! – замотал бородой Устин.

– А то – есть! – Валерка, хитровато сощурясь, хлопнул по дерматиновой сумке, висевшей через плечо. – Нынче ведь праздник. На деревне гулять будут.

– Какой такой?

– День механизатора.

– А-а... Ну-ну... Да и верно: вчера по радио объявляли. Только мне теперь нельзя. Отпился. – Устин виновато засмеялся. – Всё! Выбрал весь свой лимит. Врачиха сказала: дышать – дыши, а больше на этом свете ничего не положено. Во как!

– А я думал: всё, отбросишь копыта.

– Да не-е пока... Выцарапался. Считай, весь желудок обрезали, – засмеялся Устин. – Штаны не держатся. Хоть к пупку пристёгивай!

Устин не говорил, а выкрикивал Валерке, будто глухому. Кричал, должно быть, оттого, что стоял туман, и эта крошечная, промозглая слепота сама по себе заставляла напрягать голос, а может, кричал и потому, что был он радостно возбуждён первым своим выходом в луга. Пролежал он в больнице с самого апреля, увезли ещё до травы, не чаял уже вернуться в свои Кулики, и теперь ему был весь свет внове. Он живо ощущал сквозь чуткие резиновые сапоги холодок мокрой травы, приятен был ему и грубоватый уют тяжёлого брезентового дождевика с его застарелым псиним запахом, и даже радовался батогу, давнишней своей палке, захватанной руками до костяного блеска, которая всё лето простояла в углу за печкой вместе с бабушкиными ухватами и чапельниками.

– Это, говорит врачиха, всё от сухой пищи получилось! Надо, говорит, горячее потреблять! А иде оно, горячее – поле да поле! – смеялся Устин. – Молодая, рази она понимает наше? Картох напекёшь – то-то брюхо и погреешь! – Устин ласково глядел на Валерку, радуясь ему, тому, что Валерке можно выпить по случаю праздника.

– А и выдурился ты, гляжу! Ерой стал! Девок, поди, щупаешь, когда в клубе кино пуцают, а?

Валерка покраснел оттопыренными ушами.

– Во флот попадёшь – помяни моё слово! – во флот.

Постояв, они продвинулись немного вслед за стадом. Завидневшая недалеко чёрно-рябая корова, вытянув морду, задумчиво уставилась на Устина.

– Сорока, Сорока! – позвал он, узнавая корову.

Сорока потянулась к нему, обнюхала рукав дождевика, негромко мыкнула, обдав запахом утробного травяного варева.



– Ты гляди, а?! – счастливо удивился Устин. – Не забыла!

Он принялся шарить по карманам, привычно отыскивая корку хлеба, но, не найдя, поерошил корове кудлатую чёлку, осыпанную водяной пылью.

– Стало быть, ходишь ещё, а, Сорока? У, дурёха! А я вот, вишь, было отбегался... Что поделаешь?.. Ну, ходи, ходи, глупая!

Валерка подхлестнул корову кнутом, та взбрыкнула и вмиг исчезла из виду, растаяла в тумане.

– Не балуй зря! – укорил Устин. – Не обижай...

Туман вдруг ожил, закружился, закипел румяно, и Устин понял, что взошло солнце. Подперев грудь палкой, он смотрел в лёгком стариковском забытии в ту сторону. Стадо тоже почуяло солнце: коровы перестали щипать, тронулись брести все разом навстречу свету, ревя с протяжной лендой и оставляя на сером росном лугу сочные густозелёные полосы, и там, где только что паслись коровы, туман остро пах скотиной и парным молоком.

Намётанным ухом Устин вскоре определил, что стадо вышло к речке Ивице: послышались хруст осоки, чавканье воды под копытами. Забирая левее, чтобы стать во фланг, за последней коровой, они и сами вышли к реке, дымным провалом обозначившейся внизу, под берегом.

– Ой, кой-то?!

У воды в парном куреве неясно мелькнуло нагое тело, затрещали лозняки.

– Ты, что ль, Татьяна? – догадался Устин.

– Напугалась-то как! – отозвался из кустов женский голос. – Думала, рыболовы.

– Куда бежишь? То ли на праздник?

– В Кулики. Говорят, артисты приедут.

– Дак пошто рано так-то?

– К девчатам забегу. Платье хочу укоротить. Дядь Устин... шёл бы ты... Одеваться стану. Валерка, чего вызрелся, дурак?..

– Нужна ты мне! – Валерка, волоча кнут, вразвалку ушёл по берегу.

– Ты что ж, гляжу, плыла? – спросил Устин. – Мать-то чего не перевезла?

– С малым нянчится.

За невидимой Ивицей, за розовой клубящейся ватой тумана плакал ребёнок. В его хныканье вплетался торопливый говорок Татьяниной матери Нюрки: «Ну миленький, ну Павлунюшка... Да что ж ты так? Или зубки режутся?»

– Дак сама-то и переехала б, – сказал Устин. – Вода, небось, ледяная.

– А ну её, лодку, крутиться с ней. Ещё рыболовы угонят. Тут под берегом только и глыбко осталось. По коленки всю речку шла. Бр-рр! Роса какая жгучая! Дядь Устин, иди уже...

– Иду, иду, – готовно заспешил Устин.

Он отошёл на несколько шагов. Валерка чуть подальше лежал на боку, постукивал по сапогу кнутовищем.

Татьяна, прижимая к животу ком белья, выбралась из мокрых кустов и, маяча округлым телом, принялась одеваться. Устин глядел, как она, облитая процеженным заревым светом, отвернувшись,

набрасывала на шею собранную хомутом нижнюю рубаху, как затем торопливо обдёргивала её, липкую, неподатливую, по мокрой спине, и удивлялся тому, как быстро выросла Татьяна: давно ли бегала вот таким поганышем, а уж вон какая... Глядел, смиренно радуясь Татьяниной красоте, её молодой, свежей, только что свершившейся взрослости. И, посматривая на неё так, припоминал своё молодое, далёкое, что будто сон: вроде, и было, и не было...

– Муж-то как? – спросил он, вспомнив, что у этой девочки есть уже муж. – Пишет чего?

– Ой, да ну его! И думать не хочу. Как укатил на целину, так и концы в воду. Ни одного письма.

– Напишет ещё. Оглядится – и напишет.

– Больно нужен! Небось, другую уже завёл... А ты, дядь Устин, значит, опять вышел?

– Да похожу, погоняю ещё маленько, пока ноги носят.

– Шёл бы ты уж на пенсию. После такой-то операции.

– Дома хуже, – засмеялся Устин. – А тут воля. Вроде как и опять жилец.

Татьяна оделась, повязала косынку и заспешила, босая, разбрызгивая траву, будто зелёную воду. Опершись на батог, Устин смотрел на её строгий, прямой след в мокрой траве.

«Вот уж и выросла», – думал он про Татьяну.

За речкой бабахнуло. Устин встрепенулся от своих дум, прислушался. Палили, должно быть, под лесом. Дуплет раскатился протяжно, и Устин определил, как выстрел ударился о не видимый сейчас заречный сажень сосняк, загредел по нему гулким и бодрым эхом.

– В заказнике, не иначе, – кивнул Валерка, подходя к Устину.

– Скажи ж ты... Вот ведь: и запрещено, а балуют.

Вскоре с шелковистым посвистом с той стороны на эту пронеслись утки. Оба задрали головы, сияясь разглядеть выводок за туманом.

– Чирята! – признал Устин, провожая уток долгим и жадным взглядом.

Ему было радостно, что где-то ещё водятся утки. И вообще было хорошо видеть, слышать и узнавать в лугах всё прежнее, знакомое, что связывало его с этой землёй, с этим миром.

Притомившись, Устин нагрёб сухой, кем-то накошенной осоки, сгромоздил ворошок под ракитовым кустом, кряхтя привалился боком.

– Полежать, что ль... К земле, брат, гнёт. Бяда-а! Бяда-а!

Валерка выложил на осоку краюху ржаного хлеба, ломоть сала, крупные налитые помидоры, головку чеснока и соль в спичечном коробке. Потом деловито достал из полевой сумки зелёную четвертинку, зубами вырвал бумажную затычку, на всякий случай, больше из вежливости, протянул посудину Устину. Тот, засмеявшись, потряс головой.

– Мне твоей еды-питья не положено, – сказал Устин, вынимая из своей холщовой сумочки бутылку молока и городскую баранку, обсыпанную маком.

Валерка крупно глотнул из горлышка, сморщился и поспешно разломил помидор, заблестевший сахаристым инеем на изломе.

Река всё ещё курилась туманом, но уже просветлевшим и редким, и на середине Ивицы обозначился остров. За лето, пока Устин лежал в больнице, остров ещё больше зарос лозой, и от его нижнего конца далеко по течению высунулся узкий песчаный язык, разделивший Ивицу на два рукава.

– Вон как прёт! – кивнул Устин. – Дурница пустопорожня. А ить глубина была, когда мельница стояла. Вожжами не промеряешь. Ты не захватил, не знаешь.

– Сваи-то помню, – сказал Валерка. – Тракторами таскали.

– Тут ить прежде ивы росли. Во какие, не в обхват. На обоих берегах! Лес! Это ж на середине речки только небо и увидишь. Половодье-то схлынет, крыги унесёт, – вспоминал Устин, поглядывая на речку, – дак скворухов слеталось видимо-невидимо. Все деревья, бывало, осыплют. Свиристыят, гомонят в затишке... А то цвель начнут, пушиться серьгами. Ивы-то. Аж по лугам дух сладкий. Пчела как полетит, как повалит! Гудит всё пчелою. Потому и речку нашу Ивицей назвали.

Устин стал рассказывать, как любил ездить сюда с отцом по новине. Увидел себя мальчишкой, отца, старую свою хату, двор, амбар, вкусно пропахший зерном, сбруей, старыми полушубками. Вспомнил, как батя ещё с вечера подкатывал к амбару полок, отвинчивал гайки на осях, стаскивал колёса, мазал ступицы дёгтем. Как потом начинал грузить мешки с житом, укрывая их рядом, клал в передок полушубок, еду, торбу с овсом... А перед тем неделя молотьбы. На огородах за половнем начисто разметали ток, выкладывали снопы, голова к голове, колосья на колосья, и – пошёл, пошёл цепами.

– Туки-туки, туки-туки... – Устин замахал батогом, изображая молотьбу. – Ты ить и не знаешь такого, а?

– Да слышал...

– А-а, слышал! – по-детски восторжествовал Устин. – А я меньше тебя был, годиков десяти, а уже имел свой цепок. Батя сделал! Вроде как для забавы, а сам меж тем и к работе приучал. Давай, давай, Узька, бывало, подбодряет. Да по соломе-то не лупи. Не порть солому. По колосьям меться.

– Тоже, значит, техника была, – усмехнулся Валерка, поддевая складничком соль из спичечного коробка.

– Да ить какая техника: держак да дубовая бита на ременных завертях. Вот тебе и весь сказ. За день так-то умолотишься, что и домой не дойдёшь, а тут прямо в солому и ткнёшься... Ни рук, ни ног. Ну, а на мельницу поедешь, там-то уж воля вольная. Это ж теперь кино да телевизоры. А тади слаще, как на мельницу съездить, и развлечения не было. Так с раки в воду насигаешься, аж в ушах звон. А то лошадей пораспрягаем да всей гурьбой на них в Ивицу. Кто за гриву ухватится, кто за хвост. Шум, плеск, кони храпят, гуркают утробой от удовольствия, а уж нам, ребятишкам, и вовсе... Да...

Валерка допил, зашвырнул пустую четвертинку в протоку и, ковыряя в зубах травинкой, спросил с сытой ленцой:

– А мельница куда ж делась?

– Да ить как же... Всему свой конец приходит. Машина в Куликах объявилась. Машиною молотъ начали.

– Дизель, что ли?

– Не-е! – засмеялся Устин. – Тади таких ещё не знали. А и то же сила была. Чего хошь сыпь – всё перетрёт. Так это, бывало, пыхтит, пары пуцает. И зимой, и летом.

В Куликах неожиданно заиграла музыка, стало даже видно, как сквозь туманную дымку, должно быть, возле клуба зеркально взблеснула медная труба. Валерка приподнялся на локте, поглядел, прислушиваясь, на деревню. Устин начал было ещё о чём-то рассказывать, но Валерка всё поглядывал на деревню, всё вострил в ту сторону уши, по всему было видно, что ему теперь не больно-то интересно слушать словоохотливого старика, и Устин, сдержанно похекав в кулак, замолчал.

– Сегодня гульнут! – с тайной завистью сказал Валерка.

– А што ж, – одобрил Устин, – зябь попахали – дело теперь законное! Да ты шёл бы то же. Я и один попасу.

Валерка оживился.

– Иди, иди, соколик. Дело молодое. Чего томиться?..

Валерка не заставил себя упрашивать, поддёрнул голяшки сапог и, не убрав закуску, широко зашагал лугом.

– Иди, милай, – радостно напутствовал его Устин, – теперь твоё время!

Коровы, привлечённые водой, всё ещё лазили по берегу, добывали себе из ила узловатые корни рогоза, громко хрумкали кочерыжками. Растревоженный рогоз источал душный аптечный запах. Устин лежал на животе, глядел на Валеркину угловатую фигуру, пересекавшую седой дымящийся луг, на то, как солнце уже одолевало туман над высоким уберезьем, по которому длинной вереницей ракич обозначились Кулики. Солнечные лучи подожгли пожаром высокие окна в новом клубе, кумачово полыхали флаги, вывешенные на белых колоннах. Потом высветились краснокирпичные ряды гаражей и мастерских, длинные бруски коровников, бело-серебристая водонапорная башня, похожая на гранату, поставленную торчмя.

– Эко наворочали! – удивился Устин. – Вот как взялись! Чисто город!

Возле клуба снова заиграла музыка – на этот раз звучали неторопливые «Сопки Маньчжурии». Устин улавливал знакомый старинный вальс и одновременно слышал, как в заречье Нюрка гроыхала пустым корытом, хлопала сенечной дверью.

«Сейчас мы с Павлушей стирать будем. – Нюркин голос явственно долетал в чуткой утренней тишине. – Рубашечку Павлуньке постираем. Чистенькое наденем. Мамка воротится домой и не узнает нашего Павла. И чей же это, спросит, такой умница?..»

«Ти-та-та... Хо-та-та... Во-та-та... Круг-та-та...» – задумчиво вздыхала в Куликах басовая труба.

«...Да неужто, скажет мамка, это наш Павлунька та-акой чистенький да умытенький?» – приговаривала по другую сторону Ивицы Нюрка.

И какая-то высокая, голосистая дудка совсем по-человечески выводила: «*Ветер листвы не колы-ше-э-т...*»

Музыка сладко щемила, скребла и царапала какую-то ещё не усохшую струнку в Устиновой душе. Он даже зажмурился, весь уйдя в слух, в радостно-тихое восприятие звуков. Мысли его всё время почему-то углублялись в прожитое, и Нюркин баюкающий говорок, процеженный туманом, такой молодой и чистый, вплетаясь в плавные переливы оркестра, напомнил Устину те далёкие его годы, как он, уже парнем, ездил молоть на Ивицу, как выпрашивал у матери поновее рубаху, намусливал лампадным маслом непослушные вихры, а перед тем бегал в винополку купить в дорогу шпалик. К тому времени мельница отошла куликовской коммуне, и заправлял ею Ивашка Бобров, Нюркин отец, бородатый плечистый мужик на деревянной ноге, которую он привёз с собой после австрийского плена. Мельницу он отдал в коммуну добровольно, и его поставили заведовать общественным помолом.

«Это ж как соберутся бабы-мужики по новине, как съедутся! – вспомнил Устин, посматривая на реку, туда, где горбился остров. – Мать честная! Что тебе ярманка! Возы скрипят, лошади ржут. Конь чужого коня, из другой деревни, увидит и то интересуется. А уже человеку и вовсе занятно: кто, да што, да откуда. Ночью под деревьями костры палят, лясы да байки точат, ожидаючи-то своего череда. Девки дак и петь возьмутся. А вода знай себе шумит на плотине. Денно и ночью. Бьёт, пластается вода в щёлки, в ставни-то... И жернова: жур-жур, жур-жур... Жуют жито. Тёплой мукой пахнет. Уж так всё припоросится пылкой: мужики бегают – брови, картузы белые».

Помнил Устин и ту прежнюю Нюрку, тогда ещё молодую девушку, как угощала она помольцев горячими ситнухами с общей муки, которые сама ночью же и пекла. Как приносила она эти хлебцы в решете, прикрытом полотенцем, под самые ивы, к костру, где коротали ночь мужики. Босоногая, румяная, только что от жаркой печи, пропахшая свежим хлебным тестом, кивком головы поправляя тёмную кручёную косу, Нюрка обходила всех, приговаривая: «Ешьте, ешьте, люди добрые, с новиной вас». К решету тянулись тёмные корявые руки мужиков, разбирали хлеба, натирали горячие краяхи чесноком и салом. «Берите, берите, – предлагала Нюрка, – я ещё напеку». Тянулся к хлебу и Устин, краснел и не глядел на Нюрку. И был он готов уступить свою очередь, молоть самым последним, чтобы ещё вот так позоревать у костра, дожидаться, весь обомлев, этого Нюшкиного ночного прихода. Всё хотел он с ней как-нибудь заговорить, да так и не решился, так молча и ушёл в Красную Армию на действительную службу.

Когда же воротился домой, Нюрка была уже засватана. Прибился к ней Стёпка Грач с ивицких хуторов, черномазый скуластый малый с вертявыми глазами. Был он годов на пять постарше Устина, держался бойко и самоуверенно. К тому времени старый мельник, Нюркин отец, уже помер, и всем делом на мельнице заправлял этот самый Стёпка.

Помнится, как пробрался Устин на плотину, как лежал в чужой телеге, таился, ждал, не выйдет ли Нюрка по прежнему своему обы-

чаю... И верно, вышла и опять обносила всех ситнухами, а у самой под фартуком вроде тоже ситнух запрятан. И так тогда сделалось Устину безвыходно, так нехорошо было глядеть на её беременный живот. Кинулся бежать, не помня себя, ломился сквозь какие-то кусты, в клочья изодрал гимнастёрку, жахнулся по грудь в торфяную зыбь, потом всю ночь пролежал в сырой траве, в темени, то стелая, то загораясь жгучей, слепой мезью. Недели две после того пил запойно, а потом и сам женился с отчаяния, чтобы враз всё отрубить. Взял незнакомую, чужую, из дальнего села.

«А и было тоже, – подумал, как не о себе, Устин без сожаления и обиды. – Куда что девалось. Ушло время».

Года через два в Кулики привезли ту самую машину. Волокли её со станции на восьми волах, разукрасили портретами, берёзовыми ветками с красными бантами. Пока везли по деревне, возле машины бегал, волчком вертелся подвыпивший Стёпка Грач, махал руками, указывал, по какой дороге везти, где меньше колдобин, подсовывал под чугунные колёса снопы соломы. Старый мельничный сруб разобрали, свезли на деревню, сделали из него сарай над машиной. И опять Стёпка командовал: сам метил цифрами брёвна, сам снимал жернова, выдирали скобы и петли. Его и поставили потом заведовать новой мельницей. Предлагали ему заодно перевезти в деревню и хату, но он отмахнулся, дескать, сейчас не время, главное, чтобы машину пустить. Поначалу Стёпка бегал к машине из заречья, потом всё чаще стал оставаться ночевать, а когда прирубил себе сбоку камору, то и вовсе неделями не ходил домой. Завелись у него дружки-приятели, сказывают, будто шастала в эту камору одна хуторская разбитная бабёнка. Однако все кончилось тем, что как-то раз сильно хмельного Стёпку затянуло ремнями и задавило приводным колесом.

Вместо Стёпки назначили какого-то заезжего мастерового, и всё пошло своим чередом. Меж тем старую плотину размыло и унесло половодьем, и Нюрка с дитём осталась в лугах одна. Но об ней особой речи не шло, а только вспомнили, что на той стороне осталось десятин двенадцать артельной пахотной земли. Думали-думали, как поступить с той пашней: засеять её было теперь несподручно, поскольку туда не стало переправы, и порешили передать этот неудобный клин в договорное пользование какой-то городской артели. А заодно передали тоже вроде как в аренду и саму Нюрку, потому как она оказалась ни то ни сё...

Как-то раз, ещё в те годы, возвращался Устин с ивицких хуторов вьюжной ночью. Ехал зимним путём по остановившейся реке, и конь сам повернул к Нюркиному подворью. Видел, что свернул с дороги конь, потянул было за вожжи, но потянул как-то робко. Всё в нём пыхнуло горячим содомом, и он не стал воротить коня, и вдруг, оплоумев, огрел кнутом и погнал напрямки целиной. По глубокому снегу пробрался к тёмному окошку. Долго стоял, осыпаемый с крыши бегучей снежной заметью: постучать или не постучать. И постучал... Нюрка долго не отпирала, выглядывая в протёртую круговину окна, наконец узнала, вышла в сени, что-то испуганно заговорила ему, придерживая щеколду, но он, ничего не слыша, не помня себя, рванул дверь и, как был в завьюженном тулупе, с мокрым лицом, сграбастал

полураздетую отбивавшуюся Нюрку, шагнул с нею в сени... И тут же, неся её кулем, сразу весь обмякнув и похолодев, почувствовал сквозь замашную нижнюю рубаху жёсткий вспученный её живот... Остывая, он бережно опустил её на ноги, Нюрка отвернулась, закрыла лицо ладонями...

– Как бы не помял тебя сдуру, – сказал он, смутившись.

– Чего уж мять... – глухо отозвалась Нюрка. – Мятая. А ты иди, Узя, ступай себе... Не хочу я теперь ничего...

Устин постоял, покомкал мокрую шапку.

– В Кулики, что ли, переежала бы... На люди.

– И в Кулики твои не хочу... Иди, иди...

Раза два после того встречался Устин с Нюркой, опять уговаривал переезжать на деревню. Нюрка не глядела на Устину, молчала. Да так и осталась по ту сторону, вот уже скоро сорок годов. Менялись всякие арендаторы, переходила из рук в руки и Нюрка со своей хатой.

– Ну ладно, перекусили маленько, – сказал сам себе Устин, вставая.

Он спустился к реке и принялся полоскать свою бутылочку.

Река тем временем просветлела, открылась на всю ширину, заиграла под солнцем, и на той стороне выбелилась одинокая Нюркина хата. Стали видны ступени, прорытые в глинистом обрыве, сбегавшие к мосткам, у которых дремала большая, как называют в Куликах – сенная, лодка. В двух правых оконцах пламенели какие-то цветы: там обитала Нюрка с Татьяной. В крайнем левом, загораживая выбитую шибку, стояли конторские счёты. В этой половине в разные времена размещались всякие огородные конторы. Теперь там обосновалось подсобное хозяйство глухонемых. Со стороны казённой половины на забурьяненном разгороженном дворе громоздились штабеля тарных ящичков, стояли плуги и телеги, краснел тракторок на дутых колёсах. Ближе к берегу торчала на столбах фанерная Доска почёта, обращённая фасадом к Ивице, а рядом с ней – физкультурный турник, на котором иногда баловались возчики. Контора от самого мая пустовала, подхозовская картошка и капуста ещё не доспели, глухонемых на уборку пригонять было ещё рано, так что, кроме завхоза, здесь никто не появлялся за всё лето.

В дверях хаты показалась баба в солдатской гимнастёрке навыпуск. Это была сама Нюрка. Она вынесла из сеней деревянную зыбку, привязала постромки к перекладине турника, потом опять сходила в хату, принесла всхлипывающего, в голубенькой рубашке, ребёнка, уложила его в зыбку.

– Уж я тебя на солнушке покачаю, вот как хорошо-то на солнушке! – певуче выкрикивала Нюрка. – Слышь, вон как музыка в Куликах играет!

Ребёнок устало квохтал, было видно, как он задирает ножки, хватал их руками.

– А вот на-ка тебе цацу! На-ка огурчик! Поточи, поточи зубки. Ишь они, зубки, не дают спать нашему Павлуньке!.. Болят, болят, окаянные...

Присев на колоду, Нюрка закатала рукава, принялась тискать бельё в корыте.

– Точи, точи огурчик, – выкрикивала она, болтая седыми космами в такт движениям сухих оголённых рук. – А я тебя побаюкаю.

И, горбясь над корытом, начала тягуче и высоко:

*Голова ж моя, головушка-а,  
Голова ж моя бурлацкая-а,  
Забурлачила ты меня, молодца,  
Эх, да на чужой дальней стороне-э...*

«Кхи, кхи...» – квохтал в зыбке малец.

Нюрка высвободила из мыльной пены руку, обтёрла о подол гимнастёрки, поймала конец кушака, который волочился по земле вслед за люлькой, принялась раскачивать и снова припевать:

*Сторона ж моя, сторонушка-а,  
Сторона ж моя незнакомая-а.  
Ох, да незнакомая, незнакомая,  
Ой, да ни дорожки к тебе, ни тро-по-чки-и...*

Голос её чисто и ясно перелетал тихую утреннюю Ивицу.

*Завела ж меня, хмелинушка-а,  
Ох, да хмели-ну-шка, вороний ко-о-онь...*

Мальчонка, ненадолго присмирив, начал снова однотонно, басовито реветь.

– Да дай же мне достирать! – подскочила Нюрка, и голос её загремел грубо и зло, будто и не она только что так сладко и душевно напевала. – Понапачкал и не даёт сполоснуть...

«А-а-а-а...» – трубил малец.

– Вот вражье семя, ирод полосатый, угомону на тебя нетути!.. Прости ты мою душу грешную..

Нюрка торопливо принялась выкручивать бельё, перекладывая отжатое себе на плечо.

Близко, где-то за мельничным островом, опять шарахнул выстрел. Сонная поверхность Ивицы взметнулась мальками, будто в воду сыпнули гороху.

– Слышал? Будешь нюниться? – кричала Нюрка. – Вот придёт Мамай с ружьём, заберёт тебя в сумку.

Павлушка приумолк.

– Вон, вон Мамай идёт! – продолжала устрашать Нюрка, развешивая бельё на гребне Доски почёта. – Иди, иди скорей, Мамай, забери Пашку-поганца.

И верно, той стороной, берегом, отражаясь в воде, шёл охотник. Брёл он неспешно, устало, ружьё висело поперёк груди, отвёрнутые голяшки болотных сапог толсто свисали под коленками.

«Батура идёт», – Устин узнал в грузном, облачённом в кожаную куртку человеке Нюркиного завхоза.

На его поясе болталась убитая утка. Было видно, как при каждом шаге охотника птица взмелькивала светлым брюшком.



– Здорово, бабка! – ещё издали гаркнул Батура сиплым басом. – Жива?

Он заглянул в зыбку, отчего Павлушка сразу же заревел. «Ну-ну!» – прицкнул на него Батура и пальцами показал козу. Нюрка принялась трясти люльку, а завхоз, пройдя к хате, приставил к стене ружьё, расстегнул патронташ и вместе с уткой повесил его под застрехой. Освободившись от пояса, Батура помахал полами куртки на округлый живот. Нюрка шмыгнула в сени, вынесла большую медную кружку. Батура долго пил, широко расставив сапоги, потом снял кепку, нагнулся и, шумно отфыркиваясь, вылил остальное себе на шею.

– От добре! – довольно крякнул завхоз и прошёлся по двору, разглядывая хозяйство.

– А это что ты тут понавешала? – строго крикнул он, остановившись перед Доской почёта. – А ну, сними, сними!

«А и верно, нехорошо это, – подумал Устин. – Не для того предназначено».

Сколько он помнит, вечно на виду у всех Куликов в Нюркином дворе болтались пелёнки да рубашонки. Однако детишки почему-то не выживали. Может быть, оттого, что лечили их всякие захожие бабки. Уцелела только Татьяна. Родила Нюрка её после войны, будучи сама уже в летах. В то шумное, безалаберное послевоенное время по воскресеньям наезжали в заречье городские артельщики из коопторга, целый день лазили по Ивице с бреднем, а вечером на берегу палили костры, варили уху, горланили песни. Какие они собирали со своего огорода урожая, Устин уже не помнит, зато после них Нюрка снова была с прибылью: родила эту самую Татьянку. Девочка росла почти на Устиновых глазах: училась она в Куликовской школе, нередко оставалась у него ночевать, а по весне, когда Нюркину хату отрезало недели на две, на три половодьем, жила у них до сухого. Девчушка она была тихая, привязчивая, лицом живо походила на Нюрку, особенно глазами, и Устин, у которого так и не народилось детишек, встречал её как свою, одаривал то конфетами, то яблоками. А иногда, таясь от жены, покупал в сельповской лавке чулки, а то и ботинки и, дожидаясь со стадом в лугах, когда Татьянка побежит в школу, заставлял её тут же на траве переобуться в обновку...

Теперь вот пришёл Нюрке черёд развешивать внуковы рубашонки...

Пока Нюрка перевешивала бельё с Доски почёта на борта телеги, завхоз оглядывал заросший бурьяном инвентарь, сунулся было в запахнутый сарайчик, где обитал подхозовский мерин, но оттуда через Батурину голову вылетела белая курица. Батура запустил в неё кепкой, попал на лету, курица, роняя перья, взвилась аж на самую хату и долго орала там, вышагивая взад-вперёд по самому гребню, перепуганно вытягивая шею и не решаясь слететь. Батура подобрал кепку, пошёл в огороды. Постоял, поглядел на капустные грядки, воротился обратно, на ходу застёгивая ширинку.

– Дочь дома? – спросил он, засматривая в окна.

– Нету, – отозвалась Нюрка.

– А может, дома?

– В Кулики пошла.

– Чего она у тебя такая... неразговорчивая? – Батура пощёлкал косточками счётов, вставленных вместо разбитой шибки.

На деревне снова заиграл оркестр, завхоз приставил ладонь к козырьку, долго прислушивался, глядел в сторону клуба.

– Чего там у них? – поинтересовался он.

– Праздник какой-то...

– Гм...

Батура сдвинул кепку на лоб, почесал затылок, постоял над рекой, должно быть, силясь разглядеть, что происходит в Куликах, потом подошёл к зыбке, принялся что-то бубнить Нюрке. Та мотала головой, разводила руками, но Батура всё тёрся около, клал руку на Нюркино плечо и даже хватался за кушак, которым она раскачивала люльку.

– Давай уважь... – доносилось до Устина.

Нюрка отдала-таки кушак, сбегала в хату и вернулась оттуда повязанная белой косынкой.

– Давай не бойся... Я с ним тут побалакаю.

Она сдёрнула с крыши сарая весло и спустилась к лодке. Павлушка, должно быть, почувствовав, что Нюрка куда-то уходит, завопил, заколотил ногами.

– Ух ты! Ух ты! – Батура потрянул зыбку. – Горластый-то какой! Когда штаны носить будем? Поори мне! Живо оторву воробья, закину кошке.

Нюрка долго возилась с лодочным замком, наконец отомкнула, загремела цепью и отчалила.

– А вон, гляди, курица на крыше орёт, – заговаривал Батура Павлушку. – Дура пустоголовая. Давай-ка мы её из ружья трахнем.

Нюрка торопливо гребла, скоргыкала веслом по борту и всё оглядывалась на кручу.

«Кудай-то она? – заперезживал Устин, наблюдая из-под куста. – Мальчонку бросила. Не видит Татьяна...»

Ближе к середине тяжёлую плоскодонку подхватило течением, начало разворачивать. Нюрка суетливо совалась веслом то справа, то слева, но лодка не слушалась, с разгону ткнулась днищем в песок и остановилась.

– Чего там такое? – крикнул с обрыва Батура.

– Да мелко тут... – отозвалась Нюрка. – Совсем воды не стало...

Плоскодонка прочно села на тот самый песчаный язык, что уже под водой тянулся от острова. Нюрка упёрлась в дно веслом, попробовала сдвинуться, но лодка не поддавалась.

– Надо было тебе объехать, – досадовал Батура, раскачивая зыбку. – Живёшь, а речки своей не знаешь.

– Да ить побыстрее хотела...

– Ты вылазь теперь, вылазь! Чего сидеть? Подтолкни её.

Нюрка подобрала подол, послушно полезла за борт.

– На меня давай вороти! Куда ж ты её дальше-то задвигаешь? Экая бестолковая! Да цыть ты! – прикрикнул он на Павлушку. – Чего разорался? Цела твоя бабка.

Нюрка обошла лодку, ухватилась за цепь. Подол юбки выскочил из-за пояса, но она больше не подтыкала его, а, мокрая, растрёпан-

ная, с повисшим на шее платком, тянула за цепь изо всех сил, увязая в быстро таявшем под ногами песке.

– Покачай её, покачай! Чего без толку тянешь? – сердился Батура, не переставая дёргать за кушак.

За его спиной под турником размашисто мелькала зыбка. Павлушка, обессилев от крика, захлёбывался и сипел. Плач мальчишки ещё больше сердил Батуру, и он, топчась возле люльки, нетерпеливо кричал, ударяя пятернёй по бедру:

– Наваливайся на нос, подпрыгивай! Подпрыгивай, говорю... Раскачивай, чтоб вода под днище-то подпирала.

Нюрка попробовала исполнить то, что кричал ей Батура.

– Да не так! Не так, чёрт ты дери! Ты давай животом на нос дави, а потом отпускай. Поняла?

– Да уж я надавливаю...

– Ну давай по команде: раз-два, взяли! Ещё раз – взяли!

«Поди сам да попрыгай!» – озлился Устин и первый раз за весь день лапнул себя по карману, машинально отыскивая кисет.

– ...Ну ещё разок: взя-ли...

«Эть как настырничает! Эть командует! Чистый урядник. – Устин, сердито поглядывая на Батуру, начал стаскивать сапоги. – Совсем заездили бабу».

Он сбросил дождевик, ватник, торопливыми дрожащими пальцами расстегнул на штанах ремень.

– погоди, си-час! – крикнул он Нюрке, выходя из-за куста в одних подштанниках. – Не тужись без толку.

Его заметили.

– Во-во! Помогай, папаша! – обрадовался Батура. – Давай, подпихни, а то бабка одна не сладит.

Устин попробовал ногой воду. Он не купался в речке несколько лет, и даже мелькнуло сомнение: не разучился ли плавать?

– Да ты не бойся! – подбодрил его Батура. – Тут раку по это самое место...

– Не учи, едрёна Матрёна, – буркнул Устин.

Батурины слова насчёт «не бойся» ещё больше озлили Устина. Придерживаясь за ветки ивняка, он ступил одной ногой с берега, сразу ошугнулся до пояса, зашёлся с непривычки от студёно охватившей его глубины и постоял так, обывая и перебарывая сердцебиение. Потом, глотнув воздуха, решительно окунулся и поплыл незабытыми саженками. За его головой с прилипшими к черепу седыми волосами пусто пузырились кальсоны.

– Давай, давай, папаша!

Плыть до мелкого было недалеко, каких-то метров двадцать, но Устин быстро запыхался и, немного не дотянув, попробовал стать на ноги. Однако бегучий песок ускользал из-под пяток, быстрое течение воротило напрочь. Устин чуть не опрокинулся, но вовремя успел уцепиться за долгие, пластавшиеся на струе космы водорослей. Задирая бороду, чтобы не захлебнуться, он по-рыбьи хватал воздух, в глазах зарябило от радужной мути.

«Оплошал! – с досадой подумал о себе Устин. – Совсем никуда...»

Он отдышался маленько, снова поплыл и, когда толкнулся коленками о дно, встал и пошёл, пьяно шатаясь, животом обрывая травяные пуги и волоча за собой мокрые хвосты водорослей.

– Куда ж ты такой? – оторопело выговорила Нюрка. – Из больницы толечко, из-под ножа...

– Куда... куда... – огрызнулся Устин. – Ты-то куда?..

Он сердито отобрал у Нюрки весло, подважил им под носовой брус. Песок зашипел под днищем. Упрямо сопя, синяя проступившими рёбрами, Устин поддевал и поддевал веслом, орудуя как ломом, лодка мало-помалу начала подаваться.

– Лезь, отяжеляй тот конец... – велел он Нюрке.

На вольной воде лодку подхватило течением, понесло, Устин проворно вскочил коленками на носовое сиденье и, загребая выставленной ногой, направил лодку к Нюркиному берегу.

– Эй, дед! – замахал с обрыва Батура. – Куда правишь? Слышь!

Устин не отвечал.

– На ту сторону давай! – шумел Батура. – Глухой, что ли?

– Уважь ты ему Христа ради... – попросила Нюрка. – Перевези уж...

– Какое такое спешное дело? Небось, за водкой послал?

– Дак ведь пристал: дай выпить и дай... Я ему: нетути у меня, не гоню больше. А он: на деревню, говорит, сбегай. Там, дескать, гуляют нынче, у всех есть.

– На нет – и суда нет! – отрезал Устин.

– Когда сама гнала, дак и было. А позапрошлым летом милиция из району налетела... Для них, как конторских, и гнала, заставляли. Иной раз сами сахару привезут, дрожжей. Давай, дескать, займись... Им гулянья, а мне условный год присудили. Теперь вот зареклась больше...

– Зарок дала, а сама бежишь. От дитя-то хворого... Совсем ум отжила.

– Дак ить просит человек... И отказать нельзя: вся зависимая. Уж перевёз бы ты меня от греха... Я ведь всё собираюсь с ним насчёт алиментов обговорить.

– Какие тебе алименты? – плюнул за борт Устин. – Дочь уже сама мать. Надо было тогда и спрашивать, по горячему следу.

– Люди сказывают, положено мне... За выслугу-то годов.

– Дак то пенсию положено!

– А не знаю я, как это зовётся по-конторскому-то. Пенсию, дак и пенсию... Годки-то мои совсем повышли, ноги теперь не носят... Что ж я... И так всю-то жисть бесплатно. Ни копейки ломаной...

– Тебе рази зарплату не дают?

– Дак чего там... Одной натурою... Овощем всяким.

– Этакая ты, однако, дура! – досадовал Устин на Нюркину бестолковость. – Чего же не договаривалась?

– Дак чего... Живу и живу. Приедет новый начальник хозяйство принимать, спросит: кто такая? Сторожиха, говорю, здешняя. Ну ладно, скажет, сторожи... Вот тебе и весь договор... Просила Таньку написать бумагу, чтоб, стало быть, похлопотать. А она: это ж, говорит, письменное подтверждение надо, что я здесь работала, справки за все года. А какое подтверждение, ежели и так все знают, как я тут день и ночь верчусь... Уж перевёз бы ты меня, принесла бы

ему поллитру, дело таковское, не слиняю... Он человек новый, может, и пособил бы...

– Такое дело за поллитру не правят. Прокурору сразу и пиши. Чтобы по закону.

– Ох ты, грехи мои тяжкие...

Батура ещё что-то выкрикивал, но Устин, мелькая сухими локтями, борясь с течением, упрямо продвигал лодку к Нюркиному берегу и, когда лодка наконец ткнулась в мостки, велел Нюрке вылезать.

– А ну иди сюда, дед! – нетерпеливо потребовал Батура.

– Иду, иду...

Устин не мешкая полез наверх вслед за Нюркой. И пока он карабкался по крутым ступеням, помогая себе веслом, Батура попирал берег широко расставленными резиновыми ботфортами, возвышаясь над Ивицей во всей своей начальственной строгости. Нюрка смиренно прошла мимо него, забрала из люльки Павлушку.

– Ты чего ж это, а? – Батура обдал Устина козлиным духом распаренной кожанки.

– Дак а чего?

– Старый, а такой неуважительный. Сказано: на ту сторону надо!

Устин впервые видел перед собой незнакомо-замкнутое, с набегавшими на кожаный ворот багровыми бурдами лицо заречного завхоза, однако не дал себе стусеваться и, сам побагровев от отчаянной смелости, выпалил:

– А мне, мил человек, твой сказ не указ! – И для собственной твёрдости прибавил: – Понял?

– Да ты кто таков? – Батура смерил Устина с ног до головы.

Вид у Устина и верно был не весьма авторитетный, это он и сам за собой чувствовал: мокрая борода свисала обсосанной косицей, непросохшие подштанники облепляли тонкие голенастые ноги. Но Устин от сознания этого своего несоответствующего вида ещё больше взъерошился и мокрым бесом подскочил к Батуре.

– Кто? Ты думаешь, ежели я с кнутом, дак уже и никто? А ну, Нюрка, давай бумагу, буду протокол составлять.

– Какой ещё протокол? – С Батуриного лица сошла административная жёсткость, и проглянуло удивление.

– А вот узнаешь, как пропишу! – напирал Устин и, понимая ответственность момента, а также и то, что на плеть надо переть с обухом, решительно соврал, пристукнув веслом о землю, будто державным посохом: – Я, может, есть депутат райсовета, понял? И имею полномочия разговаривать со всяким.

– Ох ты Господи! – вздохнула Нюрка.

– Иди, иди, дед, отсюда, – захохотал Батура. – Хлебнул, что ли?

– А ты, гражданин, не смейся! – На Устиновом впалом животе малиновел рубец со следами недавних больничных ниток. Он поддёрнул подштанники и опять затребовал: – Давай, давай, Нюрка, бумагу! Писать буду, как этот гражданин принуждал к незаконности, самогон вымогал. А ты, гражданка, будь свидетель.

– Но, но! – Батура перестал смеяться. – Ты эти штучки, дед, брось! Не городи чепуху! Какой такой самогон?

– А ну, гражданка, подтверди! – потребовал Устин. – Дай показания.

– Я её на почту с телеграммой посылал. Чтоб рабочих на уборку давали. Скажи ему... – Батура обернулся к Нюрке: – Скажи, куда я тебя посылал?

– Устин Ваныч, не надо... – испуганно проговорила Нюрка.

– А ты помалкивай, ежели дура, – огрызнулся на неё Устин. – Я вот сейчас участкового кликну. Пусть ему ответит, по какому такому полному праву в запретном месте дичь стрелил. Вон она, улика, висит, убитая. – Устин ткнул пальцем в сторону застрехи. – Пусть участковый самолично спросит у этого гражданина письменное дозволение. Он думает, ежели на этом берегу, дак и сладу с ним нету? Это тебе не крепостное право, беззакония творить!

При упоминании об утке Батура окончательно смутился.

– Да ну вас всех к чёрту! – сплюнул он. – С дураками свяжешься – сам дураком будешь. Иди, дед, проспись...

Батура прошёл к хате, снял с гвоздя патронташ, принялся подпоясываться. Лицом он был хмур и строг, будто говорил тем самым, что больше не позволит шутить с собой дурацкие шутки.

– На той неделе капусту возить начнём, – крикнул он Нюрке хозяйственным тоном. – Ты тут тово, готовься... Контору хоть приברי.

Завхоз перекинул через плечо ружьё и направился к огородам. Нюрка с Павлушкой на руках угодливым бежком поспешила ему вслед.

– Сделаю, Захар Степаныч... Всё сделаю...

– Да шумутьё своё, смотри, не развешивай. Развела срамоту! И чтоб всякие посторонние, – он кивнул в сторону Устина, – не шлялись по территории. А то, поди, всю капусту растащили, депутаты эти...

– Всё цело, как есть...

– Да ты хоть глядишь-то?

– Гляжу, Захар Степаныч, как не глядеть?..

– Наверно, и носу не кажешь.

– Третьего дня ребятишки озоровали, дак шумнула. А так Бог миловал...

– Миловал! Смотри у меня!

Он поправил на плече ружьё и не спеша пошёл, на ходу оглядывая инвентарь и постройки, делая вид, что вовсе ничего не боится и уходит только потому, что нет времени разглагольствовать со всякими встречными.

– Всего хорошего, Захар Степаныч! – закачалась вместе с Павлушкой в поклоне Нюрка. – Уж вы не беспокойтесь...

Устин отошёл к берегу, сел, свесил ноги с обрыва и, всё ещё не остыв от горячего разговора, глядел в куликовские луга. Солнце уже хорошо припекало, стадо, насытившись, мирно полегло.

С Павлушкой на руках робко подседа Нюрка. Она долго разглядывала Устина, косясь на его немощную худобу, и в её опутанных морщинками глазах светилась грустная материнская озабоченность. Многие годы она не видела его вот так близко и теперь почти совсем не узнавала.

– Ты обратно-то на лодке езжай, – сказала Нюрка. – Не плыви больше... А Танька вернётся, дак и пригонит.

– Ладно... – кивнул Устин.

– Исхудал-то ты как, изболелся... А я, Узя, хотела тогда съездить к тебе в больницу. Уж и творожку припасла. Думала, съезжу, а то, может, и не увижу больше... Да вот не поехала, грешная...

– А, пустое... Об чём теперь говорить...

Они напряжённо замолчали. Павлушка добродушно сопел на её руках, изворачивался и всё норовил ухватить Устина за локоть. Устин долго недвижно смотрел в плоскую раковину лугов, потом перевёл взгляд на деревню, стал глядеть, как и кто успел перестроиться за это лето и сколь ещё домов под соломой. Старых домов почти не осталось, всё больше под шифером и под железом, а в одном месте, в щербатине между ракетами, будто вставной зуб, сверкала под солнцем даже цинковая крыша.

«Зажили люди...» – успокаиваясь, порадовался Устин, глядя на помолодевшую деревню, и вдруг остро почувствовал, что скоро ему уже не ходить по куликовским улицам, по этим лугам... Всё останется: и дома, и речка, и коровы... И будут жить другие люди... Татьяна, Валерка, Павлушка... Теперь это всё ихнее.

«Ничего, тепло ещё подержится, – утешал себя Устин, думая, что, пока постоит тепло, проживёт и он. – Осень, глядишь, будет погояя. До Покрова ещё сколь... В иные года стоит и стоит теплынь... Дак, а что ж, ежели Покров... Дровец насечь да печку истопить...» И он, сидя в отрешённом забытии, стал прикидывать, как бывает, когда падет зазимок. Вспомнил белый праздничный свет за морозными окнами, стрёкот сороки на коньке сарая, пахучую сухость сенных стогов под шапкой первой пороши, мягкое тепло впервые надетых валенок... И выходило, что после Покрова тоже бывает хорошо...

– Ну, мне, однако, пора... – очнулся Устин. – Скоро доить придут.

Он встал, подобрал с земли весло.

– Прощай, Анна, – сказал он со сдержанной строгостью и, не глядя на Нюрку, стал спускаться по ступенькам.

На мостках он отомкнул цепь, ступил в лодку, отчалил. Посудину сразу же подхватило течением, но Устин, стоя во весь рост, напрягшись, поворотил её и погнал на середину, в объезд острова.

– Заходи когда... – каким-то не своим голосом робко крикнула ему вослед Нюрка, оставшаяся сидеть на обрыве.

Устин не ответил. То ли не счёл нужным откликаться на пустое, а может, и не разобрал Нюркиных слов, потому что в Куликах снова загремела музыка.

Играли что-то весёлое, плясовое.



**Александр  
ДИВЕЕВ**

## **ХРАМ ОСЕНИ**

### **БЕРЁЗА**

Я нёс её сквозь снег и ветер  
Сторожко на исходе дня.  
И дела не было на свете  
Важней сегодня у меня.

Я понимал: быть может, поздно...  
Но мысли бились об одном:  
«Я посажу тебя, берёза,  
В честь встречи с милой под окном.

Я посажу, чтоб о подруге  
Любимой помнить ночь и день.  
А что случится – в зной разлуки  
Твоя нужна мне будет тень...»

И я, не скрою, с сожаленьем  
Воспринимал, поняв сполна,  
Прохожих лица в удивленье:  
Мол, зря, не примется она.

...Закончил я работу поздно.  
Шепталась на ветру трава.  
А на ветвях небес не звёзды  
Дрожали – синяя листва.

- 
- Александр Алексеевич Дивеев родился в 1951 году в деревне Ундольщино Кистендейского (ныне Ртищевского) района Саратовской области. Публиковался в журналах «Волга–XXI век», «Кастальский ключ» (Москва), «Природа и человек. XXI век» (Москва), «Странник» (Саранск), альманахах «Стрежень» (Тольятти), «Литературный Саратов», в коллективных сборниках. Автор поэтических книг «Звезда Антарес», «Плащаница Души», «На кресте любви». Серебряный лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси–2014».



### ЧТО Я СКАЖУ?

Что я скажу, перед Тобой явюсь?  
«Любил, страдал!  
А в общем – что там! – грешный.  
Душой тянулся к звёздам, падал в грязь,  
В раздумиях блуждая безутешных.

Я всех простил, прости меня и Ты,  
Что счастлив был порою ненароком,  
Что верил в дым лазоревой мечты,  
Обласканный ниспосланным мне роком.

Прошёл немало я тернистых вёрст,  
Испил сомнений не одну я чашу.  
Случалось, что сильнее синих звёзд  
Любил я незабудки и ромашки.

Прости за очарованность, когда  
Мне в суете сует вдруг удавалось  
Подглядывать, как трепетно звезда  
В колодце голубом душой мерцалась.

Прими таким, как есть. За всё прости.  
К Тебе торя нерукотворный мостик,  
Я дух питал, прильнувши, как к груди,  
К забытым бугорочкам на погосте...»

А звёзды всё мелькают, серебрясь,  
Дотла сторая в темноте кромешной.  
Что я скажу, перед Тобой явюсь?  
«Любил! Страдал!  
А в общем – что там! – грешный».

### ХРАМ ОСЕНИ

В светлый Храм – таинственную Осень –  
Я вхожу в берёзовом бреду.  
Падают, качаясь, листья оземь,  
В изумленье я по ним иду.

На щеках дождевки или слёзы,  
И душа смятением полна.  
Робко обнажаются берёзы,  
Оглушает сердце тишина.

Золотятся солнышком немножко  
Призрачного Храма купола...  
Как нежна берёзка у окошка!  
На погосте – как она светла!

Дальних голосов беспечный лепет,  
Паутинок в просини полёт.  
Бугорок с берёзкой, словно лебедь,  
В вечность синеокою плывёт...

### **ЗОРЬКА ПОГАСЛА**

Я живу на окраине города.  
Это, может быть, и не случайно:  
С детских лет рокотанье комбайнов  
Мне, в деревне рождённому, дорого.

Вижу редко сторонку я отчую,  
Но душой не расстался я с нею.  
До сих пор многих слов мне яснее  
Жёлтых копён в полях многоточие.

Вновь вечерняя зорька погасла...  
Добрый сон в край родимый уводит,  
Где в тиши за околицей ходит  
Конь стреноженный, масти Пегаса.

### **КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО**

После прошедшего ясного лета,  
Будто бы после дождя,  
Лесополоска радужным цветом  
Вспыхнула, вдаль уходя

Через поляны, поблёкшие склоны,  
Озимь зелёных небес.  
Кончилось лето.  
У горизонта  
В дымке колышется лес.

По небу птички проносятся стаи,  
Ветер трубит за окном.  
Кончилось лето.  
Жёлтые травы  
Утром горят серебром.



**Михаил  
МЕРЕНЧЕНКО**

## ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Домой Барсуков явился с полчаса назад, когда сын уже ушёл в школу. Барсуков был весь в жару от температуры, усталый, обросший щетиной, с заострившимся, как у покойника, носом тусклого жёлтоватого цвета. И глаза у него тоже были тусклые.

Увидев мужа, Мариша всплеснула руками и засуетилась. Уложила в постель, сунула ему под мышку термометр. Заварила чай на мялиссе, душице и зверобое. Достала малиновое варенье и парацетамол. Наказала, чтобы больше пил отвара, принимал таблетки, потел – одним словом, лечился. И – никуда из дома.

– А как же школа? – тихим, нездоровым голосом спросил Барсуков. – Что он там натворил?

– Большой и в школу пойдёшь? Детей заражать? Лежи уже. Вот он придёт, ты с ним и поговори как мужчина с мужчиной. Строго. Понимаешь, один только компьютер у него на уме. И не дай Бог переведут его на домашнее обучение.

– Это как?

– Придут к нам преподаватели и будут его учить по каждому предмету. Отдельно от класса.

– Что, вот так все скопом и придут?! – испугался слегка бредивший Барсуков.

Он представил у себя в квартире толпу людей, обучающих сына, и страдальчески поморщился. По правде говоря, он немного побаивался и недолюбливал учителей. Со школьной поры. И тому были причины. Поэтому, словно защищаясь, натянул одеяло до подбородка. У него даже голос прорезался, и он как бы взвизгнул:

– Не надо мне этого!

- 
- Михаил Петрович Меренченко родился в 1945 году в Саратове. Окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Прозаик. Работал исполнительным директором и редактором в саратовских издательствах. Публиковался в журналах «Южная звезда», «Волга–XXI век». Автор двух книг прозы. Лауреат всероссийских литературных конкурсов им. В.М. Шукшина (2008) и им. М.Н. Алексеева (2009).

– Нет, – улыбнулась жена, – они будут ходить по очереди. Сегодня, допустим, математика, завтра физика, ну и так далее. Вот что такое домашнее обучение. Конечно, хорошего в этом мало. Вот и объясни ему, что и как...

– Легко сказать «объясни», – слабым голосом возразил Барсуков. – С другой стороны, дураку понятно, наш сын должен учиться в школе со всеми детьми вместе. А не шкродить...

– Вот-вот, об этом и побеседуй. А то как только придёт из школы – и сразу за компьютер. И торчит, и торчит за ним. То всё какими-то Дельфийскими играми интересовался. А сейчас ему новую игру дали – автомобильные гонки. Так даже по утрам к компьютеру садится.

– Я ему покажу Дельфийские игры! – сурово прошептал Барсуков. – И гонки покажу!

– Вот-вот. А то тебе всё некогда сына воспитывать. У тебя всегда одни отговорки: ладно тебе да ладно. Вот и результат.

– Да ладно тебе. Обязательно поговорю. Ещё как поговорю! – голос Барсукова снова окреп, и больной чуть привстал, словно бы ему опять померещился целый сонм учителей возле его кровати. – Я ему такое домашнее обучение устрою!..

– Успокойся, – Мариша положила Барсукову ладонь на лоб и вытащила градусник. – Тридцать восемь и шесть! Тебе сейчас нельзя так волноваться. Но, главное, поговори с ним душевно, искренне. Ты сумеешь. И обязательно ровно в восемь, когда начнёт работать поликлиника, вызови врача.

Мариша взглянула на часы и опять всплеснула руками. Точно, она опаздывает! И уже на ходу, надевая пальто, попросила заплатить за три месяца уборщице, если та придёт, конечно. И убежала на работу. А вот денег не оставила, забыла.

Барсуков налил заваренного на травах чая и открыл банку малинового варенья. Упаковку парацетамола отложил в сторону. Посмотрел на часы. Пошвырялся в своей дорожной сумке и вытащил оттуда бутылку коньяка.

По дороге домой Барсуков, несмотря на температуру и слабость в теле, зашёл в «Пятёрочку». Просто так. Может, чего вкусненького прикупить, копчёной колбаски там, рыбного балычка или конфет шоколадных. Побаловать своих. По правде говоря, он очень истосковался по жене и сыну. Вот и пусть немного порадуются. Но, войдя в магазин, увидел, что все полки со спиртным занавешены плотной брезентовой тканью.

– Не понял?.. – озадаченно пробормотал он и спросил у кассира: – Валь, это что за театр? Учёт?

– Ты что, с луны, что ль, свалился? – удивилась Валя. – Алкоголь продаём с десяти часов. Закон такой вышел. Будто не знаешь. Иль придураешься?

– Так я только что прилетел из Сургута. Откуда мне знать?

– С вахты, что ль?

– Ну да. Месяц дома не был. Вот только что с самолёта.

– А что, Сургут – другая страна, что ль? Иль там магазинов нет? Точно, придуряешься! – Валя прищурилась и рассмеялась. – Хватит тебе...

– В Сургуте нам не то что выпить – поесть-то как следует некогда, – с раздражением глядя на свисающий с полок брезент, сказал Барсуков. – Одна работа на уме. Какие там, к чёрту, магазины? А домой приедешь, и тут – на тебе...

– Ну, не знаю. Может, ты и правду говоришь. Но закон распространяется на всю нашу великую Родину. Вот так!

– Такое мы уже проходили, – сердито сказал Барсуков, пристально глядя на полки с временным табу. – И знаем, что из этого получилось. Сознательно опять наступаем на грабли. Исторический опыт нас ничему не научил.

И вдруг отчётливо и пронзительно понял, что ему позарез нужна бутылка спиртного. Как только увидел этот до противности запретный брезент, мешковато свисающий с винно-водочных полок, то сразу всё это остро, почти до боли в сердце осознал. Да, да, никакой сервелат ему не нужен, никакие конфетки, никакие селёдки. Необходимо ему сейчас, как студёная вода после хорошей парной, пол-литра горячительного напитка. Он сюда и пришёл именно за этим. И только за этим.

– А сколько времени-то?

– Десять минут восьмого.

– Это что ж, почти три часа ждать?

– Ну и подождёшь. Что, горит у тебя, что ль?

– Валь, уважь меня, как своего доброго старого соседа. А? Продай пузырёчек.

– Нет.

– Я тебя умоляю!

– Не-э-эт...

– Валь, я простыл, температура высокая. Мне подлечиться нужно. Ну, болею я. Вот, пощупай-ка мой лоб. – Он даже шапку снял и голову нагнул. – Горю весь!

– Пусть жена тебя щупает. Сказала: не дам!

Барсуков стоял и смотрел в честные глаза кассира. Долго смотрел.

– Чего глядишь-то? Всё равно не дам.

Она со стуком задвинула ящичек кассы.

– Валь, а помнишь, я тебе замок дверной открыл, когда ты ключи потеряла, а мужик твой на вахте был?

Брови у женщины слегка дрогнули, и она отвернулась. Он подождал.

– А кто тебе кран в ванной поменял, когда ты слесарей вызвала, да так и не дождалась? А ведь ты могла залить соседей!

Брови поползли по белому лбу Вали вверх, кассир привстала, чтобы уйти, но Барсуков загородил ей выход.

– И наши сыны вместе учатся, Валюш.

Продавщица сердито посмотрела на соседа.

– Барсуков, ты хочешь, чтобы меня оштрафовали? Или уволили с работы?

– Валь, никого в магазине-то нет. Ты посмотри. Я, что ли, заложу тебя, такую классную соседку? А кто твоему мужику, в конце концов, помог устроиться на хорошие деньги в тот же Сургут? – бросил на кон свой последний козырь Барсуков. – Вальш, ну же...

Кассир подумала, глубоко вздохнула и воровато оглянулась. Действительно, рядом никого не было. В глубине зала стояла одна старушка в чёрном пальто с лисьим воротником.

– Тебе чего, водки? – наконец спросила Валя.

– А давай коньяку. Бутылку.

– Бери больше, – серьёзно сказала Валя, – после Нового года наценка будет на алкоголь. Тридцать процентов.

– У меня денег нет на «больше-то». Говорю: только что с самолёта. Потом, может, приду. Отлежусь и приду.

Валя сунула ему в сумку коньяк так стремительно, словно у неё в руке была горящая головёшка. Чек выбивать не стала, но сдачу протянула. Барсуков великодушно отказался. А женщина вдруг рассердилась: тоже мне Абрамович нашёлся! И шваркнула, катнула по прилавку ему вдогон три больших жёлтых лимона. На закусь! Как это заведено и положено у настоящих богатеев и ценителей благородного крепкого напитка.

– Гуляй, рванина! – насмешливо сказала она. – Горбатитесь, горбатитесь вы на этой вахте, на морозе, вдали от дома, здоровье гробите, простужаетесь вот. А здесь, значит, швыряетесь деньгами, словно их у вас куры не клюют. И мой, наверное, такой же. Наши-то олигархи, поди, каждую копейку считают. Эх, вы!.. – И рукой махнула.

Барсуков услышал, как часы медным певучим звоном пробили восемь.

– Как это по Гиппократу? – сказал он и налил в стопку коньяку. – Если ты действительно веришь в целительную силу лекарства, если знаешь, что тебе поможет именно это лечебное средство, то...

И аккуратно опрокинул рюмочку в рот.

Нарезал лимончиков, посыпал их сахарком. Пососал дольку и улыбнулся, вспомнив Валентину. Как она, пугливо оглядываясь, шустро сунула ему в сумку запретный товар и обозвала Абрамовичем. Попил чайку с малинкой, ещё дёрнул рюмашку. И – под одеяло, потеть, значит. Как Мариша наказывала. Попотел немного, повторил процедуру с приёмом лекарственных напитков ещё раз. Немного погодя почувствовал, что ведь легче ему сделалось! Хорошо очень. Он даже поднялся с кровати и стал ходить по квартире и песню какую-то мурлыкать. Бывает же так: пристанет какой-то мотивчик из попсы, и ходишь с ним, и мурлычешь, мурлычешь до умопомрачения. Вот Барсуков и замурлыкал. Ах, как славно стало! Потом взял новую книгу Веллера, но не пошло – как-то уж слишком заковыристо оказалось. Он достал томик Пушкина с полки, но опять не читалось, не лезло ничего в голову. Мотивчик, может быть, не давал сосредоточиться, а может, потому что с температурой у него было не совсем в порядке...

Положил книгу на стол в зале и телевизор включил. И тут зазвонил телефон.

– Да, – сказал он ласковым, проникновенным голосом. Ему казалось теперь, что весь мир отмечает сегодня какой-то праздник. – Я вас внимательно слушаю.

– Здравствуйте. Это звонит Наталья Михайловна, классный руководитель Серёжи. Вы, случайно, не папа его?

– Он самый.

– Кирилл Иванович, жена говорила, что я уже дважды просила вас прийти?

– Да. Но я только что прилетел с вахты. А что случилось-то?

– Кирилл Иванович, никак не заставим вашего сына уроки физкультуры посещать. Не знаем, что и делать. А вы не можете подойти? Прямо сейчас. Вы же рядом живёте.

– Без проблем, – бодро ответил Барсуков, – это я мигом!

Собираясь, он вдруг рассердился на сына. Отец, понимаешь ли, батрачит целыми месяцами в Сибири, в грязи, холоде, неудобствах. Себя, понимаешь ли, гробит, деньги зарабатывая. Для кого, спрашивается? Конечно же, для своего единственного сыночка! Как же – отдали в лучшую гимназию города, в класс с профильным изучением английского языка! Пусть хоть сынок в люди выйдет, поживёт по-человечески. Да и вообще, ни в чём отказа сыну не было. Велосипед накрученный нужен? На тебе, сынок, велосипед, круче которого ни у кого во дворе нет. Компьютер нужен? На тебе, сын, самый лучший компьютер. Приставки там разные, игры, фильмы, флэшки, диски всякие нужны? Получи, сыночек, и это! Сейчас самостоятельно копит на какой-то смартфон. А как копит? С каждой полочки у отца по пятьсот рублей просит. И так захотелось возмездия! Ну, сынок, погоди! Посидишь ты теперь у компьютера, поиграешь! Будут тебе и Дельфийские игры, и автомобильные гонки!

Барсуков быстренько оделся, обулся и только у дверей понял, что идти в школу ему ну никак нельзя! Пьяненький он, сам Барсуков то есть. Не то чтобы очень заметно было (он начинал хмелеть по-настоящему только после литра выпитого), но почти полбутылки коньяка успел уже скушать. С малинкой и с чайком на лимончике. Да и спиртовой дух, само собой, был изо рта. Хоть и благородный, коньячный, но всё равно – запах. Поэтому Барсуков в раздумье принял очередную дозу лекарства, разделся и – снова под одеяло, потеть, значит.

Да не тут-то было. Через полчаса снова позвонили, но уже в дверь. Он открыл. Стояли на пороге трое: сын, Наталья Михайловна (она преподавала русский язык и литературу) и ещё незнакомая маленькая женщина. Полная, немного форсистая такая особа, с глазами чуть навывкате. Она была в куртке нараспашку и в спортивном костюме. Барсукову подумалось, что это пришла уборщица, которая в их подъезде полы моет за отдельную плату. Вроде на неё была похожа женщина. Поэтому он так ласково и сказал ей:

– А у меня денег нет, дорогуша. Эти ваши дела денежные вы с женой решайте. Я здесь ни при чём.

Та удивлённо посмотрела на Барсукова, на Наталью Михайловну, но ничего не сказала, сбросила куртку, прошла в зал вместе со всеми и села на диван. Барсуков тоже удивился: чего это в его квартире этой уборщице-то надо? Но подумал, что та хочет Маришу увидеть и деньги, наверное, ей нужны. Ладно, скоро Мариша на обед придёт, вот заодно и рассчитается с женщиной.

– Вы уж извините меня, Наталья Михайловна, – продолжал виновато Барсуков, – перед самым вылетом домой пришёл кирдык, как я выражаюсь иногда. Мой «газон» сломался. Вот пару часов на ветру и морозе пластался под машиной. Да ещё в снегу. Слава Богу, к самолёту успели. Но, видать, простыл. А может, и грипп у меня. Вот и побоялся пойти в школу... – Он вспомнил слова Мариши: – Как бы не заразить детишек. Я уж, было, совсем собрался...

– И правильно, что не пошли, – улыбнулась Наталья Михайловна, – тем более сейчас эпидемия. Да и я давно к вам собиралась в гости. Посмотреть, как вы живёте, какая тут у вас домашняя атмосфера.

Расселись все вокруг его Серёжки и замолчали. Наталья Михайловна – она первый раз у них была дома – вздохнула глубоко, осмотрелась. Барсуков за ней тоже глазами следил. А что? Квартира у них трёхкомнатная, светлая, просторная. Всё убрано, полный порядок – ни пылинки, ни соринки. Мариша в этом плане у них настоящий диктатор. Стены в книжных полках: Пушкин, Лермонтов, Есенин, Достоевский, Толстой. Были и современные: Астафьев, Распутин, Шукшин и многие другие хорошие писатели. Это всё сам Барсуков насобирал. Была, правда, там и дрянь всякая. В дешёвых мягких переплётках. Детективы, например, женские любовные романы, что-то ещё эротическое. Это Мариша приносила. Он как-то хотел выбросить к чертям собачьим весь этот, по его мнению, хлам, но Мариша пригрозила, что тогда и она всё остальное выкинет на улицу. Так что пришлось смириться. А сейчас немного стыдно стало перед Натальей Михайловной за эти дешёвые книжки. Но та, очень довольная, всё осматривалась. И Барсуков продолжал как бы её глазами видеть свою квартиру. Стенка у них огромная, до самого потолка, и буфет такой же, импортный, – всё из ореха. А в нём, в буфете, посуда хрустальная, чешское стекло, чайный сервиз, супница литра на три, как и положено – горка. На полах ковры, кожаные глубокие кресла стоят, обеденный круглый стол, вообще вся мебель солидная, люстра хрустальная, компьютер у окна, телевизор в полтора квадратных метра, цветы в глубоких вазах. И у стены, возле цветов, – часы напольные с боем. Кажется, всё пристойно...

Только вот нарезанный на блюде лимон и рюмка с коньяком на тумбочке всё-таки хулили, наверное, в глазах классного руководителя благость домашнего уюта. Да и сам-то Барсуков выглядел как бомж: небритый, в помятой пижаме. Но в общем, кажется, Наталье Михайловне очень всё понравилось. А увидев на столе томик Пушкина, учительница совсем уже расцвела и удивлённо спросила:

– Кто же это читает?

– Я, – сказал Барсуков и осклабился. – Вот отлёживаюсь, жду врача, почитываю.



– Вы интересуетесь Пушкиным? – вдруг насмешливо спросила форсистая особа.

– Не то слово! – обрадовался Барсуков. – Я Пушкина очень люблю. У меня столько литературы о нём. Могу и вам кое-что рассказать. Всё о нём знаю.

Барсукову вдруг очень захотелось поговорить. О Пушкине, о Лермонтове, вообще о ком или о чём угодно. Он по-настоящему обрадовался пришедшим и вроде как забыл, для чего они явились. Тем более что от сына Барсуков слышал о Наталье Михайловне только хорошее. Уж очень нравилась она сыну. И литературу как предмет Серёжа любил. И ещё мысль шальная мелькнула в захмелевшей голове Барсукова: может, выставить коньяк гостям (он был под столом) да распить мировую? В дружественной, тёплой обстановке. На высшем уровне. И все дела...

– Всё о Пушкине нельзя узнать, – возразила Наталья Михайловна. – Он бесконечен и непознаваем. Пушкин – это всегда открытие. Это – бездонный колодец мысли и кладезь мудрости. Он – гений. И вообще – замечательный человек. Добрый, порядочный, воспитанный. Совсем уж не как наши нынешние дети. К сожалению.

Наталья Михайловна с укором посмотрела на Серёжу. Тот стоял, шмыгал носом, вытирался рукою. Набычился ещё, а видно было: вот-вот расплачется. Барсукову стало жалко сына.

– Немного и мы проказили, бывало... – сказал Барсуков, чтобы как-то смягчить обстановку. – Мы все учились понемногу... Чему-нибудь и как-нибудь...

– Что вы имеете в виду? – строго спросила женщина в спортивном костюме.

– А ничего особенного, – покосился на неё Барсуков, – так я... хоть вы и посторонний человек, но хотелось бы мне рассказать вам вот что. Знаете, когда Пушкин учился в Царскосельском лицее, то воспитанники его лазили за яблоками к царю в сад. К Александру I. Там у царя была... как бы по-нашему... дача. Вот они и лазили к царю за яблоками. И наш Пушкин лазил. Царь даже жаловался директору лицея, что воспитанники его, лицеисты, обобрали у него, царя, весь шафран. А царь очень любил этот сорт яблок. Он даже просил наказать виновных.

– Вы это серьёзно? – снова спросила женщина и пристально посмотрела на Барсукова, затем на рюмку с коньяком на столе, два раза громко втянула носом воздух. И многозначительно перевела взгляд на классного руководителя. – Наверное, Пушкин закусывал этим шафраном... Нет, неужели Пушкин действительно таскал у царя яблоки?

– Ещё как! – воскликнул Барсуков. – Он же тогда мальчишкой был, почти как мой Серёжка! И что тут особенного? Помните, в пушкинских ранних стихах: «И прыгал в сад через забор...»

– Да хватит ерунду городить! – сказала как отрезала женщина. – Что, у Пушкина яблок, что ли, своих не было? Он же помещиком был.

Барсуков напрягся от этих слов и подсадовал, что впустил женщину в квартиру. Лучше бы она подождала Маришу на лестничной площадке. Лицо у него стало очень строгое.

– Такое могло иметь место как исторический факт, – поспешно сказала Наталья Михайловна. Она заметила, как изменился в лице Барсуков. – Да, якобы император Александр I обращался по этому поводу к директору Царскосельского лицея барону Энгельгардту. Жаловался на лицеистов, что они, якобы, лазают к нему в сад за яблоками. Но, скорее всего, это домыслы писателей, биографов или журналистов. А уж насчёт шафрана я совсем ничего не знаю, какой именно сорт яблок любил Александр I.

– Конечно, всё это журналюги насочиняли, – сказала женщина, – им всегда жареное подавай. Тут и думать нечего. Больно нужно Пушкину воровать царские яблоки – это же позорище для нашего гения!..

– А то, что Пушкин не в ладах был с математикой и у него по этому предмету оценки были не всегда положительными, – это тоже жареное?! – радостно и вызывающе спросил Барсуков у женщины. – И то, что они с его соседом по комнатам, Пушиным, будущим декабристом, озоровали и кидались перед сном подушками, так что пух и перья летели?! А дядька их, воспитатель, вежливо укорял и разнимал озорников-пацанов – это тоже домыслы?

– Откуда всё это известно? Сам придумал? – снова спросила женщина.

Барсуков почувствовал, как бледнеет у него лицо и покалывает в скулах. Надо же, пусти козла в огород с капустой! Но опять сдержался и сказал:

– Не верите? Так я вам сейчас найду, где всё это есть!

Барсуков приподнялся, чтобы взять с полки книгу, но Наталья Михайловна сказала:

– Давайте лучше о вашем сыне поговорим. Пожалуйста.

– Хорошо, давайте, – согласился Барсуков и повернулся к Серёже. – Ну, рассказывай, сынок, чего ты натворил в школе. Не томи душу.

– Умел нашкодить – умеи и отвечать за свои проделки! – строго подтвердила женщина.

– Чего молчишь-то? – снова спросил Барсуков.

Но спросил вяло, без особой охоты вникать в суть дела. Настроение у него, понятное дело, испортилось. Вообще, Барсуков слегка побаивался и недолюбливал учителей именно за эту их бесцеремонность и очень уж видимую и необходимую в их профессии строгость. Учителей он как бы приравнивал к полицейским и врачам и считал многих представителей всех этих профессий людьми немного испорченными. Почему? Да потому, что у всех у них есть реальная власть над остальным человечеством. А власть, как известно, портит людей. Это он понял в девятом классе, когда его страшно и несправедливо унизили. Словно растоптали.

Поэтому Барсуков тяжело вздохнул и повернулся к сыну.

– Говори, сынок, что натворил, – снова подбодрил он Серёжу. – Не молчи только.

А тот продолжал шмыгать носом.

– Это у них хорошо получается, – громко и назидательно заговорила, почти закричала резким голосом женщина, – нахулиганят-нахулиганят, а потом молчат. Вроде бы ничего и не случилось. Молчат, и всё тут! А ну-ка отвечай, когда с тобой старшие разговаривают!

Звонко это так получилось у неё и очень уж строго и... противно. Совсем как на дороге, когда Барсукова останавливали инспектора ГИБДД и сразу же начинали давить на психику. Чтобы штраф хороший сорвать. В таких случаях Барсукову хотелось тоже что-то злое сказать в ответ, но... Он тогда чувствовал только, как немеет его лицо и бледнеют скулы.

Вот и сын сейчас совсем побледнел. Всё это Барсукову очень не понравилось.

– Тебе-то что надо, тётя? – рассердился он. – Шла бы ты отсюда. Мы тут без тебя разберёмся. Видишь, моей жены дома нет. К ней насчёт денег обращайся. Ну-ка, пошла, пошла быстренько на выход.

Барсуков привстал и сделал движение к женщине. И увидел, как выпуклые глаза её совсем чуть не выкатились из орбит и белки покрылись красноватыми прожилками. Она судорожно вздохнула, и губы у неё задрожали от обиды.

– Кирилл Иванович, – вмешалась Наталья Михайловна, – так это же наша учительница физкультуры, Валентина Петровна. Новая. Вот на её-то уроки и не хочет ходить ваш Серёжа.

– Да? – удивился сконфуженный Барсуков и бухнулся назад в кресло. – Извините, я совсем другое подумал. А где ж Владимир Алексеевич? Ну, Шиширин! Он же у вас был физкультурником.

– Уволился. По собственному желанию, – ответила Наталья Михайловна и обернулась к сыну. – Серёжа, давай-ка рассказывай всё по порядку. В чём наши проблемы?

Барсуков снова посмотрел на сына, физкультурницу, Наталью Михайловну и подумал: вот был один мужик-преподаватель в гимназии, хороший человек, и тот уволился. По собственному желанию. К Шиширину, кстати, Сергей ходил на занятия с большим удовольствием. А теперь вот вы, женщины, ходите тут, жалуетесь, сами справиться не можете. Эх, училки вы мои дорогие! Но для порядка нахмурился, округлил глаза и сказал строго:

– Сергей, мы тебя слушаем!

И кулак исподтишка ещё сыну показал.

А Серёжа вдруг заплакал. Да так жалобно, так голосисто, что у Барсукова душа точно остановилась, замерла, а потом куда-то вниз ухнула. И словно разбилась вдребезги. И тихо стало. Словно мотор у его машины заглох на шумном оживлённом перекрёстке в часы пик. Или как будто он, Барсуков, врезался на всём ходу в бетонный забор...

– Сыночек, что с тобой?

– Она... она бьёт меня...

– Кто?!

Серёжа, продолжая всхлипывать, одной рукой вытирал слёзы, а другой показал на физкультурницу.

– Вот... она... меня бьёт...

Некоторое время все сидели и молчали. Слушали, как плачет Серёжа.

– Ну вот и кирдык пришёл, – растерянно сказал Барсуков.

Но тут опомнилась физкультурница.

– Серёженька, да я тебя просто так, чуть подтолкнула. Чтобы ты в строй встал. Ты же совсем меня не слушаешь.

– Нет, она бьёт меня! – уже выкрикнул тонким голосом Серёжа. – Каждый раз больно бьёт по голове. И больше на её уроки я ходить не буду, папа!

И зарыдал во весь голос.

Потом что-то говорили Наталья Михайловна, физкультурница, потом опять Наталья Михайловна. Затем обе заговорили вместе, перебивая друг друга. Барсуков сидел, вроде бы слушал, но ничего не слышал. Смотрел на сына. И так жалко ему стало своего Серёжку! И реветь тоже захотелось...

Он сказал медленно:

– Вот когда Пушкин и Пущин перед сном не могли уговориться, озоровали и кидались подушками так, что из них пух летел, то их дядька-воспитатель только и говорил им: «Господин Пушкин, не балуйтесь ради Бога! Господин Пущин, уговоритесь, пожалуйста! Экие же вы непослушники». И говорил до тех пор, пока мальчишки эти двенадцатилетние не успокаивались. Но руки не распускал. Не бил их по головам. Но, заметьте, какие люди из них выросли! А у того крепостного дядьки высшего образования не было.

Барсуков замолчал. Молчали и обе учительницы. Повисла неловкая, пустая тишина...

– Вот что, дорогие ж-ж-женщины, – с трудом сказал наконец он, – я сегодня же позвоню Павлу Астахову. По горячей линии. Знаете такого господина? Ну, представитель президента по защите прав ребёнка. Скажу ему, так, мол, и так, моего ребёнка в школе учителя бьют. По голове. Вот тогда и поговорим. Только уже в другом месте. А сейчас продолжайте рулить свой маршрут дальше. А мне нужно лекарства принимать. Болею я. Серёжа мой пусть дома останется, если вы не возражаете, конечно...

Женщины встали как по команде и, неловко подталкивая друг друга, поспешили из комнаты.

– Нет, ну совсем не так было в действительности! – на ходу горячо оправдывалась Валентина Петровна. – И это было только один раз...

– Ах, почему вы мне об этом не рассказали? – раздражённо спросила Наталья Михайловна. – Это ни в какие рамки не лезет...

Правда, перед дверью Барсуков чуть попридержал Наталью Михайловну за рукав и прошептал тихонько:

– Вы не сердитесь на меня, пожалуйста. Никакому Астахову я, конечно, звонить не стану. Уж больно мне Серёжку жалко стало. Приходите к нам ещё, но только одна. Мы с вами о многом поговорить можем. Я на филфаке тоже учился. Почти три года. А там в армию взяли. Потом женился, и не до учёбы стало. Кормить семью надо было, а какие сейчас зарплаты в школе, сами знаете. А вот

к книгам тяга до сих пор осталась. Сам читаю много, размышляю о разном, и Серёжу стараюсь приучить. Но вот пока что не получается, как хотелось бы... Приходите, но без этой физкультурницы, ладно? Ну её...

Наталья Михайловна только пожала плечами.

Когда дверь за женщинами закрылась, Серёжа спросил с тревогой в голосе:

– Ты правда будешь жаловаться на Валентину Петровну?

– Да нет, конечно, – устало сказал Барсуков, – нужна она мне больно! Сто лет.

– И правильно, – сразу расслабился Серёжа.

– Так её ж, дуру, сразу с работы погонят. – Барсукову понравилось, что сын одобрил его слова. Он даже немного растрогался. – А то ещё и под суд отдадут.

– Из-за меня?

– Ну, да. Хочешь этого?

– Нет, конечно, пап, а разве училка может быть душой?

– Может, сынок, ещё как может! – машинально сказал Барсуков.

Он думал о том, как бы поделикатнее перейти к воспитательному разговору.

– В теперешнее время, и особенно в нашей стране, всё может быть...

– А Наталья Михайловна тоже дура?

– Ну, вот и договорились... – опомнился Барсуков и взлохматил пятернёй волосы.

Не надо было так откровенно с сыном-то. Совсем мал ещё Серёжка, не поймёт. И нужно менять тему.

– Наталья Михайловна – это... это человек с большой буквы. Настоящий учитель. Я, сынок, лишнее сболтнул. Забудь. Ты прав, сынок: учительницы дурами ну никак не могут быть. Они же институты оканчивают. Вот. Ну какие же они дуры?

– Слушай, пап, а про Пушкина ты откуда всё знаешь?

Барсуков снисходительно, ласково так посмотрел на сына.

– Эх, Серёжа! Я не только много про Пушкина знаю. И если бы не один случай, то у меня другая судьба бы была. И жизнь другая.

– Какой ещё случай, пап? Расскажи.

Барсуков помолчал, подумал, стоит ли вспоминать давно случившееся. Решил, что стоит.

– Когда-то и я учился в школе. Только, в отличие от тебя, на одни пятёрки. На «золото» тянул. А тут мои родители переехали в другой город. Ну, естественно, и я с ними. Вот. И в новой школе я как-то сразу не поладил со своим классным руководителем, учителем химии. Звали её Роза Васильевна. Фамилию её не помню. Кажется, то ли Глобус, то ли Грабус... Но не в этом суть. Возненавидела она меня сразу люто. У нас с ней чуть ли не война была.

– Это почему же? – удивился Серёжа.

– А вот поди разберись! Я – новенький, с большими амбициями – как же, круглый отличник! А она тоже не лучше меня. Ты-то

чего спрашиваешь? Сам-то почему не ходишь на уроки физкультуры? Подумаешь, по голове его щёлкнули раз-другой. Что, было больно?

– Да нет. Обидно только и стыдно. И смеются все вокруг. Особенно девчонки.

– Вот-вот, гонору много в тебе. Ну, и я такой же. И она подговаривала учителей, чтобы они все мне двойки выставили за год. Чтобы оставить меня на второй год и освободиться от меня. Это я потом узнал. Конечно, ничего из этого не получилось. А вот по химии она мне всё-таки двойку за год отоварила. И я – второгодник. Представляешь? Я – бывший пятёрочник, считай, лучший ученик, и – бац! – на второй год. И я сломался. Из школы ушёл, учиться наотрез отказался. Потом, правда, вечернюю закончил.

– А «золото» получил?

– Какое там, сынок, «золото»? Там чугуном пахло, – усмехнулся Барсуков. – И с тех пор не мог я нормально с учителями общаться. Неприязнь какая-то к ним появилась, и что-то такое вот тут, – Барсуков постучал себя по груди тяжёлым кулаком, – не знаю. Потом потихоньку-полегоньку ну как-то всё вроде и забылось.

– Пап, а можно мне поиграть пока на компьютере? – спросил Серёжа. – Ты говори, а я поиграю. Мне классную такую игру дали. «Автогонки» называется, настоящие американские. На «Ягуарах».

– Понимаешь, дело какое, – словно не слыша сына, начал Барсуков, – в любом случае уроки пропускать нельзя. Даже если учитель не прав. Нет, в данном случае я не за учителей, но и не за тебя. Совсем нет. Учитель – это святое. И в основной массе своей они, наверное, замечательные, славные люди. Но сама школа... вернее, порядки в нынешней школе мне очень не нравятся. Я говорю не конкретно о твоей школе, а вообще о школе как о государственном организме и форме образования молодёжи в нашей великой стране в целом. Вот!

Барсуков передохнул и даже сам подивился своей заковыристой фразе. Здорово у него так получилось! Вот бы Наталья Михайловна услышала! И он ещё сказал, глядя на сына:

– Государственный подход должен быть ко всему школьному образованию! А что на самом деле происходит? Взять хотя бы ЕГЭ – будь он неладен. Ввели его. А для чего? Я думаю, для того, чтобы вы, молодые, научились не мыслить, а только кнопки нажимать. Ведь что такое предлагаемое ученику данное тестирование? Уметь найти нужную кнопку из нескольких предложенных вариантов ответов. Это очень похоже на лотерею. Или как будто вы мартышки в цирке, честное слово! Вас адрессируют, вы ткнёте кнопку – и, может, выберете правильный ответ. По теории вероятности самый неуч из неучей может нажать нужные кнопки и получить отличную оценку по знаниям, которых у него просто нет.

– Вот бы мне эти кнопки знать! – радостно воскликнул Серёжа. – И был бы тогда я круглым отличником!

Барсуков неодобрительно посмотрел на сына. Хотел поправить, съязвить, что круглые бывают не только отличники. Но, вспомнив наказ Мариши поговорить с сыном душевно, искренне, сдержался.

– Ты не перебивай отца-то, когда он говорит. Нехорошо это. Дальше пойдём...

– Пап, ну можно я поиграю? Совсем немного. Разреши, а? А ты свой коньячок допей.

– Какой коньячок? – испуганно встрепенулся Барсуков.

– А вон под столом стоит. Да ладно тебе, я знаю, ты всегда так лечишься, когда простудишься. Пей на здоровье! И я мамке не скажу, честное слово! Ну разреши, а?

– Только один раз. И – за уроки. А то мать явится, и кирдык нам.

– Угу, – кивнул Серёжа, не отрываясь от монитора. – Пап, а что такое кирдык?

Барсуков постоял, подумал некоторое время, почесал в затылке, посмотрел через плечо сына, как на мониторе мчались по автобану два «Ягуара». Один зелёный, другой жёлтый.

– Это, сынок, когда на скорости в двести километров тормоза отказали, а впереди – сплошной забор из бетонных плит, – сказал он. – И объехать ограду ну никак нельзя! Понял?

– Угу, – снова кивнул сын, напряжённо глядя в монитор.

– Твоя какая? Жёлтая? – впиваясь глазами в экран, спросил Барсуков.

– Угу.

– Газуй на всю катушку! – вдруг закричал Барсуков. – А то у тебя сейчас кирдык будет!

Сын не ответил. Только тяжело вздохнул и опустил руки.

– Ну как же так? – расстроился Барсуков. – Ты ж его обходил на повороте. Больше газу надо было, больше!

– Пап, разреши, я ещё сыграю. Ну можно ещё разик! Так не хочется заканчивать проигрышем.

– Давай, но только по-быстрому, – согласился Барсуков, – но ты прижимай его на повороте, прижимай! И газуй. Тогда точно выиграешь!

– Угу! – обрадованно сказал сын, настраивая начало игры. – Ты настоящий друг, папа. Я бы пошёл с тобой в разведку.

– А я бы подумал, идти с тобой на боевое задание или нет.

– Это почему же? – обиженным голосом произнёс сын.

– Потому что в бою сила нужна и ловкость. А ты на физкультуру не ходишь – значит, слабак.

– Ой, пап, да пойду я на твою физкультуру, пойду!

Барсуков улыбнулся, ласково взъерошил сыну волосы и сел рядом.

Когда Мариша пришла на обед, сын и отец сидели за компьютером и о чём-то громко и увлечённо спорили. Ещё она радостно отметила про себя, что лицо у Барсукова было здорового розового оттенка, а глаза ярко блестели.



**Валентина  
ДОРОЖКИНА**

## **У ЖИЗНИ НЕТ ЧЕРНОВИКА**

\*\*\*

Жизнь – то наказанье, то подарок:  
Сочетанье радостей и бед.  
Только бы прожить её недаром,  
Только бы оставить добрый след.

Не поддастся суетному бремени,  
Душу не задвинуть на засов...  
У меня в запасе много времени –  
До рассвета несколько часов.

Здания вдали как горы высятся,  
В окнах не видать ни огонька.  
Говорят, что ночью лучше мыслится,  
Ночью создаётся на века.

Но иные могут быть мгновения.  
Ужасом повеет тишина:  
Ты один, один во всей Вселенной,  
И судьба твоя предрешена.

И хоть стань пред нею на колени,  
Не прибавит часа одного.  
И не знаешь: много ещё времени  
Или не осталось ничего.

- 
- Валентина Тихоновна Дорожкина – поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей России. Родилась в городе Мичуринске Тамбовской области. Окончила историко-филологический факультет Тамбовского государственного педагогического института. Работала учителем русского языка и литературы в сельской школе, корректором, сотрудником областной газеты. В настоящее время является заведующей сектором творческой работы с учащимися в Тамбовской областной детской библиотеке, руководит литературным объединением «Тропинка».
- За вклад в развитие литературы для детей и подготовку творческого читателя Валентина Дорожкина в 2002 году стала дипломантом Национальной премии имени Л.Н. Толстого. Заслуженный работник культуры РФ, награждена орденом Дружбы.



## У ЖИЗНИ НЕТ ЧЕРНОВИКА

Всё беспокойней ночи тёмные,  
И бесконечна мыслей нить:  
Мои года, мне отведённые,  
Кому дано остановить?

И от кого зависит это –  
Длинна ли жизнь иль коротка?  
...Означен день полоской света –  
У жизни нет черновика.

Рассвет. Закат. Ещё немного,  
И вот – окончен путь земной.  
К обрыву подойдёт дорога.  
А дальше... Дальше – путь иной.

Как?! Не увижу птичьей стаи  
И в синем небе облака?!  
Прошепчет дерево листьями:  
«У жизни нет черновика».

Смятенье вдруг охватит душу,  
Сожмёт и не отпустит страх.  
И только выплеснешь наружу  
Сквозь зубы стиснутые: «Ах!..»

Ах, если б знать, что так получится,  
Иначе б жил наверняка...  
Но скажет чёрная попутчица:  
«У жизни нет черновика...»

\*\*\*

Снова слов – великое множество,  
Совместить их все не дано...  
Надо было иметь мужество,  
Чтобы выбрать из них одно:

Либо слово – душе раздолье,  
Либо слово – седьмая печать...  
А пока пребывала в раздумье,  
Стало поздно уже выбирать.

И растрчено время напрасно,  
И не греет живой огонь:  
Слово вспыхнуло и погасло  
И упало пеплом в ладонь.

\*\*\*

Всё в этом мире что-то значит,  
И меж большим и малым – связь.  
Вот одуванчик – мальчик-с-пальчик –  
Стоит, почти не шевелясь.

А вдруг наскочит ветер грубо  
И не оставит ничего?..  
Всего боится: детских губок,  
Готовых дунуть на него,

Мяча, ноги неосторожной,  
Дождя боится и грозы,  
И даже капельки ничтожной,  
И даже крыльев стрекозы..

А в поле выйти – так заманчиво,  
Душою тянешься сюда..  
Туманный шарик одуванчика  
Вот-вот исчезнет без следа.

### **ОЩУЩЕНИЕ ВДОХНОВЕНИЯ**

Ни сюжетов нет, ни тем:  
Мир – в начале сотворенья,  
Он таинственен и нем,  
Слуха нет ещё и зренья,  
Ни поэтов, ни поэм..  
Только Божье дуновенье –  
Ощущенье вдохновенья,  
Не сравнимое ни с чем.

**Поздравляем**  
**Валентину Тихоновну Дорожкину,**  
**замечательную поэтессу и педагога, с юбилеем!**



**Николай  
Болкунов  
1948–2010**

## **ДОЛГОТА ДНЕЙ МОИХ**

*Якоже бо свинья лежит в калу, тако  
и аз греху служу. Но Ты, Господи,  
исторгни мя от гнуса сего и даждь  
ми сердце творити заповеди Твоя.*

**(Канон покаянный ко Господу нашему  
Иисусу Христу)**

Наверняка и конечно же кто-то поднимется на дыбки, растопчет и распнёт меня, обвинив в невежестве, но я всё же выскажусь: Серебряный век русской поэзии, господа хорошие, есть не что иное, как сплошное мракобесие.

А то, ишь, повадились комиссаров в кожаных тужурках хаять – дескать, чугунный каток атеизма, от которого кости хрустели, инородцы запустили. Как бы не так! Большевики-то на подготовленное поле пришли, взрыхлённое и удобренное, – им только урожай собрать оставалось. Ну, они и покосили колоски на чужом поле, нам, дуракам, стерню худосочную в наследство передали.

А ты зри в корень. Если и нужно в чём соборно покаяться, так прежде всего за хваленный до захлёба Серебряный век. Тоже мне выдумали: вершина поэтического творчества! Какая, к чёрту, вершина? Предел грехопадения!

Ах, Осип, ах, Велимир, ах Максимилиан... От одних имён голова кругом идёт!.. А как они, властители дум, кичились своим безбожием! Как в своих «шедеврах» Христа за бороду таскали, превратив Его в расхожий литературный персонаж. Как развлекались сеансами спиритизма,

- 
- Николай Васильевич Болкунов родился в 1948 году в селе Беляевка Старополтавского района Волгоградской области. В 1971 году окончил филологический факультет Саратовского государственного университета. Два года служил в армии на Дальнем Востоке. По возвращении в Саратов работал в молодёжной прессе, на радио и телевидении, в Приволжском книжном издательстве, журнале «Волга». В 2003–2006 годах возглавлял литературный журнал «Волга–XXI век». Член Союза писателей России, прозаик, публицист. Автор книг «Прости мя, Господи», «...И было утро», «Поездка на этюды» и других. Жил в Саратове.

вызывая духов умерших авторитетов, которые подтверждали правильность позиций и взглядов разочарованной в христианских ценностях передовой русской интеллигенции. Как они мусолили полюбившийся Апокалипсис, зачислив Иоанна Богослова в ряды своей пишущей братии, в клан свой избранных и посвящённых.

Им грезился конец света. Старый, одряхлевший мир должен умереть, и они готовы были принести себя в жертву, разделив его участь. Неслучайно почти никто из них не дожил до почтенной старости. Десятки биографий заканчиваются преждевременной, чаще всего даже ненасильственной смертью. Редко кто из них оставляет потомков. Философия материализуется, смыкается с жизнью и устремляется к одному финалу – вырождению.

Господь любит делать исключения. Анне Андреевне да Одоевцевой в память о жёнах-мироносицах – много лет. Должно быть, дал исключительно для того, чтобы вкусили и засвидетельствовали горькие плоды собственных усилий и своих «гениальных» современников. Он никому не мстит – попускает и вразумляет нас, грешных...

Ну что это я разбухтелся-то с утра? Пора б простыть, как сказал один из их плеяды, по причине жизнелюбия и недюжинного таланта воспринимающийся особняком. Пора, погорячился – и будя.

Тут бы с собой разобраться.

\*\*\*

Вообще-то я стараюсь не впадать в гнев. Но не хватает кротости, сознаюсь, не хватает. Вот и в утренней молитве прошу избавить меня от «скверных, лукавых и хульных помышлений» – ан нет, не получается, не гаснет «пламень страстей моих». Чуть что – и шашки наголо: «Сарынь на кичку!»

Хорошо хоть собственная мерехлюндия – то бишь мягкотелость, нерешительность, беспомощность – выручает, которая среди нашего брата по обыкновению выдаётся за интеллигентность. Сейчас, к примеру, вместо того, чтобы внятно представиться да сообщить определённо, что, собственно, сказать намереваюсь, выписываю заячьи петли, кружу, путаю следы и держу читателя в недоумении.

Но, если честно признаться, я и представиться-то не знаю кем. С одной стороны, вроде бы историю рассказать хочу, лично со мной происшедшую, а с другой – непременно облагорожу, приукрашу себя так, что в конце концов и себя не узнаю. Вот и спрашивается: повествователь – он кто? – я, Василий Антонович Вершинин, или тот, приукрашенный? Да и вообще, не лучше ли сразу отмежеваться от автора этой писанины – мало ли что он наболтает лишнего? Или всё-таки набраться мужества и всё как на духу – что называется, чистосердечное признание в интересах следствия?

Ох, уж эта проклятая мерехлюндия!.. Попробую-таки побороться с нею... Возлагая ответственность за каждое суетное, праздное слово, написанное здесь, на независимого, свободного от меня автора-самовольщика, всё же постараюсь максимально совместить его с прототипом – с собою всамделишным...

\*\*\*

История эта началась с того, что я вознамерился написать серию очерков о православных святынях нашего края. Замысел был настолько же смелым, насколько и авантюрным. Мой более чем скромный опыт духовной жизни в лоне Церкви подсказывал, что задачу я поставил перед собой весьма и весьма сложную. И мне ничего не оставалось, как уповать на некоторые навыки в публицистике, накопленные годами, да на Божью помощь, благодаря которой часто выкарабкивался из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций.

Бич нынешнего маловера – самонадеянность. Об этом я знаю из собственной жизни – не единожды расквашивал нос до розовой юшки. И потому, прежде чем приступить к осуществлению своих амбициозных планов, я провёл предварительную работу: изучил имеющуюся литературу по интересующей меня тематике, с помощью краеведов и священнослужителей собрал информацию о местных достопримечательностях, провёл – если позволительно так выразиться – инвентаризацию всего священного хозяйства. Последнее представляло из себя довольно обширный список: храмы и монастыри, чудотворные иконы и мощевики, святые источники и почитаемые среди верующих могилы и захоронения.

Кроме того, предстоящая работа обязывала взять благословение у главы епархии. Что я и сделал во время одной из архиерейских служб. По окончании литургии Владыка уже направлялся по ковровой дорожке к выходу, направо и налево осеняя крестным знаменем обступивших его прихожан. Вместе со всеми я тянул к нему руки, сложенные ковшиком.

– Ваше Преосвященство, благословите на написание книги о святынях нашей епархии, – пролепетал я, целуя крестившую меня руку.

С епископом я познакомился четыре с лишним года назад. Он принял меня в своём просторном кабинете епархиального управления. В тот раз я просил его благословения на выпуск возрождённого в нашем городе литературного журнала, главным редактором которого мне предстояло служить. Из управления я вернулся с текстом благословения, который вместе с фотографией Владыки был опубликован в первом номере журнала.

Встретившись в этот раз в Троицком соборе, я держался с епископом как старый знакомый, будучи уверенный в том, что нет нужды растолковывать ему, кто я такой, замахнувшийся на книгу.

– А удастся написать-то? – задал он вопрос.

– Попробую. С Божией помощью. С вашего благословения.

– Что ж, попытайтесь. – И ещё раз позволил облобызать руку...

По правде говоря, благословение получилось так себе. Заметного прилива сил я не испытывал, посещение женского монастыря, с которого планировал начать хождение по родным палестинам, почему-то откладывалось, а я всё старался наращивать своё религиозное чувство новыми познаниями и размышлениями.

Меж тем время бежало, и я был похож на того тяжеловеса, который, прежде чем поднять штангу, неторопливо припудривает таль-

ком руки, похлопывает себя под мышками, затягивает потуже широкий пояс на пупке, принимает пружинистую позу, похожую на букву «ф», приседает и подпрыгивает, наконец наклоняется к штанге, надувает мощную грудь Геракла, готовый взметнуть неподъёмный вес над собою... но в последний миг передумывает и с брезгливым выражением лица покидает подмости.

Выручила меня жена Анечка или, точнее, её День ангела. Накануне вечером, желая дополнить жидкий подарочный набор парфюмерии ещё чем-нибудь этаким, я объявил:

– Завтра ранний подъём. Поедем в монастырь. Пусть это будет моим подарком тебе... Заодно начну собирать материал для очерка.

Надо знать мою жену Анечку, чтобы понять радость, которая отразилась на её милом лице. Ценность моего подарка заключалась для неё ещё и в том, что я наконец-то совершал поступок, конкретно побуждающий меня сесть за рукопись. Слишком затянулась пауза в моей литературной работе – так затянулась, что вызывала опасение, а не высохли ли вовсе чернила в моей писательской чернильнице. Создавалось впечатление: всё, что было положено мне, я написал, и теперь достойным украшением моим будет молчание. Анечка очень переживала за меня!

Однако ж, оставляя анализ всех явных и тайных причин моего подзатянувшегося творческого молчания на потом, продолжу повествование.

\*\*\*

Рано утром мы вышли из троллейбуса на остановке «1-я Дачная», миновали ещё не проснувшийся базарчик и подались в гору. Улица Алексеевская круто забирала вверх, но многоэтажки, появившиеся здесь в последние десятилетия, заслоняли монастырь. Я вытягивал шею, пытаюсь в просветах между домами увидеть крест на куполе монастырского храма, но над ломаной линией бетонных коробок миражно мерцали ости коллективных телевизионных антенн да в небе носились стаи стрижей.

А ведь название своё улица сохранила ещё с начала прошлого века, догадался я, вспомнив, что мужской скит сто лет назад, как и женский монастырь сегодня, назывался Алексиевским. Недоглядели в своё время большевички, прохлопали ушами – не связали в своём классовом сознании названия окраинной одноэтажной улочки с «рассадником религиозного дурмана», прятавшегося в загородном саду, на широком плато, на полпути к вершине горы. Насельников скита строители новой жизни пустили в расход, а хозяйственные постройки вместе с обезглавленным храмом приспособили к нуждам трудового народа. Забыли только улицу переименовать, ведущую к бывшему храму. Так сто лет и пребывал здесь по праву прописки дух святого угодника Божия Алексия, митрополита Московского, молитвенника о спасении России и заблудших душ наших.

– Ты уверен? Туда идём? – волновалась Анечка.

И было из-за чего: вслед за высотными домами потянулись приземистые одноэтажки, утопающие в буйной зелени дачной окраины, а монастыря всё не было.

– Доверь ноги Господу. Он приведёт, – не скрывал я своего благостного настроения. – Глянь, какое утро чудесное!

А утро и впрямь было необычным. Поднявшееся над городом солнце слегка припекало затылок, умывало ласковыми лучами землю, радуя глаза влажно-яркими изумрудными оттенками садов в тесных двориках, пышной пеной цветущих в палисадниках жасмина и гортензии, кружевной оторочкой белых и розовых флоксов. Щебетала, трещала, посвистывала и чирикала пернатая живность. Утро сохраняло ещё родниковую свежесть. Едва уловимый сладкий запах ладана щекотал ноздри – казалось, невидимые ангелы только что пролетели здесь с благовонными кадилами.

Единственная асфальтированная дорога, по которой мы шли, поворачивала вправо. Ни одной машины, ни одного прохожего не встретилось нам. Тишина и покой, пронизанные чистыми, первородными звуками птичьих голосов, наводили на мысли о далёком времени сотворения мира – о дне шестом. Пришедый из земли, я глянул на жену свою Анечку, и меня кольнуло в бок – напомнило, должно быть, о ребре, утраченном ещё в незапамятные времена.

– Запышкалась, именинница?

– Всё распрекрасно, – отозвалась Анечка.

Как бы не так – признается она тебе в своей усталости! Характер не тот. Уж так устроена: или вся в делах и заботах под самую завязочку, когда «всё распрекрасно», или в лёжку, если силы оставили, – середины не бывает. Позавчера только с постели поднялась – больная в дым два дня лежала. В рот ни маковой росинки не брала – тошнило. Аортоартериит. (Компьютер, на котором сейчас текст набиваю, подчеркнул красной линией непонятное слово. Поясняю: аортоартериит – значит разобщение кровяного давления, от которого потери сознания случаются.) А позавчера кое-как встала с утра, попросила швейную машинку на письменный стол поставить. К вечеру обнову справила – кофточку к своему Дню ангела. Нынче с утра надела её – нарядная, спасу нет. А главное – выздороветь помогла.

– Ой, ну кохтычка – прямо загляденье! Ну прямо... – игриво затащил я хвалебную песню, чтобы хоть как-то облегчить Анечке дорогу. – А уж хозяйка в ней – ну форменная барыня! До чего ж рукодельница! Да как ловко-то у неё всё получается! И где только я тебя нашёл такую?

– Вот так всегда – опять себе дифирамбы.

– Не скрою. Радуюсь. Нашёл... Ну рукодельница! Ну расчудесница! А уж красивая – глазам смотреть больно. И где только я тебя...

– Якалка. Может, мы – друг друга?..

– Нет. Каждый ищет индивидуально. И где только я?..

Тут монастырь и открылся нам за поворотом – вмиг и весь сразу. Мы как-то даже слегка оторопели.

Ажурная ограда, выложенная из красного отделочного кирпича, несмотря на внушительные размеры, почему-то рождала ощущение

условности границы мирской и обительской жизни. Это ощущение, несомненно, усиливалось кованой вязью монастырской калитки, гостеприимно распахнутыми – тоже лёгкими, из металлического прута – воротами. Океанским лайнером, скользящим по водной глади, вздымалась глыба строящегося храма, уже увенчанного сияющим в солнечном луче золочёным куполом. Высокая колокольня воспринималась маяком на хребтине острова, обеспечивающим большому кораблю большое плавание. А в глубине двора виднелся крест на маковке старой деревянной церкви, на которой лежала тень величественной новостройки.

Рядом с калиткой, на доске, обрамлённой резной рамкой, мы прочитали объявление, написанное старательной, должно быть, монашеской рукой. В нём говорилось о том, что сегодня после Божественной литургии будет отслужен молебен в честь обретения мощей и второго прославления благоверной княгини Анны Кашинской, небесной покровительницы Алексиевского женского монастыря. Анечку можно было поздравить – в свои именины она попадала ещё и на престольный праздник обители.

\*\*\*

Нет, не зря пыхтел я над книжками, не зря надоедал терпеливой, любезной библиотекарьше Троицкого собора Людмиле, когда очередной раз просил её допустить меня в тесную каморку, где временно размещалась храмовая библиотека. Стеллажей не хватало, и книги египетской пирамидой возвышались в единственном здесь свободном от полок углу – с безмолвием сфинксов взирали на сумасшедшего книгочея, пытавшегося из самого основания выдернуть заинтересовавшую его книгу или хотя бы развернуть её корешком от стенки. Труды мои и упрямство не остались без вознаграждения. Кроме всего прочего, я имел кое-какие сведения о житиях святых, в том числе и о многострадальной судьбе Анны Кашинской, жены князя Тверского – Михаила.

Достаточно едва тронуть, ворохнуть память – и оживают картины, настолько яркие и подробные, словно я живой их свидетель... Вот и теперь ощущение: на своём веку видел.

– Благодарю Тя, Господи, яко не оставляешь меня своим попечением, даёшь силы превозмочь скорби и беды, – молилась Анна пред ликом Распятого на Кресте. (Я отчётливо вижу её, молодую, стоящую на коленях, в длинной, до пят, ночной сорочке, с рукою, прижатой к груди, возле сердца; пламя свечи играет оранжевыми бликами на серебряных ризах икон, и колокольный звон, зовущий к заутрени, желанно тревожит покой одинокой опочивальни.) – Ты един упование мое и надежда. Молю Тя, сохрани супруга моего, верни из ордынского плена.

Почти два года прошли в полном неведении, в слезах и печалах, пока князь не возвратился из Орды, куда ездил к новому хану Узбеку за подтверждением своих прав на великое княжение Владимирское.

Тринадцать лет эти права оспаривал смертельный враг Михаила, завистливый и коварный князь Юрий Московский. В конце концов он



добился в Орде ярлыка на «старшинство». Смирившись, Михаил признал это «старшинство», но князь Московский хотел полной победы над соперником и пошёл войной на Тверь. Господь услышал молитвы благоверной Анны и не попустил несправедливости. Михаил разгромил своего противника, в пылу битвы захватив в плен татарского посла и сестру хана Узбека, жену Юрия, которая, на несчастье, неожиданно умерла в Твери.

Теперь надо было ожидать кровавой мести от Орды. Чтобы не допустить жестокой расправы татар над городом и его жителями, Михаил решил ехать в Орду, надеясь, что сможет договориться. Однако же, готовый принять мученический крест, исповедался и причастился. Анна, пожалуй, единственная, кто не плакал, собирая князя в дорогу. Она крепила дух любимого мужа:

– Если ты, господин мой, хочешь пойти в Орду и добровольно пострадать за имя Господа Иисуса, то поистине блажен будешь во все роды и память твоя будет навеки.

Враг не отличался благородством и не имел страха перед русским Богом. Михаил, приговорённый к казни, испил горькую чашу до дна. Овдовев, Анна посвятила себя заботе о княжестве Тверском и воспитанию четверых сыновей, которые должны были продолжить дело отца – святого благоверного князя...

Через семь лет Анна оплакивала смерть старшего сына Дмитрия, за вспыльчивый нрав свой прозванного Грозные Очи. Будучи в Орде, он убил татарского любимца Юрия Московского, справедливо считая его виновником гибели отца, за что и был казнён ханом.

А через двадцать лет Анна просила в своих молитвах упокоить души казнённых в Орде сына Александра и внука Феодора. Как ни старались русские князья умиловить узкоглазого супостата видимым послушанием, но приходил час, когда кончалось терпение, и брали славяне в руки мечи и вместо дани преподносили ордынцам безоглядное отмщение...

Сполна хватившая страданий, княгиня приняла иноческий постриг, целиком посвятив себя посту и молитве. Младший сын Василий выстроил в своём удельном Кашине Успенский монастырь, куда упросил перебраться мать из тверской обители. Уже там, в Кашине, преподобная приняла схиму, прожив в безмолвии и затворе до девяноста лет. Похоронили её в Успенском соборе вместе с сыном Василием, не сумевшим перенести горе и пережившим мать всего лишь на день.

\*\*\*

Несмотря на то, что дорога в монастырь оказалась длиннее, чем предполагалось, успели мы с Анечкой вовремя. В храмовой лавке с отдельным входом подали записки «О здравии» и «Об упокоении», купили свечи и даже приобрели, по счастью, имевшийся в последнем экземпляре «Акафист покровительнице честного супружества святой благоверной княгине-инокине Анне Кашинской». Ах, как пришлось по душе нам это покровительство «честного супружества»! Ах, как захотелось постоять в храме на чтении акафиста!

В тесном притворе храма, куда попадаешь со двора, переступив пару ступенек, уже гомонили прихожане. Их было немного, но по всему было видно, что они здесь дома и хорошо знают друг друга. Мы были, пожалуй, единственными пришлыми. Хотя, впрочем, осмотревшись, я увидел в левом углу от двери прихожанина Троицкого собора – высокого, аскетического вида старика, опиравшегося на клюшку. Его худое благообразное лицо, которое хотелось называть ликом, обрамляли шелковисто-белые волосы – собранные под резиночку, распущенной косой они водопадно ниспадали на прямую костлявую спину. Мне всегда было радостно видеть этого старика – когда мы с женой входили в наш Троицкий храм, он уже, как правило, стоял, опершись на клюшку, у самого входа, как бы сознательно позади всех. Приложиться к кресту в конце службы он подходил тоже одним из последних. И, глядя на него, мне почему-то вспоминалось евангельское: *будут последние первыми...*

Точно специально для нас двоих среди люда ещё оставался свободный пяточок – с правого края, у крутой узкой лесенки. С него мы и начали обживать незнакомую территорию.

Монахини, поначалу, словно мартовские скворцы, не отличимые друг от друга, потихоньку приобретали индивидуальные черты. Они были заняты приготовлениями к Божественной литургии. Дежурные, не отрывая глаз от пола, бесшумно скользили по храму, поправляли свечи на подсвечниках, зажигали фитильки лампадок. Певчие раскладывали на пюпитрах тексты песнопений. Одна из монахинь монотонным голосом читала часы.

Спрашивать, где находится в храме икона Анны Кашинской, не было нужды: сегодня она лежала на праздничном аналое, пред алтарём. Мы подошли к ней, увенчанной полевыми цветами. Я поставил свечу и приложился к иконе:

– Моли Бога о нас, святая Анна, да избавит нас от всех бед и напастей и сохранит, и утвердит нас в вере, благочестии и чистоте.

Да, да, именно веры, благочестия и чистоты не хватало нам в нашей семейной жизни... А ещё не хватало смиренномудрия и любви, той самой христианской любви к ближнему, которая одна и способна выжечь скверну в падких на соблазны душах. А ещё...

– Преподобная Анна, умоли Бога даровать нам грехов оставление и жития исправление...

Направляясь к мощевикам, встречающим прихожан у правой стены главного придела храма, я почувствовал на себе чей-то цепкий, пристальный взгляд. Немного поёживаясь, увидел боковым зрением: окружающие меня люди были заняты своими делами. И вдруг я увидел глаза, пронзительные, строгие, с живым, трепетным блеском – на меня в упор смотрел, осеняя крестным знаменем, святитель Алексей, митрополит Московский и всея Руси чудотворец. Ноги мои ослабли, и я опустился на колени. «Не дай почить в греховной смерти, отче, не дай жить мёртвым», – возопила душа.

– Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков... – прокатилось по храму молитвенно-распевно и чисто.

Божественная литургия началась.

Я вернулся на прежнее место – рядом с деревянной винтовой лестницей, ведущей на хоры, и пустующей выгородкой для свечного ящика. На левой стене притвора, у панихидного столика, называемого кануном, висела икона со странным, ранее не виданным мною изображением: колонна мальчиков с кружками нимбов, поверх их голов с одной стороны – римские легионеры в рогатых шлемах, казнящие грудных детей, с другой – убивающиеся от горя матери. «Образ святых младенцев в Вифлееме от Ирода избитых за Христа» – прочитал я название иконы.

– Странно, у меня ощущение, я тут была, – шепнула Анечка.

\*\*\*

Судьба Анны Кашинской не была гладкой и после её земного пути.

Она напомнила о себе почти через два с половиной века, в лихолетье Великой Смуты. В этот раз русская равнина полыхала от нашествия вражьих полчищ с Запада. Лишь отдельные города не покорились захватчику. Трижды польско-литовские войска подступали к Кашину и трижды были биты немногочисленными защитниками города. Вспыхнувший было сильный пожар, охвативший город, вдруг неожиданно прекратился. Чья-то невидимая рука отводила беды от Кашина.

Святая дала знать о себе, явившись во сне тяжело больному пономарю Успенского собора:

– Гроб мой народом не почитается. Разве вы не знаете, что я молю Всемилостивого Бога и Богородицу, дабы не предан был город ваш в руки врагов, и что я сохраняю вас от многих зол и напастей?

(Я не раз задавался вопросом: почему Анна называет город, в котором провела четверть века, «вашим», почему ей не назвать его «нашим», что было бы более естественным. И приходил к заключению: всё правильно, молитвенной, праведной жизнью на земле она выстроила свой небесный Иерусалим, единственно родной для неё город.)

С мгновенного, к утру, выздоровления пономаря начались исцеления и чудеса при гробе преподобной. Слава о ней пошла гулять по всей Руси. Много позже мощи её были освидетельствованы – не тронутые глением, они были перенесены из старого деревянного собора в каменный Воскресенский храм при участии царя Алексея Михайловича.

Но вскоре очередное испытание выпало на долю Анны Кашинской.

Во времена раскола княгиня-инокиня смутила сторонников нового обряда приверженностью старым традициям: на иконах она изображалась с молитвенным двуперстием – с таким же жестом правой руки она была якобы обнаружена при освидетельствовании мощей. Собор православных пастырей, стремясь пресечь повод к усугублению раздоров (с реформами патриарха Никона их хватало и без того), решил временно отменить церковные службы святой, «пока Бог не сделает всё явным и не утвердит».

Господь утвердил должное почитание благоверной княгини 25 июня 1909 года, в день годовщины обретения её мощей. Сделал Он это руками Своего Помазанника – последнего российского императора Николая II, с вынужденного отречения которого началась вторая Русская Смута, породившая тысячи, миллионы мучеников.

\*\*\*

Какая же это неопишуемая радость – открыть для себя ещё одного доброго человека. Живёшь, связанный многочисленными нитями с другими людьми, приятными тебе и не очень, и, вроде бы, больше тебе никого и не нужно. Ан нет, узнаешь иного – и, если прикоснёшься к нему не только взглядом, рукой, но и сердцем, остолбенеешь, поражённый: да как же ты до сего дня обходился без него, на его ж месте в твоей душе дырка зияла, а ты не замечал. И уже не представляешь своей жизни без него – не важно, встречаешься с ним или нет – он уже стал частью твоей, с которой тебе дальше жить...

Ещё с юности, когда работал в газете, приобрёл профессиональную привычку: пять минут общения с незнакомым человеком – и уже ясно, на какой жанр он «тянет»: на очерк, корреспонденцию или всего лишь на информационную фитюльку. В течение пяти минут я должен был определить, способен ли полюбить этого человека. Если ворохнулось внутри восхищение или хотя бы намёк на него – значит, получится материал для газеты. А коль нет, не кольнула тебя постоянно бодрствующая страсть влюбчивости – не теряй времени даром, ищи героя очерка в другом месте.

С монахиней Феодосией, настоятельницей монастыря, мне хватило трёх минут общения, чтобы понять: коротким жанром тут не обойтись. И дело несколько не в моей явной предрасположенности, а в том, что не проникнуться чувством восхищения и любви к ней ну просто нельзя. (Вот терзаюсь теперь: когда станет читать она эти строки, как бы не приняла мои слова за суетную фривольность или, того хуже, за напрасное искушение.)

Настоятельница женского монастыря в стае «мартовских скворцов» определить несложно. Её отличает от других монахинь позолоченный крест, висящий на груди поверх мантии. Это я понял ещё в начале литургии, наблюдая за матушкой Феодосией, которая пела на клиросе, читала стихи на Блаженных, а в конце, по причащении, благословляла сестёр, давая каждой из них целовать свой крест и руку.

После службы я подошёл к ней. Показывая из чёрных монашеских одежд ясное, приветливое лицо, озарённое взглядом светло-карих умных глаз, она с искренней заинтересованностью выслушала меня, подробно расспросила о моих писательских намерениях, пообещала продолжить начатый разговор чуть позже, а пока приглашала меня вместе с женой на трапезу.

У выхода из храма уже колыхалась, растекаясь и смыкаясь, людская колонна. Я было замешкался, не зная, с какого бока пристать к колонне. Но возникшая рядом монахиня с опущенным долу взгля-

дом, оказывается, прекрасно видела всё вокруг – она осторожно поманила глазами нас и подвела к первым рядам.

В столовую – извините, в трапезную – мы шли, как и положено по чину, крестным ходом: монахини, послушницы, трудовики и приглашённые матушкой прихожане – с фонарём, иконами и песнопениями. Шествие замыкал седой благообразный старик с клюшкой.

После общей молитвы, напутствия духовника обители иеромонаха Пимена и ответного слова матушки приступили к праздничной трапезе. Несмотря на Петровский пост, в престольный праздник Анны Кашинской разрешались некоторые послабления. Кроме рыбного супа стол украшали также рыбные блюда – по рыбной котлетке, по розетке заливного судака, по маленькому коржику с нанизанными бусинками красной икры. И даже по миндальному печенью и шоколадной конфетке на каждого лежало в общей тарелке. Хорош, разнообразен и вкусен был монастырский обед! Да под иконами Господа нашего, Богородицы и святых угодников, собравшимися в восточном углу просторной трапезной. Да под портретами Святейшего Патриарха и местного архиерея. Да под торжественные, высокие, не всегда разумом постигаемые слова наставлений из житий святых. Разве ж то мы ели? – Вкушали!

– Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, – спотыкаясь, натужно вспоминая и путаясь, спешил я, неофит неуклюжий, вслед общей молитве, – не лиши нас и Небесного Твоего Царствия...

Не только от меня, но и от матушки получила подарок в этот день жена моя Анечка. По окончании трапезы настоятельница ещё раз поздравила всех с праздником и преподнесла всем по шоколадке и маленькой иконке Анны Кашинской. Анечка давно искала икону своей святой. А тут такой сюрприз!

– Ой, спасибо, матушка! – прижимала она иконку к груди и свети-лась вся. – Ой, такой дорогой подарок... в День ангела.

– У вас День ангела? Поздравляю. – В глазах монахини прыгали солнечные зайчики от разделённой радости. – Вот видите... как хорошо, что вы попали к нам в этот день.

И ещё я заметил во время трапезы: когда матушка не улыбалась, внешние уголки её светло-карих глаз опускались вниз, и это придавало лицу едва заметное выражение скорби, до поры до времени таившейся внутри. Должно быть, она многое ведала о жизни. Ведь сказано в Писании: знания рождают скорбь.

\*\*\*

Как-то так вышло, разговор наш с матушкой в самом начале коснулся смирения. Она высказалась в том смысле, что, если хочешь покоя в душе, смирись, гордый человек, иначе придётся тебе кувыряться, падать, подниматься и снова падать, и постоянно изнурять свою жизнь в скорбях и печалях.

– И в семейной жизни беды оттуда – смирения не хватает, – согласилась Анечка, наверняка имея в виду, что дефицит смирения наблюдается у меня, а не у неё.

– Вам легче, матушка. Вам монастырские стены помогают. За ними укрыться можно от мирских соблазнов, – сказал я с улыбкой, смущаясь своей неожиданно вырвавшейся детской зависти. – А мы плотоядны. И живём там, где правит бал князь мира сего. Гордимся такусенькими способностями, тщеславимся. Надуваем щёки: экие мы талантливые. Вам приходилось бывать в писательской среде? Каждый – пуп земли. И это простительно: как же он сядет за письменный стол и станет вещать человечеству, если не пуп? Коли комарик – так и не марай лист бумаги, попискивай себе под листом лопуха. Другое плохо: я – пуп, а все остальные – так себе, серый фон. Но именно такой фон и нужен для возвышения себя...

Матушка Феодосия пропустила мимо ушей мои признания о себе и коллегах, не желая поддерживать во мне грех осуждения, и вернула разговор к исходной точке:

– От гордыни и монастырские стены не спасают, – вздохнула она. – Вот думаешь: уж это тебе под силу. Справлюсь. А не получается. Потому как на себя слишком надеемся. А Господь не гордым – нищим духом помогает.

– Да... «Без Мене не можете творите ничесо́же», – вспомнил я Иисусовы слова. – Забываем частенько.

Помолчав немного, она поправила на груди крест, и открытый взгляд её заметно потеплел.

– А тут набрала детишек, открыла приют, и страшно стало: ой, управлюсь ли, потяну ли такой воз тяжёлый? Ведь сил на всё не хватает. Девочки-то наши – из запущенных семей, болезней, наследственных и приобретённых, куча. А тут вот – буквально недели две как – у нашего родника с женщиной встретилась. Она окулист, вызвалась помочь одной девочке с косоглазием. Обещала даже с медуниверситетом связаться, посоветоваться. Через день завкафедрой педиатрии звонит, профессор: «Я ваша прихожанка. Берусь всех детей из приюта осмотреть и подлечить по возможности». И, конечно же, бесплатно... А позавчера междугородный звонок из Сибири: «Я про вас из интернета узнала. Хочу в отпуске пожить в монастыре». Слышу – голос девичий. «Специальность-то есть?» – спрашиваю. «Логопед. Может, сгложусь. Но я на все работы согласна. Приютите?» Как не приютить! Некоторым нашим девочкам скоро в первый класс, а они половину букв не выговаривают... Вот так и помогает Господь. Посылает нам людей хороших.

Ох, как же красиво в эти минуты было просветлённое лицо матушки Феодосии! И прекрасны были глаза её, откровенно-распахнутые – те, которые, без поправки на метафору, можно было назвать зеркалом души. Я молча любовался монахиней, и в этот миг был уверен, что возникшее чувство уже не даст, не позволит мне написать о ней плохо. Такое чувство способно поднять даже над собственной бездарностью.

– Однако ж поговорим о вашем деле, – продолжила она. – Как вы представляете нашу совместную работу?

– Понятия не имею, – пожал я плечами. – Если честно, пока не знаю, о чём хочу написать. Знаю, что хочу, а о чём – не знаю.

– И всё же?..

– Мне всё интересно. Вплоть до того, какие думки у настоятельницы, когда она просыпается ни свет ни заря, чтобы почитать в своей келье монашеское правило.

Собеседница настоорожилась и глянула на меня с недоверием:

– В самом деле?

– Ну конечно. А ещё хотелось бы увязаться за вами хвостиком на целый день и понаблюдать за вами. Всю-то подноготную и выведать.

– Он шутит, – объявила Анечка, посочувствовав матушке и желая скорее снять напряжение.

– Да. Это всё нереально, – согласился я. – Вы человек занятой. И я не хочу мешать вам. А поэтому, если позволите, ещё немножко повстречаемся. С вами. С сёстрами. Помолимся с Анечкой тут, в вашем храме. А там как Господь на душу положит.

– Журналисты всё сестёр наших пытаются: от каких грехов в монастырь сбежали. Подсчитывают потери, которые каждая понесла. Мол, не жалко? Не понимают, что жизнь в монастыре с чистого листа начинается. Всё, что до монастыря, – отрезано и забыто. Здесь мы рождаемся и проживаем свою единственную жизнь. А они о каких-то потерях.

– Меня не интересует, кто что потерял, уйдя в монастырь, – попытался я отмежеваться от своих бывших сослуживцев. – Меня интересует, кто что приобрёл, прикоснувшись к святыне.

– И приобретёт. Вроде нас, переступивших нынче порог обители, – уточнила жена – бывшая учительница в ней постоянно напоминала о себе.

А я, глядя на монахиню, сидевшую передо мной за столом в клобуке, с позолоченным крестом в складках чёрной шёлковой мантии, пытался представить её в далёкой, «отрезанной и позабытой» домонастырской жизни. Почему-то мне представлялось, что Света Иванова была отличницей и в школе, и в институте. Она была как все – легкомысленной хохотушкой, одинаково любившей книги и танцульки. Единственное, чем она отличалась от сверстниц, так это тем, что хотелось ей жить не так, как она жила. В принципе не так... Что-то постоянно мешало ей слиться со своей судьбой. Чего-то существенно не хватало её душе и телу.

Её решение уйти в монастырь институтские подружки восприняли с прохладцей – мол, вольному воля. А вот школьные учителя хором решили, что их гордость Светка Иванова съехала с катушек. Лишь Мария Сергеевна, литераторша, произнесла в учительской нечто полифоническое, озадачившее всех: «Каждый рождается со своим призванием – не каждому удаётся распознать его».

Но вот беда: Света прекрасно знала о своей непохожести на других. И это питало в ней какое-то нехорошее чувство, напоминающее гордость: я способна на неординарный поступок. Кажется, она тогда так и не определила для себя, что больше подтолкнуло её в монастырь – призвание или всё-таки это отвратительное чувство. (Вот уж влетит мне за нахальную выдумку от матушки, когда она прочтёт эти строки.)

Теперь Светки не было – с нами говорила монахиня Феодосия, но воспоминание о Светке, несомненно, добавляло моей нежности к ней, теперешней.

В дверь комнаты, где мы беседовали, несколько раз заглядывали, у настоятельницы постоянно звонил мобильник – она коротко отвечала или обещала перезвонить позже. Пора было прощаться. Мы с женой поднялись.

– Давайте, я перекрещу вас на дорожку. Вижу, хорошие вы люди. И семья, должно быть, у вас дружная.

– Ой, матушка, проблем хватает. Достаётся по маловерию, – признался я.

А жена Анечка добавила:

– В грехе живём. Невенчанные.

– Храни вас Бог. И вам, Василий, пусть поможет Господь в вашем литературном труде. Вы на него благословение Владыки получили?

– Ну да... конечно... – не совсем уверенно произнёс я.

– Вот и славно. Вас когда ждать?

– Если позволите, завтра... с раннего утра.

– Вот так? С места да в карьер?

– Вы уж простите меня, упёртого. Я только запрягаюсь долго...

– Завтра... – задумалась она. – О-очень загруженный день. С утра точно не смогу. Не будет времени... Вы вот что, приходите после обеда, часа в два. Там у меня посвободнее...

\*\*\*

Ровно в два часа пополудни я стоял у рабочего кабинета настоятельницы монастыря. Легонько постучав в дверь, проговорил то, без чего не положено переступить порог:

– Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!

Я бы мог от волнения сбиться, но текст короткой молитвы, красочно оформленный на ватманском листочке открыточного формата, висел на двери, его можно было прочитать даже без очков.

Я прислушался в надежде услышать «Аминь», однако мне никто не ответил. На всякий случай, проверяя свой слух, я приоткрыл дверь и заглянул в комнату – матушки не было.

Я отошёл к коридорному окну и, чтобы чем-то занять себя, уставившись в безоблачное, раскалённое зноем белёсое небо, стал повторять молитву. Вместо чётков я использовал пальцы рук. Когда счёт пошёл на третий десяток, в коридоре появилась послушница – в цивильной одежде, с розовощёким улыбчивым лицом, не утомлённым ночными бдениями.

– Вы ждёте матушку? – справилась она и, получив утвердительный ответ, продолжила: – Я не знаю, где она. Но, возможно, вам подскажет благочинная. Я сейчас отыщу её.

Доведённая до автоматизма молитва, осев на сердце, приотпустила мои мозги и позволила размышлять. Преподобный Серафим Саровский простоял на коленях на камне три года. Ежедневно он читал



Иисусову молитву до полутора тысяч раз. Сколько же раз он произнёс её за время своего столпостояния?..

Сосчитать мне помешала благочинная, которая, однако же, успокоила меня, сообщив, что матушка помнит о нашей встрече, просит простить за отсутствие и скоро придёт, как только освободится.

Вслед за благочинной явилась и матушка. Она ещё раз извинилась передо мной и завела в свою комнату. Усадила за стол напротив себя. Уголки её светло-карих глаз были устало опущены. По всему было видно: настоятельница с трудом оторвалась от дел и занимать её беседой о том о сём не стоит. Я предложил дать мне сопровождающего, который бы провёл меня по монастырю и немного рассказал о нём, и она с благодарностью взглянула на меня:

– Очень хорошо. Сегодня девочки отправляются в паломническую поездку. Их бы подготовить надо... А через час-полтора я освобожусь.

– Экскурсовод-то найдётся?

– О-о, тут каждый расскажет. – Она извлекла откуда-то из недр чёрной мантии мобильник и, привычно коснувшись нескольких кнопок, поднесла телефон к уху: – Мать Ангелина, зайди ко мне.

Сейчас матушка, смешно сказать, напоминала председателя колхоза или директора совхоза, на которых насмотрелся я в давних журналистских командировках. По горло занятые, они крутились не покладая рук. Потеряв драгоценные полчаса на беседу с заезжим корреспондентом и смертельно соскучившись по живому делу, они старались быстрее спихнуть гостя на парторга и снова кидались в пекло нескончаемой битвы за урожаи, надои и привесы. «Видимо, неблагоприятная роль парторга сегодня выпадала на долю благочинной», – подумал я, увидев в двери своего экскурсовода.

Мать Ангелину я заметил сразу, ещё на вчерашней службе, в День памяти Анны Кашинской. Не только потому, что, предъявив привычные мирские мерки, увидел в ней молодую, красивую женщину. Мне понравилось её бесстрастное, кроткое лицо, очищенное долгой, непрестанной молитвой. Она обращала внимание своей подвижностью, умением всё увидеть и вовремя помочь плавному, спокойному течению службы. Следила, теплится ли огонёк в лампадах, и в одну из них подливала масло. Напоминала сестре включить вовремя паникадило перед открытыми дверьми алтаря. Раза три поднималась по крутой деревянной лестнице на хоры – и я видел грубую, кажется, из яловой кожи, обувку на её ногах, которую обычно скрывает длинный подрясник. Выходила из храма к звоннице, хорошо видимой мною через окно. Я бережно храню отпечаток на сетчатке моего глаза: на фоне светлого неба чёрный абрис монашенки, которая, дёргая за верёвки, оживляет языки колоколов и колокольчиков. Она же, припоминается, и помогла нам с женой отыскать местечко в колонне крестного хода...

Выйдя от матушки, мы направились в Алексиевский храм. Будь моя воля, я предпочёл бы прежде покружить по четырёхэтажному зданию, где кроме трапезной и кабинета настоятельницы располагались поме-

щения для подсобных служб монастыря, кельи монахинь и послушниц, а также детский приют. Было всё же интересно, как устроен монастырский быт. Но мне не предложили, а настаивать я не стал – наверное, в меня потихоньку втекала атмосфера смирения, царившая в обители (во всяком случае, так хотелось думать).

Пройти мимо строящегося храма мы, естественно, не могли.

– Новый храм назван в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», – рассказывала мать Ангелина. – Строится он тринадцать лет. Остались отделочные работы. Трудно идёт строительство. Нам хотелось бы побыстрее... Но как Бог велит.

Я вытащил из борсетки портативный диктофон.

– Можно включить?

– Пожалуйста... Один из приделов храма будет освящён в честь четырнадцати тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме избитых. Но здесь уже проводятся первые службы.

– Я видел вашу икону младенцам-мученикам. Там, – я кивнул в сторону старого храма. – Она потрясает. Ничего подобного видеть не приходилось.

– Да, она особая. Выпадает из привычного ряда...

– В искусстве живописи есть понятия «портрет» и «жанровая картина», то есть сюжетная. Если условно сравнить иконопись со светской живописью, то икона в традиционном понимании – это в основном портрет, а ваши младенцы – это сюжет.

– А вы видели нашу старинную икону «Одигитрия»? А Серафима Саровского с частицей мощей преподобного?

Я развёл руками. И монахиня с некоторым сокрушением глянула на меня:

– О-о, вас ждут счастливые минуты встречи... Пойдёмте.

\*\*\*

В сопровождении вполне профессионального экскурсовода я внимательно осмотрел храм, постоял перед его иконами.

«Одигитрия» в самом деле подарила волнующие, будоражащие воображение минуты. Среди всего того, чем может гордиться русский человек, одно из самых почётных мест, безусловно, занимает наша отечественная иконография. Нет слов, восхитительны работы Боттичелли и Рафаэля, Микеланджело и Рембрандта. Но меркнут они перед Смоленской «Одигитрией». Потому что понимаешь: рукою иконописца двигал не талант и даже не гений художника, а сошедший на него Дух Святой. Потому что образ Богородицы вмещает всё: нашу молитву и веру, надежду и терпение, прощение и любовь. Потому что скорбный взгляд Путеводительницы, как ещё называют Её, обнимает наше прошлое, настоящее и будущее и несёт в себе материнское предостережение.

«Радость моя, гряди, гряди ко мне», – услышал я ласковый зов Саровского чудотворца... Здесь, у его иконы, я почему-то вспомнил Александра Сергеевича Пушкина, который мог быть, впрочем, наверняка был одним из тысяч паломников, получавших благословение великого старца.

Душа поэта была христианкой от рождения. И в своём вольном молодечестве он скорее напоминал шалившего на глазах матери ребёнка, который и позволяет себе шалости лишь потому, что уверен: любящая мать не осудит и поймёт его. Ребёнок вырос, и крепло его христианское чувство. «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть, прощаю ему и хочу умереть христианином», – сказал он на смертном одре своему лицейскому другу и секунданту Данзасу и попросил пригласить священника, чтобы исповедаться и причаститься. Как свидетельствуют очевидцы, перед смертью поэт имел два сильных желания: поест мочёную морошку и быть прощённым у Господа.

А ещё в жизни Александра Сергеевича есть два дня, напрочь выпавшие из-под пристального взора его биографов. Осень в Болдино 1830 года. Ему наскучило одиночество в деревне, кое-что, слава Богу, написано, и он рвётся в Москву, к невесте. Но холерный карантин преграждает путь домой. Благодаря этому, собственно, и состоялась та самая знаменитая Болдинская осень.

Очередной раз исчерпав все возможности пробиться сквозь выставленные на дорогах кордоны, он возвращается в родовое имение... Но вот тут, в этом промежутке – между кордоном на границе Нижегородской и Владимирской губерний и возвращением в Болдино – проходит два дня, о которых, в отличие от других дней этой осени, не сохранилось никаких – ни прямых (в рукописях, письмах, записях на полях), ни косвенных – свидетельств. Где же был, чем занимался поэт двое суток?

Скорее всего, в это время и произошла его встреча с преподобным Серафимом. Много слышанный о старце, он мог по дороге в Болдино сделать небольшой крюк и заехать в Саров. В пользу этой догадки говорит тот факт, что в стихах поэта появляется тема монастыря, старого молитвенника. А в рукописи стихотворения «Отцы пустыньники и жёны непорочны...», написанного уже после смерти чудотворца, без видимого повода рукою Пушкина набрасывается странный рисунок: монах, обличьем напоминающий Серафима, стоит сгорбленный перед образком в тесной келье. Тщательно прорисованный переплёт оконной рамы удивительным образом совпадает с конфигурацией окна в келье саровского старца. Никаких комментариев к рисунку поэт не оставил, видимо, предпочтя сохранить в сокровенной глубине сердца важное для себя событие.

«Радость моя, Христос воскрес!» – обезоруживающей улыбкой встретил преподобный отче Серафиме молодого, смуглого, кудрявого барина, чутьём прозорливца угадывая в нём первого поэта России...

Мать Ангелина не торопила меня, стояла поодаль в молчании, хорошо понимая ведомую ей тайну духовного слития.

На выходе из храма я опять столкнулся с иконой Вифлеемских младенцев. И, кажется, догадался, почему меня так тянет к ней. Чтобы писать о монастыре, мне нужен сюжет. Писать литературно обработанную краеведческую справку о нём мне было бы неинтересно. Да и не моё это занятие. В монашестве и белом духовенстве есть пишущие люди – они сделают это, безусловно, лучше меня... Теперь

я не только понимал, что материал мой будет сюжетным, но и знал, кажется, какой именно сюжет ляжет в основу повествования.

– Я слышал, в советские годы в храме располагались детский санаторий, различные клиники... Одно время, насколько мне известно, здесь была гинекологическая больница. А точнее, городской абортарий. Это так?

– Кошунству нет границ, – отозвалась мать Ангелина. – Операционная была устроена в алтаре. Представляете? В святая святых... Вот уж воистину мерзость запустения на месте святом.

Мы замолчали надолго. Надо было перевести дух, отдышаться.

\*\*\*

Какой, на счастье, толковый гид попался мне – не каждый парторг мог так умело представить своё хозяйство. За полчаса мы побывали в здании воскресной православной школы для детей, прошли мимо погребов и старой деревянной трапезной, которая нынче приспособлена под гостиницу для приезжающих временно пожить в монастыре и поработать во славу Божию, заглянули в коровник, где лениво жевали свежее сено две монастырские коровы – Жданка и Ночка.

Сказать, что у матери Ангелины было одухотворённое лицо, – это почти ничего не сказать. На такое лицо, как у неё, можно смотреть не уставая. Как не устаёшь, к примеру, любоваться на вечерней зорьке тихой гладью реки с оброненными в неё косматыми шапками прибрежных ив.

Мы шли нахоженной дорожкой вдоль молодого яблоневого сада, и она говорила, что посажен он на месте прежних садов, цветших здесь более полутора веков назад, что территорию бывшего скита не сравнишь с тем, что имеет монастырь сегодня, и что одних плодовых деревьев здесь было около двух тысяч, теперь же их ровно в десять раз меньше.

– Так и с этими мороки сколько! – представил я, вспомнив свой сад на даче, состоящий из пяти деревьев. – Только опрыскивать – умучаешься.

– Мы не опрыскиваем.

– А как же червячки-гусеницы? А короеды-листовёртки-плодожорки?

– Обходимся. Молитвой... Близко не подходят.

– Правда, что ли? – изумился я оригинальной технологии борьбы с сельхозвредителями.

– А как же ещё? – в свою очередь удивилась она.

И, словно тотчас забыв об очевидном, не требующем лишних слов, вернулась к главному:

– Представляете, прежде из родника – вон, его хорошо видно – по керамическим трубам сюда поступала вода. В скиту был даже фонтан. А вот здесь, в низине, был пруд. Теперь тут наш огород.

С возвышенного места, где мы остановились, огород был виден как на ладони. И я не смог скрыть своего восхищения сочной зеленью ухоженных грядок:

– Известно, ил – лучшее удобрение. Земля тут плодородная.

– Она тут священная, – поправила благочинная. – Сюда выбрасывали умерщвлённую плоть после абортот. Здесь у них было что-то вроде мусорки.

– Так что же получается? – Я даже остановился, поражённый мыслью: – Огород... растёт на костях?

– То не кости. То – мощи...

С низины сорвалась в нашу сторону стайка пернатой мелочи, помельтешила крылышками, потенькала над нами и убралась восво-яси – я даже не успел разглядеть, что за птички. И как потенькали, не определил – то ли жалобно, то ли радостно, то ли всё вместе.

– У нас каждую субботу после литургии покаянный молебен служится. Канон Вифлеемским младенцам читается. Молимся о мужах и жёнах, причастных к греху детоубийства. Приходите в субботу. Очень хорошая служба.

– Невинную кровь с пола алтарной комнаты соскабливать?

– Не с пола. С душ наших. Грех-то общий.

Голос монахини звучал ровно, спокойно, даже отстранённо, будто её вовсе не касалась боль за убиенных. Впрочем, я догадывался: все мы читаем одинаковый текст вечерней молитвы, только Господь по-разному откликается на просьбу каждого: «Мысль мою Твоим смирением сохрани». В отличие от моей, просьба монахини Ангелины, судя по всему, была ближе к небу.

– А с колоколами управляться где научились? – спросил я, когда, возвращаясь, мы проходили мимо звонницы. – У вас здорово получается.

– Тут у каждого своё послушание. У меня – такое.

– Послушание послушанием. Но тут же, – я покрутил скрюченной пятернёй возле уха, – слух иметь надо.

– Так по благословению же матушки...

– То есть?

– Если матушка благословит – значит, получится.

Мы приближались к жилому корпусу. Я поблагодарил мать Ангелину за «экскурсию» и не смог скрыть свой душевный порыв:

– Как же мне хочется разузнать хоть немного о вас. Лично о вас. В следующий раз расскажете о себе? А, мать Ангелина? Могу рассчитывать?

– Как матушка благословит, – кротко ответила она. – Не забудьте из нашего источника воды домой взять. Очень полезная вода.

А матушка Феодосия уже поджидала нас.

\*\*\*

У-у-у, как бы мне не хотелось, чтобы этот склизкий довесок, этот мерзкий камень, вытащенный из-за пазухи – из-за чьей пазухи? – присутствовал в моём рассказе и омрачал светлые впечатления от встреч в монастыре!

Но что поделаешь – жизнь постоянно преподносит нам сюрпризы.

Взять тот же литературный журнал, который я возглавлял четыре года. С каким трудом ежегодно пробивал бюджетное финансирование! С каким трудом, экономя на своей и коллег моих зарплате, наращивал материальную базу – помещение для редакции, мебель, компьютеры, телефоны-факсы! С каким трудом сколачивал вокруг журнала авторский актив, перелопачивал груды рукописей, отыскивая в кучах жемчужинки, повышал количество подписчиков. И всё псу под хвост. Русский, православной ориентации журнал с какого-то перепугу назвали антисемитским. С какой стати, ребята? У православных своих проблем хватает – оставьте в покое. Изыдите! Нет, ухватились бульдожьей хваткой. К тому же полтора миллиона годовых из бюджета лакомым куском показались.. Как водится, нашлись предатели и среди своих. Кому-то из братьев-писателей поручить журналом дюже захотелось, кому-то удобный случай свести счёты с главным, а кому-то и вовсе наплевать на журнал – всё равно не больно публикуют. Так и пришлось уйти.

Больше года просыпался по ночам с жутким желанием дать в морду. Укрощал себя, на исповедях каялся, молился о «ненавидящих и обидающих нас». А ночью вскакивал в ярости, стонал: «И-и-и-у-у-ды». Анечка переживала, боялась – кондрашка хватит, подкармливала успокаивающими. Хорошо, выпивать запретил себе – иначе до беды могло дойти. Но ни на пьяную, ни на трезвую голову не мог найти объяснение, зачем Господь разлучил меня с журналом. Понимал, были ж у Него Свои соображения, не могло не быть. Но какие?..

Однако увлёкся я сильно «журнальным» сюрпризом. Вернусь к рассказу о монастыре.

Я уже собирался раскланиваться с матушкой Феодосией, когда у неё зазвонил мобильник.

– Благословите, Владыка, – отозвалась она. – Спаси Господи... Вашими молитвами.

Я внутренне собрался. На меня всегда так действует начальство, даже если оно не рядом, а говорит откуда-то в твоём присутствии по телефону. В моих жилах течёт кровь вольного казака-хлебопашца, мои предки не знали иного хозяина, кроме Государя-батюшки да Христа Бога с Богородицей, а вот поди ж ты.. Неужели большевики лютостью своей вживили ген страха?.. Как бы там ни было, я чутко прислушался к разговору.

Речь, по-видимому, шла о средствах для завершения строительства храма. Матушка благодарила Его Преосвященство и, демонстрируя познания, которые украсили бы квалифицированного прораба, докладывала о том, что ещё осталось сделать.

– Встречалась с руководителем компании... Проводила девочек в Оптину. А сейчас общаюсь с... – настоятельница назвала меня. – Он собирается писать о монастыре... С вашего благословения. Он говорит, брал. Не помните?.. Не знаю. Он сидит передо мной. Выясню...

Последовала мучительная пауза. Матушка молча кивала – ей тоже было неловко. Потом разговор у них перекинулся на другое – не помню, на что конкретно. Я почувствовал, как жар взбегал по шей-

ным позвонкам к затылку и тошнота подступала к горлу. Мне было не по себе. «Хорош гусь, этот писатель, наводит тут тень на плетень», – должно быть, подумала матушка. Стыд обжигал моё лицо.

– Как же так, не помнит? Я понимаю, прошло три месяца, тьма народа в церкви. Но ведь он знает меня. Должен помнить, – как провинившийся школьник, оправдывался я. – Он шёл в сопровождении отца Пахомия, настоятеля Троицкого храма. Уж отец-то Пахомий должен помнить. Он сам же и советовал мне получить благословение у Владыки.

Матушке не составило труда нажать несколько кнопок на своём мобильнике. Игумен откликнулся моментально, и она в общих чертах обрисовала суть возникшего недоразумения. Я затаил дыхание.

Слов его я не слышал. Могу лишь предположить, что отец Пахомий, поставленный перед сложным выбором, всё же дипломатично уклонился от роли моего адвоката, чтобы не ставить под сомнение правоту своего непосредственного начальства. Во всяком случае, мои наивные надежды, что настоятель отважно кинется спасать репутацию своего прихожанина, не оправдались.

Спасла меня матушка Феодосия.

– Запамятовал Владыка. Простим ему – бывает, – мягко проговорила она, отложив в сторону телефон. – Да и благословение было взято достаточно формально, в сутолоке. Вам бы к нему на приём сходить. Поговорить обстоятельно. Это ж вашему материалу поможет.

– Конечно, конечно... конечно... – сиплым голосом бормотал я и тряс опущенной головой.

Ох, как трудно было поднять её и самому подняться на ватные ноги...

Что может быть унижительней нашей немощи?! И ладно бы физической...

У-у-у, как бы я хотел сейчас отмотать время назад: поблагодарить мать Ангелину за чудесную беседу, попрощаться с ней и – быстрее-быстрее – рвануть домой. Да, заскочить к святому источнику за «полезной» водичкой и – домой!

\*\*\*

Полтора года назад навалилась хандра. Казалось, солнце померкло, потемнело небо и земля закачалась под ногами. Беспросветная тоска совпала с тем временем, когда я остался без журнала. Но не в журнале одном была причина моей ипохондрии.

Тогда, помню, жутко захотелось забиться в какую-нибудь глухомань, отрыть пещеру и жить отшельником.

Чтобы не читать в газетах разнузданную, грязную ложь. Чтобы не внимать лицемерным словам правителей об их главной заботе – благе народа. Чтобы не видеть, как неотвратимо разваливается страна, как богатые продолжают богатеть, а бедные беднеть. Чтобы не наткаться постоянно на попранную справедливость – во властных структурах, в судах, в многочисленных органах, якобы призванных

блюсти законность. Чтобы не ждать, когда к тебе на работу придут по наводке злопыхателей налоговые инспекторы, работники управления по борьбе с экономическими преступлениями, прокуратуры или контрольно-ревизионного управления и, если ты «заказан», обязательно найдут повод к чему-нибудь придраться. Чтобы не встречаться на улице со скучающим милиционером, который может затребовать документы, обыскать тебя, заподозрить, что ты пьян или вынашиваешь противозаконные намерения, и отвести тебя в участок. Чтобы не обращаться за помощью к равнодушному к твоим болячкам врачу, ожидающему от тебя лишь «материализованную» благодарность. Чтобы не наблюдать оплётанный и захламлённый двухкилометровый парапет набережной, сплошь уставленный пивными банками и бутылками, где тусуется современная молодёжь. Чтобы невзначай не быть униженным хамом кондуктором, который за долгую смену накрутил себе нервы до предела и наконец-то «разрядился» на тебе. Чтобы не слышать по ночам матерный ор вечно пьяного соседа. Чтобы не просыпаться утром с мыслью о том, что сегодня ты должен оплатить домашний телефон по новому, повышенному тарифу, иначе к вечеру твой телефон отключат. Чтобы не бояться за завтрашний день – твой и твоих детей.

В пещере жизнь была бы проще. Там становится осуществимым твоё неизбывное желание свести до минимума точки соприкосновения с нынешней действительностью. Но как порвать с этим обременительным и всё-таки единственно доступным тебе миром? Ведь ты носишь его на своих плечах.

Казалось, оставался единственный выход – умереть тихой, естественной смертью. Но кто знает, какие проблемы ожидают тебя там, на том свете. Тут ты всё-таки страстотерпец временный. А там тебе обещается вечность – нет никакой уверенности, что не попадёшь из огня да в полымя.

Так где же он, покой душевный?..

Долго искал я его, взывал и аукался. Всё напрасно. Ни дома, ни в редакции, ни в храме не находил ответа. Общение в кругу семьи, коллег, друзей, единоверцев – ничто не приносило желанного успокоения. Никто не в силах был помочь мне обрести душевное равновесие.

Я бы мог окончательно заблудиться и погрязнуть в унынии, если б не счастливая случайность. Копаясь в домашней библиотеке, словно пчела, перелетающая с цветка на цветок в поисках нектара, наткнулся на недавно приобретённую книгу Гоголя. В ней были опубликованы малоизвестные религиозно-нравственные произведения, написанные им в последнее десятилетие его жизни.

В классике русской литературы я с удивлением и восторгом открыл своего современника. Он писал о тех же – один к одному – вопиющих безобразиях российской действительности, которые возмущали и меня. «Дрянь и тряпка стал всяк человек» – этот вопль отчаяния писателя сильно напоминал моё сегодняшнее смятение. И вместе с тем становилось понятным и другое: все времена несут в себе повод для самых мрачных оценок, однако ж добро не уступает свою территорию в брани со злом. И последнее в немалой степени зависит от нас.



Прямым ответом на мучающий меня вопрос явилась статья Гоголя «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии». Гнев, уныние побеждаются добром, которое мы делаем, в том числе и тем, кто причиняет нам зло.

«А делая добро, — наставлял Николай Васильевич, — мы должны помнить, что оно должно быть душевное добро, то есть не то, которое доставляет минутное удовольствие, и потому нечего нам глядеть на то, бранят ли нас, платят ли нам неблагодарностью или приемлют самое дело не в том виде, как оно есть. Потом они узнают и уразумеют. Всё потом переменится и принесёт двойную и тройную выгоду. И потому, помолясь, мы должны действовать смело: будущее в наших руках, если мы постараемся сами быть в Божиих руках».

\*\*\*

Вечером мы с Анечкой взялись вычитывать Правило ко святому причащению — каждый перед своей божницей. Обычно утренние, вечерние молитвы мы читаем вместе — дуэтом или «лесенкой» — перекладинка моя, перекладинка её... Но сегодня предпочли раздельно — перед причастием полагалась исповедь, и теперь каждый из нас нуждался в сосредоточенном уединении.

Исповедь для меня, как, впрочем, пожалуй, и для всех, — это маленькая Голгофа, на которую взбираешься в муках совести, чтобы там распять себя, грешного, и получить желанное освобождение. И хоть взбираешься добровольно, велик соблазн слегка завысить оценку своим поступкам и словам, мыслям и чувствам! Скажем, балла на полтора, от силы — на два. Там, где заслуживаешь оценки «удовлетворительно», великодушно дотянуть до «отлично». А дебелий кол — пусть хотя бы до худосочной, но всё же до троечки. Да вот закавыка: стыдно притворяться праведным перед людьми. Но во сто крат стыднее перед собою лицемерить, тем более перед Господом, Кому и приносишь своё покаяние! Он ведь тебя как облупленного... Ты сам себя так не знаешь, как Он.

Нет, тут не слухавишь. Тут тебе не ЕГЭ, где вольно манипулируют баллами в сторону завышения. Тут — только в сторону занижения. И вот что удивительно: сколько б ни занижал — перебора не будет. Потому как нет предела низости наших грехопадений.

Сколько раз зарекался, сколько обещал Анечке — и всё напрасно!..

В чём зарекался? Да во всём: не пить, не курить, не сквернословить, не насмешничать, не раздражаться, не обижать, не желать зла ближнему, не участвовать в споре, не лгать, не копить обиды, не осуждать, не клеветать, не злорадствовать, не скупиться на милостыню и доброту, не завидовать, не допускать памятозлобия, не мстить, не прелюбодействовать, не заниматься самооправданием — всего не перечислишь. Зарекался. Обещал. И вот результат: «якоже бо свиния лежит в калу, тако и аз греху служу...»

О чём завтра буду говорить батюшке? Да всё о том же.

Прости меня, Господи, за маловерие. Не хватает, до удушья не хватает смирения и любви к ближнему. Постоянно напарываюсь

на очевидное: истаивает любовь как льдинка на стекле, иссякает смирение, словно вода в пересыхающем колодце. Смирение и любовь... Если они в тебе – это, наверное, и есть благодать Божия, а отсутствию – это, несомненно, великая беда.

Спрашивается, с чего наемдни завёлся, размахался казацкой сабелькой над бедными головушками поэтов Серебряного века? Мне ли, грешнику, судить их? За них молиться надо – каково им *там* дожидаться смягчения участи по Втором Пришествии? – а я сабелькой... Это всё от отсутствия тишины в сердце, от отсутствия любви и смирения... Ну, да Господь им судья. А мне пред Ним завтра ответ за себя держать.

С Анечкой мы хотели попасть на субботнюю литургию, в особенности же на молебен о грешниках, повинных в детоубийстве. Причина желанья весьма банальная.

Жена моя делала аборт. Было это через четыре года после свадьбы, уже когда у нас был сын Антоша. Анечка болела – кроме аортоартериита её неотступно сопровождал шлейф болячек – часто лежала в больницах, и мы боялись, что, родив второго ребёнка, она может оставить меня одного с двумя детьми.

Вот если бы в юности я попал в Алексиевский монастырь, может быть, тогда бы понял, что всё «в руце Божией», и не стал бы обременять свою душу смертным грехом детоубийства. Но в том-то и дело, что попасть в монастырь, пересечься с ним я просто не мог. Во-первых, потому что его не было – в здании обезглавленного скитского храма тогда располагалась гинекологическая больница. Во-вторых, и я был другой, тоже «обезглавленный» – комсомолец, потом молодой журналист с партийным билетом. Да и вообще – в чём проблема? Ну, не убереглись, подзалетела жена, досадно, да что ж теперь делать – не разводить же семерых по лавкам?! У друзей, у знакомых – у всех так!

Хотя стой: пересечения кое-какие всё-таки случались. Были встречи, которые при определённом стечении обстоятельств могли бы образумить. Один из двух на весь город действующих храмов – Троицкий собор – он ведь с моим домом по соседству стоял. А я мимо него шастал: остановка троллейбуса, на котором на работу ездил, как раз напротив церкви. В выходной день или после работы, когда благополучной семьёй на набережную шли прошвырнуться, – тоже храм огибали. Церковь – для старушек, церковь – памятник истории и культуры, её беречь надо. Разве ж мы Ивановы, не помнящие родства?

Хотя стой, ещё раз стой: случалось, заходил. Из любопытства. Словно в музей. И будто бы даже чувствовал, как пальцы на руке сами собирались в щепоть, тянулись ко лбу, а дальше уж не помнили – к правому ли плечу, к левому ли тянуться...

Однажды вместе с маленьким сыном зашёл – угодили к самому началу вечерней службы. Чтоб не мешать богомольцам, при входе тихонько прошлись вдоль стены, рассматривая иконы. Сын открывал для себя неведомый, похожий на сказку мир. И тут какая-то старушка стала настойчивым шёпотом что-то объяснять нам, энергично маня нас к себе. Я ничего не мог понять, пока не увидел дякона – тогда я сказал бы «служителя культа», – который, размахивая

кадиллом («дымарём»), приближался к нам. Он остановился и жестом левой руки показал, что нам надо отступить от стены и подвинуться к центру, к прихожанам, позволить ему и нас окурить благовонием.

Господи, прости меня!.. Всякий раз испытываю жгучий, бросающий в озноб стыд: я замахал руками, то прижимая их к груди и кланяясь, то снова тряся ими перед собою. Это, по моему мнению, на языке жестов означало: «Спасибо, большое спасибо, но, пожалуйста, не хлопчите... мы тут так... на экскурсии». И ведь, как ни чудовищно звучит, я поступал по совести: разве мог я, инструктор отдела культуры обкома партии и честный человек, притвориться верующим и соврать доверчивым старушкам?

Мы так и остались с сыном стоять у стеночки...

Мы так и не усомнились с женой в своём решении сделать аборт...

Случилось так, как случилось. Прошное не воротишь, ничего в нём не исправишь, и нам остаётся лишь каяться в грехах безбожной молодости, распинать чистосердечной исповедью свои страсти и похоти и умолять Всемилоственного Господа простить нас, неразумных.

\*\*\*

Анечке с раннего утра нездоровилось.

Впереди предстоял ответственный день, и это помогло ей переключиться «на автопилот» – так она называла чувство ответственности, на котором можно было некоторое время жить, преодолевая физическую немощь.

Я пожалел, что вчера, возвратившись из монастыря, рассказал обо всём, что там было, и тем самым усугубил её и без того нарастающее недомогание. Она понимала, что недоразумение, связанное с «забытым» благословением, не вдохновит меня на «поднятие штанги» и я в который раз лишь похлопаю себя под мышками напачканными тальком руками.

Не понравился ей и мой восторг от матери Ангелины. И тут я признаю свою вину полностью. По простоте, которая, как известно, хуже воровства, я постоянно забываю, что с Анечкой ни в коем случае нельзя делиться своим восхищением представительницами слабой половины рода человеческого. Сильной половины – ещё куда бы ни шло, а вот слабой – однозначно не надо. Даже если, как понимаю нынче, это ушедшие из порочного мира в постническую жизнь затворницы. Мне бы, дураку, ограничить свой рассказ новой информацией о монастыре, которую я почерпнул из нового источника, а про источник – не чирикать и уж тем более не заливаться соловьём... Слава Богу, обошлось без скандала, но настроение её было заметно подпорчено.

Ещё раз повторяю: сам виноват. Хоть убейся – никак не могу совладать со своей неуправляемой влюбчивостью. Чуть что – правильный профиль или умный взгляд, доброе, участливое слово или, паче того, изящная мысль – и душа уже встrepенулась, заволновалась.

Вот оттого Анечка и начеку всегда. Оттого иной раз и перегнёт палку – лишнего напридумывает, глупостей наговорит. Одно остаётся – терпеть. Да на исповеди каяться в слабости своей.

– Помнишь, у апостола Павла?.. Его самобичевание: «Не делаю, что хочу, а что ненавижу – то делаю», – вспомнил я по дороге в монастырь. – Вечный конфликт, который носим в себе.

– С чего это ты вдруг? – откликнулась жена, с трудом выбираясь из-под спуда своих размышлений.

– Просто подумал: хорошо, что мне шестьдесят. Чудесный возраст. Тело ещё способно на страсть, но душа уже контролирует её. Ни в какой иной поре жизни мне не удавалось так улаживать этот вечный спор между «хочу» и «делаю»...

– Ты уверен?..

Я сделал вид, что не услышал вопроса.

– Боюсь, трагедия Хемингуэя в этом, – сказал я. – В свои шестьдесят он перестал хотеть. Поэтому и обошёлся с ружьём так небрежно.

– По-моему, причина в другом. Он был атеистом.

– Нет. Он просто слишком любил эту жизнь.

– Возможно. Хотя это одно и то же... Быть атеистом и обожать грешную жизнь... Но ты так и не ответил. Уверен?

Я вспомнил о её недомогании.

– Ты как себя?..

– Всё прекрасно.

– Можешь рассказать, как это было? Ну, в тот раз... Когда мы забоялись оставить ребёнка... Столько времени прошло. Я позабыл.

Анечка длинно посмотрела на меня. Наверное, прикидывала, хватит ли сил откликнуться на мою просьбу.

Дорога в горку была знакомой, и мы уже не смотрели по сторонам, шли себе, не опасаясь заблудиться. Я замедлил шаг и придвинулся к жене вплотную, чтобы она могла ухватить меня под руку. Но Анечка не приняла помощи, пытаясь подтвердить тем самым, что у неё «всё прекрасно».

– Антоше было полтора года. Нет, чуть больше. Зимой, – веско сказала она. – Это не входило в наши планы. Но случилось... До пяти недель можно было думать. А потом я пошла в больницу. Ты меня не удерживал. Решение было общее.

Я не понял: то ли Анечка отшатнулась от меня сознательно, то ли её качнуло в сторону.

– А потом ты пришёл ко мне. На второй день. Навестить... Я ненавидела тебя. Ты был невыносимая сволочь. Ты защищал себя. «Не смей винить меня. Не смей. Я не заставлял тебя» – твои слова. Я не обвиняла тебя, просто мне было очень больно. И я хотела, чтобы ты меня поддержал, погладил по голове, заткнул глотку этой невыносимой боли... Ты уходил, а я в окошко с ненавистью смотрела тебе вслед. И проклинала тебя... Последнее, что я помню... я сильно ударила о подоконник.

Анечка заплакала, и я метнулся к ней, ухватил её за руки и прижал их к своему лицу:

– Прости меня. Прости, миленькая...

– Когда я пришла в себя... уже в палате... меня принесли туда... я знала: разведусь с тобой. Ничто не могло остановить меня... А потом я пришла домой. Ты катал на спине Антошку. И он заливался счастливым смехом.

– Прекрати! Прекрати плакать, – взмолился я, – у меня разорвётся сердце. Я сейчас умру. Хочешь?

– Сейчас не хочу. А тогда хотела, очень хотела... Я знаю, ты изменял мне. Пусть. Но то, что пережила я тогда, было страшнее. Мне никогда не забыть, не переступить через это...

– Ну прости-и-и, прости же меня...

\*\*\*

Я побеспокоился о том, чтобы служба была для Анечки не столь утомительной. В храме усадил её на детский стульчик возле панихидного столика, под иконой избивенных младенцев. Она не возражала. Чувство противоречия уступило инстинкту самосохранения.

Я стоял на своём прежнем месте – у балясины винтовой лестницы, рядом с пустующей выгородкой для свечного ящика. Отсюда было видно всё – царские врата и амвон, певчих на клиросе и Анечку, сидящую слева от меня. Охваченная боковым зрением, она была как бы под постоянным моим наблюдением и в то же время не мешала мне следить за службой.

В последнюю неделю жена дважды – походя – обмолвилась о моей супружеской неверности. И дважды я делал вид, что пропустил её обличение мимо ушей. Прежде не допускал этого – делал круглые глаза, клялся и возмущался напрасным наветом. Но почему-то в последнюю неделю молча сносил упрёки. Мне казалось, так будет лучше, в любом случае лучше. Если я изменял, значит, должен принять справедливые обвинения и не оправдываться. Если, несмотря на естественные в мирской, немонашеской жизни ухаживания, флирты и любовные игры, всё же уберётся от грубого прелюбодеяния, пусть это будет платой за мою влюбчивость. Как там у Христа? «Всякий посмотревший на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своём».

И всё-таки у меня нет сил казнить себя за влюбчивость. Ведь она распространяется на всех людей без исключения, у всех ищет взаимности, доброты и ласки. И если женщина занимает здесь особое, привилегированное место, то только потому, что в своей жизни я был обделён женской любовью. Моя красавица-мама умерла в тридцать лет. Я до сих пор помню мельчайшую крупицу доброты, подаренную мне молодыми матерями моих школьных товарищей. Помню особенности улыбки, теплоту глаз каждой. Я находил недополученную от мамы любовь, потому что искал её, потому что был постоянно нацелен на её поиск. Эта спасительная нацеленность осталась навсегда. С девятилетнего возраста в каждой женщине я отыскивал что-то от мамы и хватался за это – взглядом, слухом, душой.

Так, в конце концов, была измена или её не было? Со всей определенностью ответить на этот вопрос я мог только на исповеди, куда вскоре и пригласили прихожан. Вслед за батюшкой мы прошли полутёмным коридором и остановились перед дверью угловой комнаты. Исповедующиеся по очереди заходили туда.

Анечку я, естественно, пропустил впереди себя – примоститься в коридоре возможности не было. Подперев стену, я выстраивал бесе-

ду со священником, опасаясь упустить что-нибудь важное, и переживал за жену. Руки мои сами сложились на груди просительным ковшиком. Но случилось то, чего я не просил – за дверью послышались всхлипы.

Обычно исповедь проходит непосредственно в храме, на виду иконостаса, в присутствии прихожан. Исповедника, стоящего перед батюшкой, ты не слышишь, но, по крайней мере, видишь и помогаешь ему сочувствием. В этот раз видеть Анечку я не мог. Только слышал её рыдания, и сердце моё скулило от жалости.

Я с трудом дождался её – она вышла успокоившаяся, чуть виноватая, просветлённая, с омытым слезами лицом.

– Простите меня, люди, – не отрывая рук от груди, поклонился я прихожанам.

Переступил порог комнаты и плотно прикрыл за собою дверь...

\*\*\*

– Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь...

После причастия всегда становится легко и покойно. Мы шёпотом поздравили друг друга с принятием Христовых Таин, поцеловались украдкой, и я видел, что боль, стоявшая в глазах жены, отступила. Что может быть чище чувства благодарности Богу, Который и приходил-то на землю, чтобы призвать не праведных, но грешных на покаяние. Спасибо Тебе, Господи, что принял нас сегодня «яко блудницу, яко разбойника, яко мытаря» и снял с душ наших тяжкое бремя грехов. «Да не опален буду» огнём Твоим невестественным!..

Матушка Феодосия благословила каждого причастника нагрудным крестом. Я видел, как умилённая, благодарная Анечка была готова обнять настоятельницу, но та сделала упреждающий жест: не прикасайся, не надо, храни в себе благодать причастия.

Во время службы я всё выискивал глазами среди монахинь мать Ангелину. Мне почему-то было очень важно увидеть её лицо и, если вдруг она поднимет на меня свои глаза, поклониться ей молча. Но её не было. Лишь однажды, когда раздался колокольный звон, я увидел, слегка отступив к окну, вроде бы знакомый абрис. Но, скорее всего, это была не она – иначе почему же ей после того, как звон затих, не появиться в храме?..

Закончившаяся литургия плавно перетекла в покаянный молебен.

– «...Моление теплое и стена неборимая, милости источнице, миру прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице Владычице, предвари и от бед избави нас...»

– «...Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся...»

– «...Бодренною Твоею молитвою... подаждь душам нашим милосердие Твое, во веки источаючи: Тебе бо имамы грешнии заступницу от находящих на ны бед и зол...»

Ах, как плотно ложились на сердце эти слова канона, звучавшие в храме! Как они совпадали с моими мыслями и чувствами! Не допусти, Приснодева Мария, чтобы совесть во мне умерла раньше меня.

Пусть, пусть она беспокоит, мучает и казнит, делая мою грешную жизнь невыносимой и возбуждая протест. Зато какая же это несравнимая радость – облегчить совесть исповеданием и почувствовать здесь, под сводом храма, спасительную близость звёздного неба.

– «...Лето живота нашего, прочее сохрани неврежденно поможением Твоим, Дево Отроковице, и сподоби конец благий получите нам, воспевающим Тя...»

Служба шла своим чередом, я стоял у лестницы, и Анечка не выпадала из моего огляда. Как же я любил её сейчас, и боготворил, и был верен ей! Жизнь начиналась сначала, с чистого листа, и чудилось, что обретаю способность летать, словно в давних стихах, сложившихся как-то по случаю:

*Восторг!.. Захватывает дух:  
Я невесом, и свят, и вечен!..*

Жаль, что у этих строчек было печальное, всё перечёркивающее продолжение:

*Не пел в ночи ещё петух –  
Полёт предательством помечен.*

Так я когда-то писал о тщете чувственных наслаждений. Но сейчас мне не хотелось думать и не верилось в чьё-либо предательство. Сегодня я просил Богородицу о другом:

– «...И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи мя...»

Канон Вифлеемским младенцам, который читала матушка Феодосия, что называется, выстроил приоритеты: главным виновником «злых действий», направленных против меня, был я сам. Иначе и нельзя было воспринять себя на молебне о мужах и жёнах, причастных к греху детоубийства. Сёстры монастыря молились сегодня у иконы четырнадцати тысяч избивенных младенцев. Для меня этих избивенных младенцев было больше – к четырнадцати тысячам я прибавлял ещё одного.

Мать Ангелина, припоминается, рассказывая о монастырском огороде, назвала умерщвлённую в тутошней абортарии плоть мощами. Как я понимал, мощи – это принадлежность святых. Следовательно, наш с Анечкой неродившийся ребёнок тоже является... Я почувствовал, как на лбу выступил пот. На всякий случай подвинулся к балясине – она могла выручить меня, если бы я стал заваливаться и оседать на пол.

Но я всё же, хоть и с трудом, справился с дурнотой. Я вспомнил о жене и подумал, что ей сейчас, должно быть, не слаще моего, и это помогло взять себя в руки.

Анечка держалась молодцом. Выручал стульчик, на который можно было присесть. Но она редко пользовалась возможностью передохнуть – лишь в тех случаях, когда, должно быть, ей становилось совсем невмоготу. Правда, покаянный молебен сполна дополнял физическое

недомогание душевными муками. К концу службы ей пришлось-таки отойти к открытому окну, чтобы хлебнуть немного свежего воздуха.

Я был рядом, когда услышал её прерывистое дыхание.

– Я узнала его... Это он.

– Кто? Где? – заозирался я.

– Подоконник. Это он. Я вспомнила. Эту глубокую оконную нишу. Высокую узкую раму. И эту гору перед окном, её вершину... треугольник с крутой стороной слева, с пологой – справа. Тут мы стояли с тобой, когда ты пришёл навестить меня. Это я тут, тут стояла и плакала. Тридцать с лишним лет назад... тут. А потом ударилась о широкий подоконник...

«Нет, мать Ангелина, – вскричало во мне, – вы не правы: служба ваша субботняя не просто «хорошая», как вы изволили выразиться, приглашая на неё, – она позарез нужна мне. И грех детоубийства – не «общий грех», он – мой, персонально, лично мой, который мне отмаливать до скончания века. Это мощи моего неродившегося младенца прорастают сегодня на грядках вашего огорода кудрявой морковкой. Господи, да как же выпросить у Тебя прощения?.. Пресвятая Богородице, спаси нас!.. Матушка Феодосия, мать Ангелина, сёстры монастыря, молитесь Богу за нас!»

\*\*\*

К счастью, обострение аортоартериита остановилось и не переступило ту грань, за которой наступает обморочное состояние. Анечка чувствовала себя не то чтобы сносно, но терпимо. Мы благополучно скатились с горы и на остановке «1-я Дачная» сели в троллейбус. Причём не просто втиснулись, как водится, в переполненный троллейбус, а натурально вошли и сели на свободные по случаю выходного субботнего дня места.

– Теперь и мне вроде как вспоминается... Или мнится только, – напрягал я память. – Будто прежде видел и эту крутую лесенку, и... Слушай! Пустующая застеклённая выгородка для свечного ящика... Да это же, поди, сохранившаяся регистратура.

– Так зачем надо было сохранять её? При восстановлении-то храма... – недоумевала жена.

– В том-то и дело: регистратура занимала не своё – чужое место. На правах временной приживалки. Век назад в скитском храме именно здесь и находился свечной ящик. Теперь историческая справедливость восстановлена.

– Я не помню ни лестницы, ни выгородки, – призналась Анечка. – По-моему, их не было. Ты, по обыкновению, навывдумывал всё. У тебя часто случается такое. Не различаешь, было или нафантазировал себе...

– Возможно, возможно... Только ты меня прости за разговор.

– За какой разговор?

– За тот. У подоконника.

– Ты его тоже вспомнил?

– Не знаю. Может, нафантазировал. Но главное – восстановил.



За стеклом троллейбусного окна ярилось солнце. Неделю назад город накрыла тропическая жара. Столбик термометра не опускался ниже тридцати градусов. Асфальт на тротуарах размяк и пружинил под ногами.

И сегодня на небе не было ни облачка. Припекало так, что в троллейбусе пахло обожжённым дерматином сидений. Можно было пере-сесть на теневую сторону полупустого салона, но уж больно уютно сидели мы с Анечкой, сомкнувшись и переплетя правую и левую руки.

– Не опаздываем? Который час? – забеспокоилась она.

– Не волнуйся. Мы даже успеем приготовить салат.

– Мы – это кто?

– Кто... Конечно же, ты. Я просто не разделяю нас. Ты – это всё равно, что мы.

– Хорошо. «Мы» приготовим. А есть будет каждый индивиду-ально из своей тарелки. – К ней возвращалось чувство юмора, и это означало, что здоровье её шло на поправку.

– Да, правильно, – подтвердил я. – Раздельно. Я, ты и он.

Сегодня на обед мы ждали сына Антошу. Работая на своих трёх работах, он мог навещать нас в основном по выходным.

Сложнее было встречаться нам, когда я возглавлял редакцию жур-нала. Моя рабочая неделя была целиком занята, а суббота и воскре-сенье принадлежали даче. Но этим летом, оставшись не у дел, я рас-поряжался временем самостоятельно. На дачу мы с Анечкой чаще всего выбирались среди недели. Кроме того, с недавних пор налади-лись, как это и положено верующим, посещать в своём соборе вос-кресные службы.

Словом, по известной поговорке «не было бы счастья, да несча-стье помогло», всё устроилось лучшим образом. Вынужденно уйдя в свои едва исполнившиеся шестьдесят на пенсию, я наконец смог подумать о собственной рукописи. Наличие освободившегося вре-мени и сил позволило конкретно заняться благоустройством дачного дома и сада-огорода. Упрочившиеся отношения с храмом позволили по выходным чаще видеться с сыном.

Единственное, что по-прежнему угнетало, – это предательство кол-лег, тех, кого прежде считал своими друзьями, кого воспринимал еди-номышленниками. Но довольно об этом!.. Не стоит унижать мрачным воспоминанием сегодняшней светлый день.

Сегодня Господь сподобил нас с женой приять Его пречистое Тело и честную Кровь. Это Он и о нас сказал на тайной вечере: «Каж-дый едящий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь во Мне пребыва-ет и Я в нём». Сегодня Господь сподобил нас отслужить покаян-ный молебен и так близко, в сердечном раскаянии помянуть плоть от плоти своей – ребёнка, от нас не родившегося. День воистину свет-лый, ибо соединил в себе две самые важные способности человеческо-го сердца – плакать и радоваться.

Продолжение следует.



**Иван  
ПЕРЕВЕРЗИН**

## **В ЕЛОВОЙ КОЛЫБЕЛИ**

\*\*\*

Каждый вечер добавляет снега  
В шапки мономаховые гнёзд.  
Дымом пахнет в наледи ночлега  
Чешуя, летящая от звёзд.

До краёв засыпаны озёра,  
Выровнены с речкой берега.  
Письменами снежного узора  
С человеком делится тайга.

В поздний час ни жгучие метели,  
Ни седые стужи не страшны:  
Спит душа в еловой колыбели,  
Снятся ей берёзовые сны...

\*\*\*

В моей руке – твоя рука,  
И душу не гнетёт тоска.

И весть про май во все концы  
С рассветом разнесли скворцы.

И если мы продолжим петь,  
Нас вряд ли одолеет смерть.

Сказал – и дрогнула душа,  
Как свет на лезвии ножа.

- 
- Иван Иванович Переверзин родился в семье сельского учителя в посёлке Жатай Якутской АССР, ныне – Республика Саха (Якутия). Окончил Хабаровский лесотехнический техникум, Российскую Экономическую академию им. Плеханова, Высшие литературные курсы Литературного института имени А. М. Горького. Публиковался в журналах «Москва», «Наш современник», «Смена», «Юность» и др. Лауреат Всероссийских литературных премий «Традиция» и «Полярная Звезда». Основные поэтические книги – «Утренняя птица» (1994), «Снежные ливни» (1996), «Стихотворения» (2004). Председатель исполкома Международного сообщества писательских союзов (МСПС). Возглавляет Литературный фонд России. Живёт в Москве.

\*\*\*

В осеннем солнечном лесу  
Ещё вчера листва всю  
На ветках сумрачных звенела...  
Сегодня лишь один листок  
Висит, как стойкости урок,  
И до него нет ветру дела.

О жизнь! Когда-нибудь и мой  
Срок подойдёт вдруг стать золой  
Или обычным чёрным тленом.  
Не потому ль я так держусь  
За этот вросший в камень куст,  
Аж на руках бугрятся вены.

\*\*\*

Домой пора. Домой хочу, но дома  
Никто, никто не ждёт меня, увы...  
Но та же на дворе родном солома  
И тот же запах полевой травы.

И те же петухи горланят песни,  
Особенно – в час вешний поутру.  
Я там умру. Я там весной воскресну –  
И никогда, быть может, не умру.



**Наталья  
ТЯПУГИНА**

# ИМПЕРИЯ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ МАРГАРИТЫ БОРЦОВОЙ

*А если мне, грубому гунну, кривляться  
перед вами не захочется,  
Я захохочу и радостно плюну,  
в лицо вам!  
Я – бесценных слов транжир и мот.*

**Владимир Маяковский**

Дорогой читатель, представьте, что у вас в руках книга-дебют. Поэт Маргарита Борцова дебютирует в качестве прозаика, рассказчика. Представили? Идём дальше.

Конечно, поэтический почерк автора в этой книге просматривается. То, как она пишет о природе, любви, творчестве, музыке, выдаёт в ней её лирическое первородство. Вы, внимательный читатель, непременно найдёте поэтические реминисценции в этой прозаической книге и узнаете почерк поэта.

О том, что Маргарита Борцова умеет писать, давно знают ценители её творчества. И, казалось, можно было бы, нащупав свою золотую жилу, писать и печатать всё новые стихи и поэтические сборники, особо не рискуя, ведь их качество подтверждено литературными премиями, публикациями в уважаемых журналах и альманахах, а самое главное – устойчивым читательским интересом.

- 
- Наталья Юрьевна Тяпугина – доктор филологических наук, литературовед, литературный критик, прозаик. Публиковалась в журналах «Москва», «Октябрь», «Дон», «Волга», «Волга–XXI век», «Наш современник», «Женский мир» (США); альманахах «Саратов литературный», «Краснодар литературный», «Мирвори» (Израиль), «Эдита» (Германия) и др. Автор более ста печатных работ, из них – пяти книг художественной прозы. Лауреат литературной премии им. М.Н. Алексеева. Член Союза писателей России. Живёт в Саратове.

Но Маргарита Борцова рискует и идёт вперёд. Она ступает на территорию, где почти всё для неё – впервые. Видимо, таков закон творчества. Таков путь этого писателя, который следует своей логике развития в поисках новых средств общения с собой и своим читателем. И это не самоцель. Это неизбежность. Если есть что сказать – художник будет искать и будет рисковать, пробиваясь к новому уровню понимания жизни и способам отражения его в слове.

Так и случилось в этой книге. М. Борцова новыми для неё художественными средствами препарирует дремучую реальность начала нового века, с её асфиксией духовности, горечью неприкаянности, сиротством людской разобщённости. Рисует людей, находящихся в кровном родстве, но одиноких среди самых близких. Они спасаются эмиграцией в творчество, хотя, как известно, от себя далеко не убежишь. «Вот если бы ещё летать уметь... Было. Всё было. Фу, как пошло: «Отчего люди не летают как птицы?» (Не плавают как рыбы? Не ползают как гады? Нужно – подчеркнуть.)» («Лекарство от бессмертия»).

Писатель в своих рассказах приводит в мир иных, чем прежде, героев, исследует отношения, которые не исчерпать музыкой стиха и о которых в реальной жизни вообще не принято говорить посторонним. И делает это талантливо, убедительно, лихо. М. Борцова искренна до самозабвения, и это подкупает и обезоруживает («Пропуск на Нараяму»). Она иронична и ранима, смела и изобретательна. Она может «наивно» святотатствовать: «Я почему-то думаю, душа есть не у всякого. Не каждому при рождении она положена. Иногда человек очень торопится на свет Божий выскользнуть, и зеринкой этой чуть приметной доукомплектовать его не успевают. И живёт такой получеловек-полуавтомат смоковницей бесплодной, ни о каких таких тонких материях не подозревая, совсем как левый товар без ярлыка и сертификата качества. Зато кому-то другому за этого легковеса двойную ношу вышачивать приходится» («Лекарство от бессмертия»).

Честность – высшее проявление силы. Писатель приспособливает аналитические возможности прозы не только для психологической диагностики. В лучших своих рассказах она выходит на уровень настоящих психологических открытий и философских обобщений. Она касается тем, которых многие от греха подальше сторонятся либо, взявшись за них, кокетничают до тошноты. А Борцова влетает в них, как Чапай на лихом коне, за что и получает интерес, внимание и благодарность читателей. Вообще в большинстве своих рассказов М. Борцова – смелый, свободный человек, которому, по большому счёту, всё равно, что скажут другие. Потому что свою правду и своё право высказаться о ней писательница выстрадала. Оттого ощущение созревшего плода от лучших её рассказов, понимание, что если сейчас писатель не раскроется весь до доньшка, то просто грянется оземь и обратится в ту самую бабочку, которой ужас как надоели материальные пределы бытия, такие скучные, нелепые и тяжёлые («Когда я буду бабочкой»).

Полёт – как противоположность жизни в двушке-ловушке, высшая гармония и противовес мерзости житейского запустения, а неу-

толикая жажда любви – как направление движения, чтобы сберечь душу живую.

Жизнь семейная в поэтике Маргариты Борцовой предстаёт неким Солярисом, беспрестанно воспроизводящим одни и те же мучительные коллизии, что вовсе не свидетельствует о недостатке любви. Просто это *другая* любовь – без прекраснотуши и сентенций. Любовь, не обволакивающая тебя ежечасно липкой паутиной ложно понятого участия и не ждущая взамен в засаде одурманенной ядовитыми ласками жертвы («Здравствуйте, Татьяна Петровна»).

Особенно мучительны отношения в *женской* цепочке: от матери к дочери и дальше, похоже, до бесконечности. Дурную инерцию требований и претензий, травмирующих *девичью-подростковую-женскую* душу, прервать трудно, почти невозможно. Остаётся только писать о ней, писать с холодком по спине, с гримаской улыбочки, как и делает это М. Борцова («Пропуск на Нараяму», «Лекарство от бессмертия»).

Язык книги с ироничным названием «На этом празднике жизни», безусловно, отражает особый подход к этой самой жизни, свою несочинённую иерархию ценностей. Надо обладать недюжинной смелостью, чтобы *так* описать младенцев, их матерей, да и сам акт соития, предшествующий появлению на свет всё новых и новых современных «здыхлецов», «лохов» и прочих «духлессов». Надо было до тошноты накушаться их удушающим соседством, вдоволь натерпеться от их паразитического способа существования как единственно возможного, чтобы *так* словесно отмутузить современных «лишakov» («лишних людей» то есть), дезавуировать их как тип, увы, мужского пола...

«Мизерная колыбелька эта как нельзя лучше сопрягалась с очертаниями недораспустившегося, спелёнатого, как бутон, тельца, так что крохотные ручки и ножки не имели никакой возможности исполнить возложенные на них матушкой-природой исконные функции. Солнце, огромное и яростное, било в прищуренные глаза, прожигало насквозь морщинистую мошонку лица, заставляя свою жертву ёжиться ещё больше в бесплодных попытках освободиться от гнетущей, навязчивой ласки настольной электрической няни (...) Глаза младенца имели бессмысленный и лиловый, как глубины Мирового океана, оттенок. Они ничего не отражали, эти несчастные карманные зеркальца души, но об этом их странном свойстве никто, в том числе и сам гомункулус, пока не догадывался. Мозг крохи-существа дремал, но не сладкой дрёмой полноценного новорождённого гуманоида, а тревожным забытьем древнего доисторического ящера, предвидевшего посреди нескончаемых опасностей повседневного бытия ужасы грядущей эволюции» («Лох – самец Сёмги»).

Жёстко, не правда ли? Дальше – больше. Повзрослев, «Лох подкарауливал (да-да, представьте себе, подкарауливал) Сёмгу возле её дома, чтобы снова и снова захватывать в плен это сказочное бело-рыжее тело, снова и снова наблюдать, как всходит и заходит над ним обрамлённое одушевлённым золотом светило её лица. Чтобы в нужный момент напрячься и опасть, как опадает после отлива океан, оставляя на взбух-

шем песке клочья белой плодородной пены. Из пены этой как-то сами собой проклюнулись двое прелестных, как купидоны, малюток».

Мелководье старой разбитой тахты и тусклый свет электрической лампочки на фоне бухтящего телевизора – идеальные условия для существования и размножения Лоха и ему подобных, имя которым – легион.

О том, что, рассказывая о моральных «задохликах», М. Борцова попала прямо в яблочко, свидетельствуют и многочисленные лексические новообразования от популярного в народе слова *лох*: *лохануться*, *лохня*, а ещё *лохер*, *лохмэн*, *лохнезия*; а также *лоховитый*, *лоховоз*, *лоходром* и *лохотрон*. И это ещё не всё (см.: «Словарь молодёжного сленга» М., 2007, с. 356–357). Язык, как известно, в своих приоритетах не ошибается. Он их отражает.

Хотя всё не так просто. В рассказе «Лох – самец Сёмги» писатель идёт дальше.

Недостачу в жизни чего-то важного этот герой всё-таки почувствовал. Случилось это после исчезновения подруги Сёмги. Томление прежде всего было обусловлено полной его неприспособленностью к быту. Хотя тоска по бело-рыжему телу вполне могла к этому присоединиться... Вот такая Песнь рыбьей верности – нелепая как жизнь, окончательная как смерть.

И даже если территория обитания такого *Здыхлеца* ограничивается продавленной кушеткой, а любимейшим состоянием является горизонтальное, даже если рискованная езда в незнаемое у Лоха – это пеший поход к холодильнику, – всё равно остаётся великодушная милость художника. Пусть то, что Лох называл жизнью, таковой не являлось, пусть в метафизическом смысле он и не жил совсем, но (по-своему, по-рыбьи) смысл жизни он всё-таки отыскал. Нашёл его в смерти. Такое тоже бывает. И писатель говорит об этом без дурного задора, без пионерского оптимизма, умно и печально: что ж, лучше поздно, чем... «Лох уже благополучно отбывал по летейским водам вслед за своей Сёмгой. Длинные, тощие руки его превратились в ладные плавники, шаткие ноги – в красиво организованную и сильную лопасть хвоста, а бесполезные глаза, наконец-то ставшие подлинными светочами души, узрели где-то далеко впереди себя призывное рыжее сияние».

Действительно, надо быть настоящим художником, чтобы оставить и им, убогим и нищим духом, право на сочувствие и внимание. Хотя бы потому, что они, зажёвывающие чужую жизнь, зажевали и свою жизнь тоже. И вообще не ведают, что творят. К тому же, как и все прочие, и они смертны: «...ещё меня любите за то, что я умру...»

Борцова-прозаик демонстрирует в книге дар не только гуманного, но и парадоксального мышления, причём, самое ценное, что мышление это – в образах. А потому дар этот, несомненно, впечатляет. Банальный День рождения под её пером оборачивается страшеньким *Днём вырождения*; девочка-сирота в своём горестном одиночестве сливается с утратившей родственные скрепы бабушкой (или наоборот). Под пером писателя возникают разные возрастные лики одной человеческой сущности, каждая из которых – одинаково не от мира сего, мира, их отвергающего. И вот уже не видна та граница, что проходит

между девочкой и бабушкой, ничто не отличает реальную женщину от сказочной лесной феи («Фея»).

У Маргариты Борцовой как у писателя есть ещё одна сильная сторона: ей дано сливаться с природой, она способна чувствовать её и писать о ней. Это свойство тонкого человека и писателя. Судите сами: «Предрассветный эфир на высоте, куда не осмеливаются казать крыла досужие стаи пернатых, прозрачен и свеж, как цветок магнолии. Где-то в немыслимых небесных глубинах медленно распускается великанский розовый бутон солнца. Чуть ближе к земной тверди подобием выцветших косм гигантского доисторического карлы развеваются облака. В просветах облачной пены видно порой, как тяжело дышит, ворочается в берегах, изредка зажигаясь слюдяным, ранищим глаза блеском, огромная, студнеобразная медуза моря. По-восточному вальяжная красавица-природа празднует бархатный свой сезон, и какое, право, дело ей до человека и его немудрящих надоб?..» («Герой Советского Союза»)

Как зрима, как физически ощутима красота и колоссальность божьего мира, живущего по своим законам, не правда ли?

У Маргариты Борцовой замечательный язык – образный, яркий: «На излёте лета воздух парной, упревший, как пирог под полотенцем. Багровый язык солнца свешивается куда-то за деревню. Коровы, позвякивая колокольцами, колыхаясь округлыми, налитыми боками, расходятся по дворам. Облако пыли, белёсое, как бабы-Дунина голова, некоторое время ещё маячит между плетнями» («С неба звёздочка упала»).

Сколько раз, работая над этой статьёй, я кидалась к словарям, чтобы узнать, что такое «диаболический экстаз» или «нативный нашатырь», пытаюсь из разных слагаемых получить некую задуманную писателем смысловую сумму. Порой, как в случае с Здыхлецом, и словари оказывались в полном замешательстве, оставалось полагаться на разум и языковое чутьё. А сколько я навывисывала словесных перлов, которые М. Борцова щедрой рукой разбросала по тексту! Тут тебе и «незапамперсные времена», и «Шухеризада», и «камильфошничать» и «футы-нуты, звездануты». Воистину – «бесценных слов транжир и мот».

В прозе, как писал Пушкин, нужны мысли. И когда они выражены в оригинальной, парадоксальной, ироничной манере, как в лучших рассказах Маргариты Борцовой, мы имеем не прозаический извод поэтической речи, а просто – сильную прозу, которая захватывает и не отпускает. И как досадно, что уже несколько лет из-за банального безденежья писатель не может выпустить в свет эту давно ожидаемую книжку.





Елизавета  
МАРТЫНОВА

## «Ты стала мне сердцем, Россия...»

Илья Недосеков. *Свершая путь свой самый главный: Стихотворения.* — М., 2013. — 128 с.

Стихи Ильи Недосекова — это те стихи, которые хочется читать. Читать каждому из нас, независимо от нашего душевного и литературного багажа. Недосеков делает, казалось бы, простую и в то же время такую редкую для нашего времени вещь — передаёт душевные движения человека, и это особенно ценно. Говорит он исключительно от своего лица (лирического «я»), убеждённо и убедительно — это характеристика его лирической интонации, лишённой ненужного пафоса, интонации чистой, звенящей, мягкой и проникновенной. «Свершая путь свой самый главный, / Я берегу свои права — / Смотреть на звёзды и на травы / Как на живые существа...»

Важно, что у Ильи Недосекова как поэта уже сложился свой узнаваемый художественный мир. Особость его заключается в способности автора поверять современность вечными ценностями, передать её картину прямыми, правдивыми словами: «И манят взгляд остекленелый / Аукционы, дележи, / Где больше тнут продажность тела, / А не бессмертие души. / Здесь всё на грязную изнанку: / Глумясь над верой, строят храм. / В стране — война, а вместо танков — веселье смехопанорам».

В стихах есть свет, есть надежда («Но если плот надежд затоплен — / Построим мост, отыщем брод!») и поэтическая убедительность. Есть завораживающая интонация, которая ведёт за собой. Ведь от поэзии и не требуется подробного анализа состояния современного общества. Поэзия убеждает по-иному: настроением, словесной музыкой, переживанием, неожиданным предсказанием, даже оговорками и ошибками — побеждает и живёт.

Недосеков не начинает с чистого листа, его лирика грамотна, он уважает традицию — и в ней находит родство. Об этом говорят стихотворения «Памяти Г. Касмынина» и «Запах хлеба», в котором присутствует аллюзия к поэтическим строкам Николая Рубцова. В стихотворении, завершающем сборник, слышатся ноты некраповского эпического стиха: «Птица заплакала тихая, / Грома раскаты слышны. / Копится сила великая / В недрах великой страны...» Это современное продолжение русской классической традиции. Главное здесь — не «формальное» совпадение, не предпочтение «традиционных» форм стиха, а выбор своей человеческой и гражданской позиции. Позиции неравнодушия и ответственности.

Илья Недосеков говорит о судьбе страны и народа без излишней патетики, афористически точно: «Стихла далёкая станция, / Площадь уже не видна... / Спит моя русская нация, / Скоро проснётся она. / И, обнажив свои мускулы, / Спросит у целой страны: / Кто оттого, что мы русские, / Ищет в нас чувство вины?»

В стихах Ильи Недосекова естественно сочетаются лирика и публицистика. При этом нет бросающихся в глаза образительно-выразительных средств, которые можно было бы продемонстрировать в цитате, но все стихи органичны и потому выделить особо понравившуюся какую-то часть трудно. Цитировать можно строфами или целыми стихотворениями. Это именно те стихи, которые непонятно как появились, они не сделаны, не сконструированы, а созданы. Такое очень редко бывает... Перед нами такой необыкновенный «счастливый» случай — не «делания», не версификаторства, а творения. Творения Поэзии.



игрушечного пространства, они более лиричны, и ими больше увлекаешься.

*Те же песни и та же тоска,  
Здесь всё так же смеются и плачут,  
И скрипит под ногою доска:  
Путь кончается там же, где начал...*

Завораживают зримость, прорисованность образов. Перед некоторыми задерживаешься, перечитываешь или просто любишь. Образы свои, авторские, и вырастают они в стихах органично: «мелок

самолёта», «паруса берёз», «любовь – китайская стена», «тихопад снеговых парашютистов», «молоко облаков», «каменная кожа земли» и др.

Соединение своего, индивидуально-авторского, с традиционным, естественно лирического, личностного – с театральным, прозаического начала – с песенным – и есть «изюминка» книги Владимира Муромцева, кстати, известного музыканта, автора песен, участника музыкальной группы «Редкая птица».

## «Сердце ищет родные звуки»

**А.В. Ястребкова. Сиюминутное. Стихи. – Саратов: Новый ветер, 2013. – 140 с.**

**С**борник стихов Анастасии Ястребковой называется «Сиюминутное». И если читать стихи из этой книги по отдельности, действительно возникает ощущение запечатлённого мгновения, ощущение того, что автор отразил в своих строчках какой-то очень короткий промежуток времени. Вопрос в том, для чего это нужно? Только ли потому, что – «остановись, мгновенье, ты прекрасно»? Но далеко не все эти мгновения счастливые или представляющие собой какую-то значимую веху. Тем более стихи не предметные (в них минимум подробностей) и передающие не чувства, а скорее мысли по поводу пережитых ощущений: мысль – значит, существу.

*Холодных чувств большой венок  
Повешу над своей кроватью,  
Мой тёмный вечер – одинокий,  
И ночь не примеряет платья.  
Хотелось плакать от тоски,  
Да только слёзы были лживы.  
Цветов умерших лепестки  
Ещё поют, как будто живы.  
На подоконник свет луны  
Спустился, радостно белея.  
Летают рядом чьи-то сны  
С холодным запахом апреля.*

Стихи не головные, но автору необходимо сам процесс пережитого, рефлексия. Ей нужно выбрать путеводную нить, кото-

рая помогла бы разобраться во впечатлениях быстротекущей жизни. И похоже, что постепенно эта путеводная нить свивается, тропинка протаптывается, путь создается. «Шепчет ветер ветвями ивы. / Тихо так... Как вокруг красиво! / Звёзд на небе осталось мало, / Большинство их уже упало. / Тёплый вечер – не мёрзнут руки, / Сердце ищет родные звуки».

Мгновение действительно остановлено:

*Ласточки-точки на горизонте,  
Как многоточья...  
Лёгкой рукой, пожалуйста, троньте  
Рваные клочья.  
Сердце моё зарёй полыхает,  
Грезит о ночи,  
И почему-то не улетают  
Те многоточья.*

Сердце находит родные звуки, и не важно, может быть, порой даже хорошо, что они не всегда укладываются в гармоническую мелодию. Их шероховатость – свидетельство живого чувства. Мы как будто присутствуем при создании самого стихотворения, при самом выдохе вдохновения: «...И заплатками на синем / Спеют облака. / Взглядом искренним окинем / Жизнь издалека. / Робко плечи заматаю / В бежевый платок / – Вот и я уже летаю / Птицей между строк».

Михаил  
ЦАРТ

## Собрание пёстрых глав

Князев А.Н. Страсти по Лермонтову. Санкт-Петербург, изд-во «Академия исследований культуры», 2013.

Отмечая в этом году 200-летний юбилей со дня рождения Лермонтова, нельзя не сознавать, что Михаил Юрьевич – один из самых загадочных поэтов во всей истории русской литературы. До сих пор его наследие вызывает столкновение мнений, горячие споры, касающиеся его личности, родословной, творчества.

Это отношение к великому русскому поэту отразилось в названии и содержании книги известного петербургского лермонтоведа Александра Князева, статьи которого публиковались в научных сборниках, в журналах «Вопросы литературы», «Сура», центральных и региональных изданиях. «Страсти по Лермонтову» – очень точное название, передающее авторскую тональность повествования. Интересно, что так называется не только книга, но и задуманная А.Н. Князевым научно-просветительская акция, которая осуществлялась в течение десяти лет и уже стала международной.

В предисловии автор говорит о том, что он объединил «под одной обложкой многолетние наработки, связанные с именем Михаила Юрьевича Лермонтова». В сборнике помещены авторские статьи, эссе, стихи, посвященные жизни и творчеству поэта.

Несмотря на разнородность жанрового состава, все работы Александра Николаевича объединены четкой творческой и человеческой позицией, его тексты предельно искренни и актуальны.

Автор убедительно рассматривает множество спорных вопросов, связанных с жизнью и творчеством Лермонтова, а также с исследованиями других лермонтоведов.

Поскольку Александр Николаевич Князев является ещё и известным музыковедом, он исследует такую тему, как «Лермонтов в музыке». «Самое главное, – пишет автор, – чтобы после событий, происходящих в рамках акции «Страсти по Лермонтову», тем, кто слушает стихи поэта, положенные на музыку, захотелось взять в руки книгу и обратиться к первоисточнику, к его стихам».

Думаю, что желание обратиться к стихам Лермонтова у читателя книги А.Н. Князева непременно возникнет – так искренно и увлечённо она написана. А в силу своей многоплановости эта необыкновенная книга будет интересна не только учёным, но и широкому кругу читателей и почитателей М.Ю. Лермонтова.

Нина  
ШАТАЛИНА

## «Фарватер». Впечатления

Берколайко М.З. Фарватер. — М.: Эксмо, 2014. — 352 с. (Претендент на Буковскую премию)

**В**ыход нового романа Марка Зиновьевича Берколайко «Фарватер» был ожидаем читателями: не мог автор уже опубликованных романов «Гомер» и «Партия», повести «Седер на Искровской», пьес и сценариев остановиться и «успокоиться». И точно — передо мной новый роман писателя — «Фарватер».

На обложке книги на фоне огненного шара и рассыпанных по чёрно-багровому небу звёзд восходит по реке жизни человек, могучие плечи которого придавливают массивный деревянный крест. А вокруг него ещё не взорвавшиеся мины, мачты военных кораблей, полузатонувших, но с готовыми к стрельбе орудиями. Чуть ниже написано белым крупным шрифтом: «Марк Берколайко», «...претендент на Буковскую премию». И в самом низу: «ФАРВАТЕР».

Фарватер... Слово-то какое красивое, твёрдое, надёжное, правильное. Такой бы и жизни быть... Мне кажется, я не читала в нашей современной прозе ничего, столь звучного моим мыслям, душе.

По объёму своему — повесть, по замыслу, значительности мыслей, количеству героев, масштабности идеи («идеи Творца») — роман. Темы, поднятые автором, глобальны и вечны: религия, любовь, война и мир, гениальность и злодейство, искусство, музыка, высокая поэзия. При этом Марк Берколайко пишет легко, с «одесским юмором». Затронут и «еврейский вопрос» (сколько же можно его «терпеть»? — Н.Ш.). И всё так искусно сплетено, плотно написано, что невольно задумаешься над возрастом автора. По свежести мысли — молод, по литературному опыту — в годах.

Место действия романа — Земля. Большинство героев в наше время уже являясь, по словам автора, жителями «инобытия». Время повествования — начало XX века.

1914 год. Первая мировая война. С тех пор минуло сто лет. Последовавшие революция и затем гражданская война как бы затмили мировую, недостаточно представленную в литературе. Но Марк Берколайко так искусно вяжет сеть событий, что позволяет читателю ощутить весь ужас и всю трагедию пережитого времени, изображённого практически без описания взрывов и выстрелов.

Какой роман без любви? Конечно, и в «Фарватере» её тема становится одной из центральных. Он (Георгий Бучнев) — сильный, настоящий мужчина, прошедший войну, выносивший разом с поля боя по двое, по трое раненых, представлен Марком Берколайко вроде бы проще некуда. Но эта простота кажущаяся. За ней скрыто бесконечно большое и доброе сердце, участия которого хватит, если хотите, на всю планету. Сердце умное и мудрое, идущее первым по фарватеру, приводящему к Творцу.

Регина (Риночка Сантиньева) — «облачко», по определению автора, «с её привычкой журчать о чём-то пустячном, но потом превращающемся в указывающий фарватер маяк». Образ Регины подтверждает мысль о том, что близится эпоха Женщины.

Два главных героя с их светлой любовью и трагедией.

А ещё — дед с его заботой о том, «чтобы нашему роду не было переводу», и современно-амбициозный внук с желанием пережитое «забыть, отрезать — как не было!», с его мечтами и почти требованием к Максимилиану Волошину: «...мой полотно будут прекрасны, лучше ваших, шагаловских, врубелевских... только дайте денег... и я сразу же — в Москву».

Вожди революции с их «землячками» — их прах впоследствии был «вмурован в кремлёвскую стену». Ротшильды, и Александр Третий, и Белая Гвардия. И корабль

(«линкор»), на борту которого, по словам одного из героев, «дельцы, политики, генералы; их барахло, отродье, бабы, холуи».

Все герои описаны настолько зримо и ярко, что и кино снимать не надо.

Оживают на страницах романа литературные классики, беседующие с героями «Фарватера». Здесь проявляется глубокое знание автором поэзии, русской и зарубежной прозы.

Два героя этого романа мне особенно близки – Максимилиан Волошин и Георгий Бучнев. В.П. Купченко в своей работе о Волошине пишет: «Любая конкретная человеческая душа была ему ближе будущего гипотетического счастья «человечества», и я согласна с таким представлением о личности Максимилиана Волошина».

Второй герой, Георгий Бучнев, который на протяжении всего произведения увеличивал свои заплывы из пункта А в пункт В, с промежуточными пунктами С и D, «плыл и знал твердо, что каждому назначен свой фарватер в океане Времени, свой путь в океане боли. И тот, кто нашёл его, – бессмертен».

Так вырисовывается в романе та самая «хитроумная конструкция Мироздания», называемая автором пирамидой. В основании её – жажда жизни, а на вершине – жажда власти.

Но я полагаю, что в романе – две пирамиды с одним основанием. Одна вершина (с жаждой власти) уходит под землю, а вторая вершина (с жаждой любви) уходит в небеса, к Творцу. Основанием (жаждой жизни) этих пирамид является наша голубая уникальная планета, одинаково дающая энергию для дальнейшего восхождения и так называемого «падения». Двумя противоположными пирамидами и держится Мироздание...

Места на планете хватит всем. Когда человечество это поймёт, тогда и прекратятся войны. Население Земли стало более мобильным. Влюбляются друг в друга представители разных рас... Подтверждают это и главные герои «Фарватера». С трудом, но неотвратимо исчезают границы, решаются национальный и религиозный вопросы.

Рядом с романом «Фарватер», под обложкой одной книги, помещена и пьеса «Круженье под вальс к «Вальпургиевой ночи». Четыре действующих лица: Хозяин, Елена (жена хозяина), Таня (их дочь) и Гость. Тема любви – вечного «треугольника», зачастую неразрешимого и в одной земной жизни. Но, как высказался писатель и журналист Дмитрий Дьяков, «герои на пороге смерти борются, естественно,

уже не за место под солнцем, а за светлую память о них Елены. И она, эта будущая память, оказалась даже важнее, чем прошлая (и настоящая) любовь-нелюбовь к ним этой Избранной».

Добавляя комментарий к этому высказыванию, Марк Берколайко подчёркивает, что «настоящий мужчина и добро, и зло творит ради Избранной – мысль не новая, для многих спорная, но для меня неоспоримая».

Продолжу высказывания двух авторов. Определение смысла пьесы Дмитрием Дьяковым завидно и восхитительно. Пьеса именно об этом – о сохранении памяти, которая более важна, чем любовь. А вот высказывание Марка Берколайко действительно спорно, но так красиво, что на слова о зле сил возражать нет.

А я только предложу свою трактовку поступков героев. Не могу сказать, что Елена мне показалась Избранной и что ради неё стоит идти на злые поступки. Понимаю: главное, что она оказалась Избранной для Хозяина и Гостя.

То, что каждый человек многопланов и представляет собой грань Творца, неоспоримо и для человечества уже понятно. Человек в новом тысячелетии вступил в эпоху собирания камней. Об этом я говорила в своё время и в статье о поэте из Энгельса Татьяна Кузнецовой (журнал «Волга–XXI век», № 11–12 2013). В пьесе Марка Берколайко тоже происходит «собирание камней» – поиск той Избранной, соединившись с которой, двое придут к порогу Творца. Эти двое на длительном Пути Жизни встречаются, но крайне редко. Узнают друг друга, счастливы, но вновь расстаются для исполнения возложенной на них Божественной миссии Творца. И сам поиск ПРЕКРАСЕН.

А теперь о будущей памяти. Хорошо, когда человек, пусть и на смертном пороге, заботится о ней. Эта забота – своего рода покаяние. В будущее нужно входить, максимально очистившись, и жить им! Слова Достоевского «делать себя в будущем» актуальны и важны, особенно в переходные эпохи. Думал ли о покаянии автор, создавая пьесу, не знаю. Думаю, впоследствии об этом скажут критики.

Пьеса заставляет задуматься о серьёзности и глубине происходящего в нашей жизни. Не отпускает. Я наслаждалась тонким, до филигранности, юмором, чёткой и ясной формулировкой мысли, красивым (берколайковским) отточенным стилем.

Радуюсь за тех, кто приступит к чтению книги.



### **ПИСАТЕЛИ САРАТОВА НА ФРОНТЕ: МИХАИЛ ПОЛИКАРПОВ**

О трёх саратовских писателях, работавших в годы Великой Отечественной войны в красноармейских газетах – Борисе Озёрном, Дмитрие Гребенщикове, Вадиме Земном, – уже было недавно рассказано на страницах журнала «Волга–XXI век». А вот имя писателя-фронтовика Михаила Поликарпова, чьё произведение публикуется в этом номере, оказалось совершенно забыто. А ведь он, молодой журналист, в 30–40-е годы прошлого века был активным автором областной газеты «Коммунист», много писал о молодых стахановцах области, затем о курсантах, проходящих боевую учебную подготовку в Приволжском военном округе.

В 1940 году в «Коммунисте» была введена новая рубрика – «Жизнь Красной армии». Нередко в ней можно было прочесть и материалы политрука М. Поликарпова. Его сборник очерков «Боевой резерв», выпущенный в «Облгизе» в 1939 году, был посвящён ворошиловским стрелкам строящегося Саратовского завода шарикоподшипников.

В 1942 году, когда Михаил Поликарпов был на фронте, в Саратове выходит небольшая книжка его очерков «Перед боем» – о молодых бойцах, готовящихся к отправлению на фронт.

В Саратовской областной научной библиотеке сохранился ценнейший экземпляр книги, выпущенной в военном, 1943 году. Это сборник рассказов и стихов местных авторов. Назывался он просто и ёмко: «Родине». Среди авторов – Б. Неволов, А. Матвеев, С. Розанов, В. Тимохин, И. Тобольский... и М. Поликарпов. Его рассказ – «Пятидесятый из отряда», опубликованный в этой книге, через 70 лет снова возвращается к читателям.

*«Пусть об этом потом рассказывают в сказках, пусть песни поют. Но сейчас это только факт, – писал автор. – И о нём я говорю только как о факте, может быть, не осмыслив ещё всей силы его, не раскрыв по-настоящему истоков бессмертной нашей действительности...»*

«Никто не забыт, ничто не забыто». Так и только так должно быть и по прошествии семи и более десятилетий после войны...

**Светлана Дурнова,  
член Союза журналистов России**

Михаил  
ПОЛИКАРПОВ

## ПЯТИДЕСЯТЫЙ ИЗ ОТРЯДА

### Рассказ-быль



Стыл январь. Над лесом висела луна. У седого дуба стоял седой командир. Он стоял неподвижно и тяжело молчал. Но каждый знал, что скажет сейчас командир. Он прикажет сейчас кому-то умереть. Бойцы смотрели себе под ноги, они не могли взглянуть друг другу в глаза.

Кто-то из них должен сейчас умереть. Это неизбежно. Вон там, недалеко от них, с одного обрывистого берега на другой перекинут мост. По мосту скоро пройдут фашистские танки. Они принесут с собою тысячу смертей.

Но разве это можно допустить? Командир, конечно, думал, как избежать и этой одной смерти, спасающей тысячи жизней. Однако выхода не нашёл.

– Обстановка сложилась так... – наконец сказал командир и оборвал фразу.

Он чувствовал, что говорит не то. Не эти слова нужны теперь. Кто-то из пятидесяти должен умереть, и всё. А остальные сорок девять из отряда должны ждать взрыва и использовать его для того, чтобы уничтожить танковую колонну.

Взрыв последует в тот момент, когда на мосту будут основные силы противника, когда немецкие машины войдут на мост почти все. А они уместятся на этом длинном и широком мосту. Очевидно, они так и должны сделать. Иначе немцы и не могут поступить. Ведь они готовят масированный удар по нашему переднему краю обороны.

Командир всё рассчитал ещё тогда, когда получил в штабе приказ. Командир взял с собой пятьдесят комсомольцев и ушёл вперёд, к лесу. И вот теперь он стоял у дуба – крепкий как дуб.

– Кто пойдёт? – глухо спросил командир.

Но сдавленный голос его отозвался в сердце пронзительным криком. Бойцы дрогнули, но остались на месте.



Не двинулся с места и Виктор Калякин. Он только поднял к лицу руку в лохматой рукавице, да так и замер с ней. Виктор неподвижно смотрел на рукавицу и силился припомнить, где он видел её. Странно знакомая рукавица.

И он вспомнил, как это было.

Командир пригласил к себе в землянку Виктора вместе с товарищами. Он сказал:

– Сегодня канун Нового года. Садитесь, ребята.

Командир разлил по фляжкам водку и уже хотел выпить свою порцию. Но вдруг отставил фляжку в сторону и протянул руку к рукавицам Виктора. Их Виктор держал за поясом. Они были ярко-жёлтые, и от них ещё пахло овчиной.

– Подарок? – спросил он, рассматривая узоры на рукавицах.

– Подарок, товарищ командир, – ответил боец. – Вот смотрите, и надпись: «Дорогому Виктору от товарищей с Волги».

– Вы волжанин?

– Саратовский я. Учился в средней школе. Оттуда и прислали.

Глаза Виктора загорелись:

– Девчата прислали, из 9 «Б». Старостой я у них был в классе.

Командир сел поудобнее.

– Говорите, – попросил он.

– Думали пойти в горный институт. Теперь, конечно, смешно, а тогда всерьёз гадали: станем учёными и всем классом пойдём в разведку на Луну. Это было давно. Подрастать стали, набираться ума. Луна, конечно, по-прежнему прельщала, но мы её пока использовали по-земному.

– Целовались? – спросил боец, сидевший рядом с Виктором.

Он спросил об этом как-то слишком серьёзно, и Виктор ответил так же:

– Целовались.

А потом улыбнулся и продолжал:

– Была у нас хороводница такая. Наташей звали. Хорошая девушка. Рукавицы это она выдумала. Вот и письмо.

Виктор достал из потайного кармана голубой измятый конверт:

– Читайте.

Командир прочитал письмо вслух. Вот оно, это письмо:

«Дорогой Виктор! Я и все девушки помним о тебе каждую минутку. Мы волнуемся за тебя. И часто я вижу тебя во сне. Вчера ты приснился мне большой-пребольшой и в комбинезоне лётчика. Кем ты воюешь, напиши, не томи нас. Не думай, что это только любопытство. Ты понимаешь, что это... это я и не знаю, что такое. Трудно писать, не зная, где ты. Все мы знаем, что фашисты лютые и страшные, но мы понимаем, что ты... одним словом, береги себя, пожалуйста, Виктор...

Вчера мы с Надей Волковой ходили к твоим старикам. Мать стала уже седой, то есть она и была старенькая, но она ещё ничего. Только убивается по тебе. Отец работает на восьмирамном\*. Очень он любит тебя, Виктор.

\* Восьмирамный лесопильный завод

В общем, все мы тебе желаем счастья и успехов. Только... Больше писать не могу. Кланяйся своему командиру и всем ребятам. Рукавицы посылаю. Наташа».

Командир поднял от письма свои серые умные глаза и молча потянулся за флягой.

– Выпьем за саратовских девчат, друзья! – сказал он весело и чокнулся с Виктором.

Вот как это было. А потом снова были бои. Виктор ходил в атаку, и грудь его согревало Наташино письмо. Рукавицы он сберёг вот до этого дня.

Виктор повернул поднятую к лицу руку, сжал в кулак, и новая овчина мягко зашуршала. Командир следил за бойцом. Он видел, как простой паренёк из Саратова прощался с жизнью. Ещё секунда, ещё полсекунды – и всё будет кончено. Вот сейчас он повторит свой вопрос, и тогда Виктор шагнёт вперёд. И, как это часто бывало, за ним шагнут ещё несколько человек. Но будет уже поздно. Не им суждена минута величия, не они смертью смерть попрали, не они первые!

Командир передохнул. Сколько это длилось? Не больше минуты. А казалось вечностью. Командир повторил свой вопрос:

– Кто пойдёт?

Командир смотрит теперь прямо в глаза бойцам. Они подняли головы, пятьдесят пар глаз горят огнём решимости. Командир плотнее прислонился к дубу. И вдруг к нему шагнули пятьдесят комсомольцев. Шагнули – как на плацу во время смотра. И мёрзлый снег содрогнулся от одновременного удара пятидесяти пар сапог.

Такого ещё не было. Командир задохнулся от волнения. Он не сказал, а только хотел сказать, но его поняли. Так или иначе, но поняли.

– Метать жребий! – сказал Виктор и снял ушанку.

Один за другим подходили у ушанке бойцы и тянули своё право на смерть.

Пусть об этом потом рассказывают в сказках, пусть песни поют. Но сейчас это только факт. И о нём я говорю только как о факте, может быть, не осмыслив ещё всей силы его, не раскрыв по-настоящему истоков бессмертной нашей действительности, которая родила отряд бойцов и в числе их – простого саратовского школьника Виктора Калякина.

Виктор вытянул жребий последним. Не торопясь, надел ушанку и пошёл вперёд. Потом спохватился и вернулся, захватил ещё один ящик со взрывчатым веществом, вдобавок к тем, что уже были заложены под мостом. Он потащил ящик за собой. Прощаться с товарищами Виктор был не в силах. Он даже не взглянул на них.

Скоро всё было кончено. Сорок девять бойцов, находящихся в засаде, услышали потрясающий взрыв. Но командир не только слышал, но и видел всё. Он стоял у седого дуба седой как лунь и шершавой ладонью сбивал замёрзшую слезу. Потом он скомандовал:

– Гранаты к бою, за мной!



**Виктор  
САФРОНОВ  
(1938–2012)**

## ГОРЬКАЯ РЕЧКА

Мы шли по степи, мокрые, грязные, осунувшиеся. Небо стало проясняться, но всё моросил дождь. Мелкий, как пыль, он оседал на лице, собирался капельками на щеках, на носу, на ресницах. Сапоги вязли по щиколотку, скользили – под грязью лежал лёд.

Я устал. Я считал шаги и думал, что хорошо бы разуться и пойти босиком. И ещё думал: «Зачем всё это? Кому это нужно? Мне? Им? Ему?»

– Вы уверены, что они соберутся? – спросил я у Фащевского и остановился.

Спросил для того, чтобы остановиться и поговорить. И отдохнуть. Фащевский не остановился. Не повернул головы. Не ответил. Он упрямо брёл и брёл по дороге, погружённый в свои мысли. Под мышкой он держал размокшую папку, руки – в карманах плаща.

Откуда-то появились силы, и я догнал его. Задыхаясь, пошёл рядом.

– Они не соберутся, – злобно прохрипел я, заглядывая Фащевскому в лицо.

И мне хотелось, чтобы они не собрались.

– Спокойно, юноша, спокойно, – процедил Фащевский.

Мне хотелось пить. Что-то клейкое собиралось на губах, наверное, оттого, что я дышал ртом. В горле хрипело.

Фащевский не замедлил шага. Он торопился. Торопился, хотя, вероятно, не был уверен, что они соберутся.

Он давно раздражал меня. С того самого дня, как я впервые познакомился с ним. Это было неделю назад.

- 
- Виктор Николаевич Сафронов родился в 1938 году в селе Большая Камышинка Саратовской области. Учился в Московском литературном институте имени А. М. Горького. Член Союза писателей России. Автор книг «Не поверил», «Казачья балка», «Завещание», «Гибель чрезвычайного комиссара», «Встречи и расставания», «Четвёртая полоса», «Саратовские страдания», «Мой знакомый верблюд». Лауреат премий Союза писателей России и журнала «Волга». Жил и работал в Саратове. Умер в 2012 году. Последнее прижизненное издание – сборник повестей и рассказов «Живые осколки».

Я сидел в его кабинете и ждал, когда он придёт. Я ехал всю ночь и потому хотел спать.

Кабинет был большой, пустой и тёмный. Я задремал. А может быть, просто прикрыл глаза. Не помню. И тут кто-то тряхнул меня за плечо. Я увидел перед собой грузного лобастого человека с широко поставленными глазами, маленькими и строгими. Он стоял, расставив кривые ноги, руки – в карманах, и смеялся. Этот смех обидел меня. Ещё обиднее прозвучали слова.

– Юноша, вы не перепутали контору с заезжим домом?

– Нет, – сказал я, – мне нужен парторг совхоза Фащевский.

– Чем могу служить, юноша? – Он до боли крепко сжал мои пальцы – рука у него была большая и, как клешня, жёсткая.

Я хотел сказать, что я такой же юноша, как он – дедуся, но не сказал. А надо бы. Потому что вот сейчас он снова стал называть меня так: «Спокойно, юноша, спокойно». Но теперь это звучит ещё язвительнее. Злее. И насмешливее.

А тогда, узнав, кто я и откуда, он подобрался, глазки укрылись за рыжими лохматыми бровями, а голос стал тих и доброжелателен.

Он слушал меня и изредка покалывал глазками. Уколет и спрячется. Исподтишка. Это было неприятно.

И я понял: мы не сойдёмся. Не найдём контакта, как любит говорить наш редактор. А значит, я не привезу нужного материала...

Теперь я точно знаю: материала не будет. К этому всё шло. К этому мы идём сейчас, продрогшие, усталые.

Конца степи нет и не видно. А уже темнеет. Уже нет сил передвигать ноги. И этот чёртов фотоаппарат отбил все рёбра, это от него болит шея и ноет ключица. Если дойдём до этого проклятого отделения, я выпью, наверное, ведро воды. Нет – больше.

Ему хоть бы что – прёт как трактор. От сапог летят ошмётки грязи. Прёт и прёт. И не оглянется.

А мне главное – не подавать виду. Держаться. Держаться во что бы то ни стало. Я понял сразу, чего он хочет. Какой дурак приедет из бригады в отделение в такую погоду? И я говорил ему об этом ещё там, на центральной.

Помню, как он посмотрел на меня! «Хорошо. Оставайтесь. Я поеду один».

Надо идти вот по этой колее. Только по колее. Не так вязко. А вода – пусть. Не глубоко. Да и ноги давно уж сырые.

Сколько же мы идём? Час. Может, два. Всё-таки я испорчу ему прогулку. Испорчу.

Зря я не взял у него сапоги! А ведь он предлагал их. Какая трогательная забота! А перед этим: «Не запачкайте капроновую куртку, у меня в «газике» грязно».

Я бы взял сапоги, если бы не это. А вообще – на кой чёрт я её надел? Хотел пустить пыль в глаза новому парторгу? Знай, мол, наших.

Нет, не то. Я бы оделся так, если бы пришлось ехать в другое хозяйство. Так принято. Приезжает областной газетчик или центральный – в потёртой куртке, старой фуражке, рыжих сапогах. А мы,

райончики, – в шляпах, при галстукe, с папкой. Странно, почему-то я раньше об этом не думал...

Дождь перестал. Но капельки воды, а может, пота, всё текли по лбу, по шее. Во рту спеклось. Я попробовал расстегнуть верхнюю пуговицу куртки, но не владел пальцами. Они были как варёные и противно дрожали. Что же это? Надо наконец остановиться. Надо отдохнуть. Хоть минуту. Пускай он идёт! Пускай топает... Стой!

«Хорошо, оставайтесь. Я пойду один» – это он сказал мне там, на центральной, когда я выразил опасение, что они не соберутся, и предложил перенести поездку. Издевался. Точно!

Оставайтесь... Как я мог остаться, когда сидел три дня у него над душой и настаивал на этом собрании! Он всё тянул. Время, видите ли, горячее. Бороновать начали. И вот выбрал время. Просто решил проучить простачка. Юношу. В новой капроновой куртке...

Но нет, товарищ Фащевский, не на такого напали! Мы ещё посмотрим, чья возьмёт! Посмотрим. Идите, идите и покрепче прижимайте свою папочку! А мы уж как-нибудь... Не в первый раз.

Совсем темно кругом. Только голова Фащевского изредка выныривает из черноты на синюю черту горизонта. Я ориентируюсь по ней. Да по чавканью его сапог.

Кто он такой? Что за человек? Что меня подвигло поехать именно сюда? Ведь этот материал можно было бы сделать и в соседнем совхозе...

Сидел бы сейчас с Михаилом Петровичем в его квартире, попил чайк, а может, ещё что покрепче... А этот даже домой не пригласил. Вызвал завхоза и распорядился: «Отведите его к бабке Дусе на постой».

Почему к бабке Дусе? Я этому тогда не придавал значения. А может, мне послышалось? А может, потому, что у этой самой бабки весь сундук, на котором я спал, кишит клопами? Они жгли меня немилосердно. Падали со стен. И пикировали с потолка.

Почему Фащевский поселил меня к бабке? Ведь он сам раньше жил у неё, его самого, небось, жгли клопы. Она мне все уши прожужжала о своём квартиранте. Какой он хороший. Какой добрый, отзывчивый. Давно у них таких не было! День и ночь на колёсах: всё ездит, ездит. Даже почту по бригадам нередко развозит.

Вот уж не парторговская обязанность! Что, ему делать нечего? Или дешёвый авторитет зарабатывает? Уж не потому ли и подsunул меня этой бабке Дусе? Пусть, мол, в уши напеваает.

Я не могу дальше идти. Не могу! Всё! Сил нет, лягу прямо на дороге, прямо в грязь. Слышишь ты, Фащевский? Лягу в грязь, и всё... Но я иду, чёрт возьми! А где он? Куда пропал?

– Фащев... щев... ский... Фаще-вский...

Где он? Куда же я без него? Завёл и бросил...

– Фащевский!..

– Здесь я, юноша.

Ах, вот он – рядом сидит прямо на земле. Покуривает. Огонёк прыгает в рукаве плаща. Голос спокойный такой.

– Они не соберутся, – сказал я, чтобы отравить ему его отдых.

Как это у него просто получается: захотел отдохнуть – сел, покуривает. А я вот уже с полчаса мучаюсь, волнуюсь, задыхаюсь...

– Не в этом дело.

– Как не в этом? А зачем мы идём? Вы здесь человек новый. Вы не знаете людей. А я знаю. Вы что же думаете: включил рацию, назначил – всё? Да в такую погоду...

– Вам сколько лет? – грубо перебил Фащевский.

– Тридцать. А что?

– А мне тридцать пять.

– Ну и что?

– Ничего. Почти ровесники.

– Точно. А что?

– А вы не думали: если они всё-таки соберутся?

Так я и знал – приём наобум. Ради сохранения авторитета. Молодой парторг не хочет, чтобы о нём сложилось мнение как о плохом организаторе. Ясно!

Интересно, как он будет реагировать, если я ему подпущу вот такую шпильку:

– Между прочим, редактор меня предупреждал...

– О чём? – вяло спросил он.

– О том, чтобы я не ездил в ваше хозяйство. Наобум, так сказать... Что-то хмыкнул в ответ. Не нравится. Крутит носом.

– Посмотрите, Фащевский, огни!

Две жёлтые мутноватые точки колебались во тьме. Исчезали. Появлялись снова. Я их заметил давно. Но всё боялся поверить.

– Где? – Фащевский встал.

– Вон, вон, впереди! Видите? Снова появились...

– Правильно. Огни. Идёт трактор «Беларусь» с прицепом...

Может, и «Беларусь», может, и с прицепом, какая, собственно, разница. Главное, кончились мучения, кончились эта постылая грязь, усталость и неизвестность.

Трактор медленно приближался. Вот уже фары слепят глаза. Я прикрываюсь от света ладонью, вижу передние колёса, блестящие от воды, елозящие по колее. Я выбегаю вперёд, машу рукой:

– Стой! Стой! Остановись!

Трактор натуженно всхрапнул мотором и замер. Открылась дверца, и из кабины высунулся кто-то тёмный.

– Куда едете? – кричу я через шум мотора.

– На центральную! За семенами...

– Вот что! Я корреспондент. А это – ваш парторг. Мы застряли. Бросили машину. Идём к вам в отделение. Давай, поворачивай, подвезёшь... Что? Яковлевич? Какой Яковлевич? А-а! Фащевский? Да вот и он здесь...

Я перелез через борт прицепа. Устало повалился на что-то мягкое, кажется, мешки, сладко вытянул ноги. Швырнул в угол фотоаппарат.

Ну всё! Можно сказать, добрался. Наконец-то! Поехали, что ли. Чего они там митингуют?

– Ну что, корреспондент? – Над бортом выросла огромная голова Фащевского. – Вы со мной или поедете на центральную?

– То есть как? На какую центральную?  
– Он не поедет на отделение.  
– Вы что, смеётесь? Я вам что, мальчишка? Сколько можно?  
– Видите, в чём дело, – пояснил Фащевский, – ему нужно загрузиться семенами до одиннадцати часов. Утром они начинают сев...  
– Сев? Что вы мне тычете севом? Я что, хуже вас понимаю, что такое сев? Вы мне ответьте: зачем вы меня таскаете, когда сами не знаете...

– Семён! – крикнул Фащевский трактористу. – Трогай! Корреспондент с тобой поедет...

Трактор тронулся, и я поехал назад. Я поехал назад, а он пошёл вперёд. И стало вдруг тихо-тихо, как в немом кино.

Тёмная глыбистая фигура Фащевского отдалялась в зыбком отсвете фар всё дальше, дальше. И вот растворилась в черноте весенней ночи. Исчезла.

Какое-то беспокойство всё больше одолевало меня. Мучило. И неожиданно, как толчок, всё во мне вздрогнуло и закричало: стой, что ты делаешь?! Опомнись! Почему ты бежишь? Куда ты едешь? Тебе плохо, холодно и сыро... Ты устал. Ты ищешь тепла, уюта? А он ушёл в ночь, в темноту. Ты раскис в трудной дороге. Ведь ты её боялся ещё там, на центральной. Не потому ли хитрил, юлил? Да ты и сейчас хитришь, опять взялся рассуждать, когда надо действовать. Прыгай!..

Я догнал его, и мы пошли рядом. Мы молчали, тяжело дыша. Я снова считал шаги и снова думал, что хорошо бы разуться и пойти босиком.

Только один раз Фащевский обернулся и сказал:

– А редактору, между прочим, передайте привет. Мы с ним вместе учились... В партшколе.

В клубе отделения нас не ждали. Снова лил дождь. Маленький холодный зал был почти пуст.

Фащевский усталой рукой нашарил в кармане какие-то таблетки и незаметно сунул их в рот.

Время прошло. Много времени. Очень много. Живу я теперь в Саратове. Тоскую иной раз по степям родным. Горько делается, душа – как вода в той речке... Как-то узнал, что Фащевский живёт где-то рядом в этом большом городе. Работает директором школы...

Дай, думаю, позвоню, дай напомним Горькую речку, может, откликнется, капнет на душу бальзамом воспоминания, утешит. Долго рылся в телефонном справочнике, искал-искал – нашёл наконец. Позвонил дрожащей рукой. Волновался очень. Спокойный голос спросил:

– А что вы хотели?

– Да ничего не хотел... Хотел вот... это самое... ну... как вам сказать... Хотел напомнить... Нет, вспомнить... Нет... это...

– А что вам надо? Я вас не помню.

– Мне? Ничего...

Действительно, что мне надо? Может, я не так объяснил Фащевскому? Ничего мне не надо... Просто вспомнил Горькую речку.



*«Повозка». Рисунок Евгения Носова*

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,  
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Художник – Евгений Носов.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Подписано в печать 19 декабря 2014 года.

Дата выхода в свет 31 декабря 2014 года.

Журнал отпечатан в типографии ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа».

Адрес типографии: 410031, г. Саратов, ул. Соборная, 42.

Заказ № ГЗ/1912/01.

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Соборная, 42.

Тел. (факс): (845-2) 28-63-49.

E-mail: [lizamart@yandex.ru](mailto:lizamart@yandex.ru)

Электронная версия журнала: [www.saratov-media.ru/add2/php](http://www.saratov-media.ru/add2/php)

Сайт: [www.saratov-media.ru](http://www.saratov-media.ru)

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж 1020 экз.



© ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа», 2014.

© «Волга–XXI век», 2014.